



М. Сергеевич

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973



М·Ю·ЛЕРМОНТОВ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1973

М·Ю·ЛЕРМОНТОВ



ТОМ
ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
И
ПОЭМЫ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1973

Текст печатается по изданию: М. Ю. Лермонтов,
Собрание сочинений в 4-х томах, тт. 1, 2. М., «Художест-
венная литература», 1964

Вступительная статья и примечания
И. Л. Андроникова

Оформление художника
С. Томилина



ОБРАЗ ПОЭТА

1

Когда, по окончании юнкерской школы, Лермонтов вышел корнетом в лейб-гвардейский Гусарский полк и впервые надел офицерский мундир, бабка поэта заказала художнику Будкину его парадный портрет.

С полотна пристально смотрит на нас спокойный, благообразный гвардеец с правильными чертами лица: удлинённый овал, высокий лоб, строгие карие глаза, прямой, правильной формы нос, щегольские усики над пухлым ртом. В руке — шляпа с плюмажем. «Можем... засвидетельствовать,— писал об этом портрете родственник поэта М. Лонгинов,— что он (хотя несколько польщённый, как обыкновенно бывает) очень похож и один может дать истинное понятие о лице Лермонтова». Но как согласовать это изображение с другими портретами, на которых Лермонтов представлен с неправильными чертами, узеньким подбородком, с коротким, даже чуть вздернутым носом?

Всматриваясь в изображения Лермонтова, мы понимаем, что художники старательно пытались передать выражение глаз. И чувствуем, что взгляд не уловлен. При этом — портреты все разные. Если пушкинские как бы дополняют друг друга, то лермонтовские один другому противоречат. Правда, Пушкина писали великолепные портретисты — Кипренский, Тропинин, Соколов, Пушкина лепил Витали. Лермонтовские портреты принадлежат художникам не столь знаменитым — Заболотскому, Клюндеру, Горбунову, способным, однако, передать характерные черты, а тем более сходство. Но, несмотря на все их старания, они не сумели схватить *жизни* лица, оказались бессильны в передаче *духовного* облика Лермонтова, ибо в этих изображениях нет главного — нет поэта! И, пожалуй, наиболее убедительны из бесспорных портретов Лер-

монтова беглый рисунок Д. Палена — Лермонтов в профиль, в мягкой фугажке, и акварельный автопортрет — Лермонтов на фоне Кавказских гор, в бурке, с кивжалом на поясе, с огромными печально-взволнованными глазами. Два этих портрета представляются нам похожими более других потому, что они внутренне чем-то сходны между собой и при этом гармонируют с поэзией Лермонтова.

Дело, видимо, не в портретистах, а в неуловимых чертах поэта. Они ускользали не только от кисти художников, но и от описаний мемуаристов. И если мы обратимся к воспоминаниям о Лермонтове, то сразу же обнаружим, что люди, знавшие его лично, в представлении о его внешности совершенно расходятся между собой. Одних поражали *большие глаза* поэта, другие запомнили выразительное лицо с необыкновенно *быстрыми маленькими* глазами. Глаза маленькие и быстрые? Нет! Ивану Сергеевичу Тургеневу они кажутся *большими и неподвижными*: «Задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его *больших неподвижно-темных* глаз». Но один из юных почитателей Лермонтова, которому посчастливилось познакомиться с поэтом в последний год его жизни, был поражен: «То были скорее *длинные щели*, а не глаза,— пишет он,— и щели, полные злости и ума». На этого мальчика неизгладимое впечатление произвела вся внешность Лермонтова: огромная голова, широкий, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивавшееся узким подбородком, желтоватое, нос вздернутый, фыркающий поздырями, реденькие усики, коротко стриженные волосы. И — сардоническая улыбка... А один из приятелей Лермонтова пишет о *милом* выражении лица. Один говорит: «широкий, но *не высокий лоб*», другой: «исобыкновенно *высокий лоб*». И снова: «*большие* глаза». И опять возражение: нет, «*глаза небольшие*, калмыцкие, по жпвые, с огнем, выразительные». И решительно все стремятся передать непостижимую силу взгляда: «огненные глаза», «черные как уголь», «с двумя углями вместо глаз». По одним воспоминаниям, глаза Лермонтова «сверкали мрачным огнем», другой мемуарист запомнил его «с пламенными, но грустными по выражению глазами», — смотревшими на него «приветливо, с душевной теплотой».

Последние строки взяты из воспоминаний художника П. Е. Мелликова, который особое внимание уделил в своем описании взгляду Лермонтова. «Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом,— пишет Меликов,— он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти с умными черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того,

кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрет Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по-моему, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз). Однако на этот счет сам Карл Брюллов держался иного мнения. «Я как художник,— сказал он однажды, вспомнив лермонтовские стихи,— всегда прилежно следил за проявлением способностей в чертах лица человека; но в Лермонтове я ничего не нашел».

Впрочем, и сам Лермонтов смеялся над собою, говоря, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность*.

Не только внешность, но и характер его современники изображают между собой так несхоже, что временами кажется, словно речь идет о двух Лермонтовых. Одним он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живостью и веселостью. Одному вся фигура поэта внушает безотчетное нерасположение. Другого он привлекает «симпатичными чертами лица». «Язвительная улыбка», «злой и угрюмый вид»,— читаем в записках светской красавицы. «Скучен и угрюм»,— вторит другая. «Высокомерен, «едок», «запосчив» — это из отзывов лиц, принадлежавших к великосветскому обществу. А человек из другого круга — кавказский офицер А. Есаков, бывший еще безусым в пору, когда познакомился с Лермонтовым, вспоминает: «Он школьничал со мною до пределов возможного; а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл».

И совсем другой Лермонтов в изображении *поэта* — переводчика Лермонтова на немецкий язык: «В его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение». И снова — портрет, открывающий новые грани характера, — воспоминания князя А. Лобанова-Ростовского, с которым Лермонтов встречался в Петербурге, в компании своих сверстников: «С глазу на глаз и вне круга товарищей он был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки...»

Очевидно, Лермонтова можно было представить себе только в динамике — в резких сменах душевных состояний, в быстром движении мысли, в постоянной игре лица. А кроме того, он, конечно, и держался по-разному — в петербургских салонах, где подчеркивал свою внутреннюю свободу, независимость, презрение к

светской толпе, и в компании дружеской, среди людей простых и достойных. «Когда бывал задумчив,— пишет узнавший его на войне артиллерийский поручик Мамацев,— что случалось нередко, лицо его делалось необыкновенно выразительным, серьезно-грустным; но как только являлся в компании своих гвардейских товарищей, он предавался тому же банальному разгулу, как все другие; в это время делался более разговорчив, остер и пасмешлив, и часто доставалось от его острог дюжинным его товарищам».

Лермонтов терпеть не мог рисоваться и, как пишет один из его современников, имевший случай беседовать с людьми, хорошо его знавшими, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними полон женской деликатности и юношеской горячности. «Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие, более, чем драгоценность». Эти строки взяты из журнальной статьи писателя А. В. Дружинина, высоко ценившего поэзию Лермонтова. Побывав на Кавказе, когда там еще была свежа память о нем, Дружинин близко узнал одного из друзей и сослуживцев поэта — Руфина Дорохова. Тот много рассказывал о Лермонтове. И, кроме беглых впечатлений, изложенных на страницах журнала, Дружинин написал в 1860 году на основе этих рассказов большую статью о поэзии Лермонтова, о его характере и судьбе. В свое время эта статья осталась непечатанной и обнаружена только теперь, столетие спустя. Она хотя и опубликована ныне, но мало кому известна¹. А между тем мы находим в ней разъяснение многих черт личности Лермонтова и загадок его судьбы. Статья эта проливает некоторый свет на непостижимый творческий подвиг Лермонтова, за четыре с небольшим года после гибели Пушкина создавшего величайшие творения романтической поэзии — «Демона», «Мцыри», эпическую «Песню про царя Ивана Васильевича...», полную тонкой иронии по отношению к себе и к романтическому направлению в литературе поэму, названную им «Сказкою для детей», и гениальный роман, знаменовавший начало русской психологической прозы, сборник стихов, означивший целый период в истории русской лирики, и другой поэтический сборник, которого в печати увидеть Лермонтову не довелось. Не только гениальный поэтический дар, но и великая устремленность, могучая творческая воля, непрестанное горение помогли ему наполнить творчеством каждый миг его краткой жизни.

¹ «Литературное наследство», т. 67, с. 630—643 (публикация Э. Г. Герштейн).

Дорохова, человека безудержной стваги и пылкого темперамента, удивляла в Лермонтове эта сила характера. «По натуре своей *предназначенный властвовать над людьми*»,— начинает и вычеркивает Дружинин, стремясь наиболее точно передать впечатления Дорохова. «По натуре своей горделивый, сосредоточенный и сверх того, кроме гения, *отличавшийся силой характера*,— продолжает он начатую характеристику,— паш поэт был честолюбив и <горд> скрытен». И снова — о *железном характере* Лермонтова, который впервые проявился в дни опалы за стихи на смерть Пушкина: «Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как перепосытся житейские невзгоды *людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество*». С какой ясностью свидетельствуют эти строки о том, что Лермонтов, более чем кто-либо другой при его жизни, исключая разве Белинского, понимал собственное значение и роль, каковую ему было предназначено сыграть в русской литературе и — больше того — в жизни русского общества! Впервые с такой очевидностью мы узнаем из этой статьи, что на Кавказе, среди людей непривилегированных, у Лермонтова были истинные друзья, что он был знаменит не только в литературных салонах и среди широкого круга своих почитателей в обеих столицах, но и на «всем Кавказе». «Большая часть из современников Лермонтова,— продолжает Дружинин,— даже многие из лиц, связанных с ним родством и приятельно,— говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам,— но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу».

При этом статья Дружинина раскрывает черты личности Лермонтова, о которых прежде мы могли только догадываться и которые объясняют нам его сложный и внешне противоречивый характер. Со слов Дорохова автор ее говорит о сохранившейся с детства привычке Лермонтова к *сосредоточенной мечтательности* и о другой особенности, старательно им скрывавшейся. «Лермонтов долго был нескладным мальчиком,— пишет Дружинин,— и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, *не мог отделаться от застенчивости*, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов». Мир искусства, замечает Дружинин, был для него святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. «Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы»,— говорится в этой статье, удивитель-

пой по обилию тонких и верных мыслей о поэзии Лермонтова и живых впечатлений, полученных от друга и очевидца, разделявшего с поэтом опасности в кровопролитных боях и лишения в долгих походах.

Чем усерднее вчитываемся мы в дошедшие до нас строки воспоминаний, тем более убеждаемся, что Лермонтов действительно был разным и непохожим — среди беспощадного к нему света и в кругу задушевных друзей, на людях и в одиночестве, в сражении и в петербургской гостиной, в момент поэтического вдохновения и на гусарской пирушке. Это можно сказать про каждого, но у Лермонтова грани характера были очерчены особенно резко, и мало кто возбуждал по себе столько разноречивых толков. Одни воспоминания о нем надобно читать, понимая слова буквально, другие — угадывая в описаниях, казалось бы объективных, бесильную злобу и стремление дискредитировать если не поэзию, то хотя бы поэта — человека иного образа мыслей и нравственных представлений, разрушавшего общепринятую условность и весь этикет лицемерного великосветского общества и поставившего себе целью говорить одну только беспощадную правду. Такие мемуары приходится читать, угадывая под личиной беспристрастных свидетелей неперимримых врагов.

Н. П. Раевский, офицер, встречавший Лермонтова в кругу пятигорской молодежи летом 1841 года, рассказывал: «Любили мы его все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; зпать только нужно было, с какой стороны подойти... Пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков».

«Он был вообще не любим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах». Это — прямо противоположное — утверждение принадлежит князю Васильчикову, секунданту на последней — роковой — дуэли с Мартыновым.

«Все плакали, как малые дети», — рассказывал тот же Н. П. Раевский, вспоминая час, когда тело поэта было доставлено в Пятигорск.

«Вы думаете, все тогда плакали? — с раздражением говорил много лет спустя священник Эрастов, отказавшийся хоронить Лермонтова.—...Все радовались».

И сколько ни будете читать воспоминаний о Лермонтове, более, чем о поэте, они будут говорить вам об отношении к нему мемуаристов. Кому из них верить, если даже и декабрист Н. И. Лорер оставил недоброжелательную запись о нем?

Впрочем, есть книги, которые содержат самый достоверный лермонтовский портрет, самую глубокую и самую верную лермонтовскую характеристику. Это — его сочинения, в которых он отразился весь, каким был в действительности и каким хотел быть! Читая лирические стихи и бурные романтические поэмы, трагический «Маскарад» и одну из самых удивительных книг во всей мировой литературе — «Героя нашего времени», мы невольно вспоминаем, что сказал Пушкин о Байроне: «Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии».

Как всякий настоящий, а тем более великий поэт, Лермонтов исповедался в своей поэзии, и, перелистывая томики его сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и человека.

Страницы его юношеских тетрадей напоминают стихотворный дневник, полный размышлений о жизни и смерти, о вечности, о добре и о зле, о смысле бытия, о любви, о будущем и о прошлом:

Редуют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны...

Историю протекших веков и все лучшее, накопленное русской и европейской культурой, — поэзию, прозу, драматическую литературу, музыку, живопись, труды исторические и философские, — Лермонтов усваивал систематически, начиная с первого дня пребывания в пансионе при Московском университете и затем в годы студенчества.

Друзьям запомнилась его любимая поза: облокотившись на одну руку, Лермонтов читает принесенную из дома книгу, и ничто не может ему помешать — ни разговоры, ни шум.

Он владеет французским, немецким, английским, читает поллатыни, впоследствии, на Кавказе, примется изучать «татарский», то есть азербайджанский язык, в Грузии будет записывать слова грузинские и одной из своих поэм даст грузинское заглавие «Мцыри». Он помнит тысячи строк из произведений поэтов великих и малых, иностранных и русских, но из обширного круга чтения двух авторов нужно выделить — Байрона и, особенно, Пушкина. Еще ребенком Лермонтов постигал законы поэзии, переписывая в альбом их поэмы. Перед Пушкиным он благоговел всю свою жизнь. И больше всего любил «Евгения Онегина». Об этом он сам говорил Беллинскому. Он не просто читал — каждая книга становилась для него ступенью к самостоятельному пониманию назначения поэзии, каждая воспринималась критически. «Я читаю Новую Элоизу, —

записывает семнадцатилетний Лермонтов впечатление от знаменитого романа Жан-Жака Руссо.— Призраюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы и истины... Вертер лучше; там человек — более человек», — дописывает он, отдавая предпочтение роману Гете.

Воображение уносит его на Кавказ, где он побывал в детстве, и в страны, где он никогда не бывал, — в Литву, Финляндию, Испанию, Италию, Шотландию, Грецию, в будущее и в прошлое и даже в мировое пространство, где летает печальный Демон:

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнью иной,
И о земле позабывал...

Его мысль в непрестанном горении. Недаром Белинский сразу же отметил у Лермонтова «резко ощутительное присутствие мысли», и не одни пластические изображения, заключающие в себе мысли поэта, но самая мысль, обретшая художественную форму, составляет силу множества его лучших вещей — «Не верь себе», «Сказки для детей», «Демона», «Думы»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Природа наделила его страстями. Трех лет он плакал на коленях у матери от песни, которую она пела ему. И в память о рано угасшей матери и о песне он написал потом своего «Ангела»:

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

Он полюбил впервые в десятилетнем возрасте, на Кавказе. Вспоминая через пять лет златокудрую девочку и Кавказские горы, он записал в тетрадку свою: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Он утверждал это на основании своего опыта. Он был одарен удивительной музыкальностью — играл на скрипке, на фортепьяно, пел, сочинял музыку на собственные стихи. В последний год жизни он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню». Были даже и ноты, но пропали и до нас не дошли. Однако, если бы мы даже не знали об этом, мы догадались бы о его музыкальности, читая его стихи и прозу его. Не много было в мире поэтов, умевших передавать тончайшие душевные состояния, пла-

стические образы и живой разговор посредством стиха и прозаической фразы, звучание которых составляет неизъяснимую прелесть, заключенную в музыкальности каждого слова и в самой поэтической интонации. Не много рождалось поэтов, которые бы так «слышали» мир и видели бы его так — динамично, объемно, красочно. В этом Лермонтову-поэту помогал его глаз художника. Не только с патуры, но и па память он мог воспроизводить на полотне, на бумаге фигуры, лица, пейзажи, кипение боя, скачку, преследование. И, обдумывая стихотворные строки, любил рисовать грозные профили и горячих, нетерпеливых коней. Если бы он профессионально занимался живописью, он мог бы стать настоящим художником.

Изображая в «Герое нашего времени» ночной Пятигорск, он сперва описывает то, что замечает в темноте глаз, а затем — слышит ухо: «Город спал, только в некоторых окнах *мелькали* огни. С трех сторон *чернели гребни утесов*, отрасли Машука, на вершине которого *лежало злоеющее облачко*; *месню поднимался* па востоке; вдали серебряной бахромой *сверкали снеговые горы*. *Окляки часовых перемежались с шумом горячих ключей*, спущенных на ночь. Порою *звучный топот коня* раздавался по улице, сопровождаемый *скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом*».

Эти описания Лермонтова так пластичны, что попятным становится, почему современники называли его русским Гете: в изображении природы великий немецкий поэт считался непревзойденным. «На воздушном океане» — строки, не уступающие пантеистической лирике Гете, Лермонтов написал в двадцать четыре года. При всем том он умел одухотворить, оживлять природу: утес, туши, дубовый листок, пальма, сосна, дружные волны наделены у него человеческими страстями — им ведомы радости встреч, горечь разлук, и свобода, и одиночество, и глубокая, неутолимая грусть.

«Музыка моего сердца была совсем расстроена пынче», — вписал шестнадцатилетний Лермонтов в одну из своих тетрадок. Суровая жизнь с малых лет расстраивала ему эту «музыку сердца».

После того как из университетских аудиторий он перешел в Петербург, в кавалерийскую школу, его старший и верный друг Мария Лопухина писала ему из Москвы: «Если вы продолжаете писать, не делайте этого никогда в школе и ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая певинная вещь причипяет пам гибель. Остерегайтесь сходитьсь слишком быстро с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, а с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь».

Добрый характер, любящее сердце, способность увлекаться — вот каким он был и каким навсегда остался в отношениях с друзь-

ями. Он не изменял им, не забывал их. И, обращаясь к умершему декабристу — поэту Александру Одоевскому, с которым встретился на Кавказе, писал:

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти мосей!

И, посвящая «Демона» женщине, которая не дождалась его, он обращался к ней с горьким упреком:

Я копчил — и в груди невольное сомненье:
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,—
Стихов неведомых задумчивое пенье,—
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Другом его был и тот, кто помог ему распространить стихи на смерть Пушкина, и та, что одною из первых угадала в нем великий талант. И кавказский кинжал — символ вольности — он считал своим другом, и сражающийся Кавказ, ибо он олицетворял в представлении Лермонтова отвагу, честь, благородство, любовь к родине, стремление к свободе.

Лермонтов не умел и не хотел скрывать свои мысли, маскировать чувства. Уроки Марии Лопухиной впрямь не пошли. Он оставался доверчивым и неосторожным. И больше, чем открытая злоба врагов, его ранила ядовитая клевета друзей, в которых он ошибался. И чувство одиночества, разобщенности в царстве произвола и мглы, как назвал николаевскую империю Герцен, было для него неизбежным и сообщало его поэзии характер трагический. Каждый день, каждый час его жизни омрачала память о декабрьском дне 1825 года и о судьбах лучших людей. Состоянию общественной жизни отвечала его собственная трагическая судьба: ранняя гибель матери, жизнь вдали от отца, которого ему запрещено было видеть; мучения неразделенной любви в ранней юности, а потом разлука с Варварой Лопухиной, разобщенные судьбы, и политические преследования, и жизнь изгнанника в последние годы жизни... Все это свершалось словно затем, чтобы усилить этот трагический элемент.

И при всем том он не стал мрачным отрицателем жизни. Он любил ее страстно, вдохновленный мыслью о родине, мечтой о свободе, стремлением к действию, к подвигу. И все, что им создано за тринадцать лет творчества,— это подвиг во имя свободы и родины. И заключается он не только в прославлении бородипской победы, в строках «Люблю отчизну я...» или в стихотворном рассказе «Мцыри», но и в тех сочинениях, где не говорится прямо ни о родине, ни о свободе, но — о судьбе поколения, о назначении

поэта, об однополом узнике, о бессмысленном кровопролитии, об изгнании, о пустоте жизни...

С юных лет светское общество, с которым Лермонтов был связан рождением и воспитанием, олицетворяло в его глазах все живое, бесчувственное, жестокое, лицемерное. И заглавие трагедии «Маскарад» заключает в себе смысл иронический, ибо у этих людей лицо было маской, а в маскараде, неузнанные, они выступали без масок, в обнажении низменных страстей и пороков. И Лермонтов имел смелость высказать все, что думал о них, — без пощадности и лицемерия. В день гибели Пушкина он впервые заявил о себе. И первое, что он сказал им:

Свободы, Геня и Славы палачи!

Он грозил им народной расправой и указывал на их связь с императорским тронem. «К несчастью слишком большой пропагандистности, — писал о нем Герцен, — он прибавил другое — смелость многое высказывать без прикрас и без пощадности. Существа слабые, оскорбленные никогда не прощают такой искренности». И на последних вдохновениях Лермонтова уже лежит печать обреченности. Но неуклонно следовал он по избранному пути. И ненависть к «стране господ», отрицание купленной кровью славы только обостряли его любовь к «печальным деревням» и к «холодному молчанию» русских степей.

Десять лет писал он стихи, поэмы, драмы, прозу, прежде чем решился стать литератором. Еще три года понадобилось, чтобы из лучшего, что он создал, составить небольшой сборник. Взыскательность, строгость его по отношению к себе удивительны. Только две поэмы и два с половиной десятка стихотворений отобрал он из сотен стихов и трех десятков поэм. Зато никто еще не выступал в первый раз с таким сборником. К этим стихам можно отнести собственные его строки:

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...

Все совместилось в этой маленькой книжке — старинный сказ «Песни про царя Ивана Васильевича...» и простая речь бородинского ветерана; тихая молитва о безмятежном счастье любимой женщины, которая принадлежит другому, и горечь разлуки с родиной; холодное отчаяние, продиктовавшее строки «И скучно и грустно», и нежный разговор с ребенком; беспощадная ирония в обращении к богу и ласка матери, напевающей песню над младенческой колыбелью; трагическая озабоченность «Думы» и страстный разговор Терка с Каспием; горестная память о погибшем изгнаннике и

гневная угроза великосветской черни; сокрушительная страсть Мцыри — призыв к борьбе, к избавлению от рабской неволи и сладостная песня влюбленной рыбки; пустыни Востока, скалы Кавказа, желтеющие нивы России, призрачный корабль, несущий по волнам океана французского императора, слезы заточенного и страстный спор о направлении поэзии,— все было в этом первом и последнем сборнике, который вышел при жизни поэта.

Вот такой и был Лермонтов, только натура его и личность его были еще богаче, потому что в эту книжку не вошли ни «Демон», ни «Маскарад», ни «Герой нашего времени», ни стихотворения последнего года, в которых он поднимается еще выше, потому что «Валерик», «Завещанье», «Любовь мертвеца», «Спор», «Сон», «Выхожу одип я на дорогу...» раскрывают повеи стороны этой великой души. А между этими стихами мелькают острые эпиграммы и любезные, или добрые, или колкие стихотворные шутки...

Эти контрасты, эти смены душевных состояний в сочетании с верностью Лермонтова излюбленным идеям и образам сообщают его поэзии удивительное своеобразие, выражение неповторимое. И любимым поэтическим средством являются в ней антитезы — столкновение противоположных понятий: «день первый» — «день последний», «позор» — «торжество», «падеши» — «победа», «свиданье» — «разлука», «демоны» — «ангелы», «небо» — «ад», «блаженство» — «страданье»... И другой, излюбленный, поэтический прием — анафора, настойчивое повторение в начале строки одного и того же слова:

Клянусь я первым дцем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданьем с тобой
И вновь грозящею разлукой;
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братьий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой;
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей;
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей...

Как много говорит самый стих о личности его творца, о его характере, о его страсти! Но...

Тут могут сказать, что это не изобретение Лермонтова, что еще за четырнадцать лет до завершающей редакции «Демона» Пушкин в «Подражаниях Корану» писал:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:
Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Скажут о сходстве. И будут правы. И тем не менее ассоциация рождается редко: Лермонтов сообщил стиху иную экспрессию. Клятва, торжественно-возвышенная у Пушкина, у Лермонтова совсем не торжественна, а исполнена такой завораживающей, такой неотразимой и бурной страсти, что чем больше вчитываешься в пушкинские и в лермонтовские строки, тем менее находишь в них сходства, хотя сходство, разумеется, есть.

Лермонтов никогда не боялся этих сближений. В стихах его постоянно мелькают строки — то Пушкина, то иного полюбившегося ему поэта. Григорий в «Борисе Годунове», пробуждаясь и глядя на пишущего Пимена, говорит:

Так точно дьяк, в приказах поседель,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно...

Последняя строка отозвалась потом в «Думе» Лермонтова:

Добру и злу внимая равнодушно,
В начале поприща мы вянем без борьбы...

Так постоянно продолжает он стих, мысль, тему, уже существующие, но продолжает по-своему. Разве замысел его «Пророка» не связан с «Пророком» Пушкина? Разве Максим Максимыч не сродни капитану Миронову — отцу «капитанской дочки»? А в «Бэле» не трактует ли он сюжет пушкинского «Кавказского пленника» — поэмы, где нас покоряет такая же самоотверженная любовь черкешенки к европейцу с охладелой душой?! Вспоминал Лермонтов сюжет «Евгения Онегина», когда сочинял «Княжпу Мери», или безотчетно было это сближение, это глубоко скрытое, почти неуловимое сходство, но без «Онегина» не было бы «Героя». Это известно давно.

Величайшее дарование, продолжая мысль, высказанную другим, выражать мысль новую, неисчерпаемо глубокую, полную поэ-

тической силы, покоряющую поколение за поколением, — вот еще одно великое свойство личности Лермонтова и созданий его — гениального поэта, прозаика, драматурга!

В юности, сочиняя романтические поэмы и драмы, он рисовал в своем воображении свободных и гордых героев, людей пылкого сердца, могучей воли, верных клятве, гибнущих за волю, за родину, за идею, за верность самим себе. В окружающей жизни их не было. Но Лермонтов сообщал им собственные черты, падал своим мыслями, своим характером, своей волей. Таковы Фернандо, Юрий Волин, Владимир Арбенин в юношеских трагедиях, Измаил-бей, Арсений... И Демон мыслит и клянется, как Лермонтов. Таков и герой «Маскарада» — Евгений Арбенин.

В мире, где нет ни чести, ни любви, ни дружбы, ни мыслей, ни страстей, где царят зло и обман, — ум и сильный характер уже отличают человека от светской толпы. И даже если над ним тяготеет преступное прошлое, как над Арбениным, он все равно возвышается над толпой, и толпа не смеет судить его. «Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет, — писал Белинский, обращаясь к критикам лермонтовского Печорина, — в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа...»

Таков Арбенин, таков Печорин. Но, в отличие от прежних своих творений, Лермонтов, создавая «Героя нашего времени», уже не воображал жизнь, а рисовал такую, какой она являлась в действительности. И он нашел новые художественные средства, каких еще не знала ни русская, ни западная литература и которые восхищают нас по сей день соединением свободного и широкого изображения лиц и характеров с умением показывать их объективно, «выстраивая» их, раскрывая одного героя сквозь восприятие другого. Так, автор путевых записок, в котором мы без труда угадываем черты самого Лермонтова, сообщает нам историю Бэлы со слов Максима Максимыча, а тот, в свою очередь, передает монологи Печорина. И, скажем, снять «Бэлу» в кино невозможно, не изменив при этом ее структуру и смысл. Печорина никак не сыграть, ибо в «Бэле» перед нами не сам Печорин, а Печорин в представлении Максима Максимыча, человека совсем другого круга и другого образа мыслей. И, если не будет Максима Максимыча, Печорин станет похож на героев Марлинского. А в «Журнале Печорина» мы видим героя опять в новом ракурсе — такого, каким он был наедине сам с собой, каким мог предстать в своем дневнике, но никогда бы не открылся на людях.

Лишь один раз мы видим Печорина, как его видит автор. И через всю жизнь проносим в душе и в сознании гениальные эти страницы — повесть «Максим Максимыч», одно из самых гуманных созданий во всей мировой литературе. Она поражает нас, эта повесть, как поражает личное горе, как оскорбление, написанное нам самим. И вызывает глубокое сочувствие и бесконечную нежность по отношению к обманутому штабс-капитану. И в то же время — негодование по адресу блистательного Печорина. Но вот мы читаем «Тамарь», «Княжну Мери» и «Фаталиста» и наконец постигаем характер Печорина в его неизбежной раздвоенности. И, узнавая причины этой «болезни», вникаем в «историю души человеческой» и задумываемся над судьбою «героя» и над характером «времени».

При этом роман обладает свойствами высокой поэзии: его точность, емкость, блеск описаний, сравнений, метафор, фразы, доведенные до краткости и остроты афоризмов, — то, что прежде называлось «слогом» писателя и составляет неповторимые черты его личности, его стиля и вкуса, — доведено в «Герое нашего времени» до высочайшей степени совершенства.

Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность «перевоплощаться» — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и провидительным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.

И р а к л и й А п д р о н и к о в

СТИХОТВОРЕНИЯ



. ПОЭТ

Когда Рафаэль вдохновенный
 Пречистой девы лик священный
 Живою кистью окончал,—
 Своим искусством восхищенный,
 Он пред картиною упал!
 Но скоро сей порыв чудесный
 Слабел в груди его молодой,
 И утомленный и немой,
 Он забывал огонь небесный.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
 Как он пером своим прольет
 Всю душу; звуком громкой лиры
 Чарует свет и в тишине
 Поет, забывшись в райском сне,
 Вас, вас! души его кумиры!
 И вдруг хладеет жар лапит,
 Его сердечные волненья
 Все тише, и призрак бежит!
 Но долго, долго ум хранит
 Первоначальны впечатленья.

1829

К Д...ВУ

Я пробегал страны России,
Как бедный странник меж людей;
Везде шипят коварства змии;
Я думал: в свете нет друзей!
Нет дружбы нежно-постоянной,
И бескорыстной, и простой;
Но ты явился, гость незваный,
И вновь мне возвратил покой!
С тобою чувствами сливаюсь,
В речах веселых счастье пью;
Но дев коварных не терплю,—
И больше им не доверяюсь!..

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

*(Стихи в оригинале найдены во Франции
на стенах одной государственной темницы)*

Зачем вы на меня,
Любезные друзья,
В решётку так глядите?
Не плачьте, не грустите!
Пускай умру сейчас,
Коль я в углу темницы
Смочил один хоть раз
Слезой мои ресницы!..
Ликуйте вы одне
И чаши осушайте,
Любви в безумном сне,
Как прежде, утопайте;
Но в пламенном вине
Меня вспоминайте!..

Я также в вашу честь,
Кляня любовь былую,
Хлеб черствый стану есть
И воду пить гнилую!..
Пред мной отличный стол,
И шаткий <и> старинный;
И музыкой ослиной
Скрыпит повсюду пол.
В окошко свет чуть льется;
Я на стене кругом
Пишу стихи углем,
Браню кого придется,

Хвалю, кого хочу,
Нередко хохочу,
Что так мне удается!

Иль если крыса, в ночь,
Колпак на мне сгрызает,
Я не гоняю прочь:
Меня увеселяет
Ее бесплодный труд.
Я повернусь — и тут!..
Послыша глас тревоги,
Она — давай бог ноги!..

Я сторожа дверей
Всегда увеселяю,
Смешу — и тем сытей
Всегда почти бываю.

.

Тогда я припеваю

.

«Тот счастлив, в ком ни раз
Веселья дух не гас.
Хоть он всю жизнь страдает,
Но горесть забывает
В один веселый час!..»

К ДРУЗЬЯМ

Я рожден с душою пылкой,
Я люблю с друзьями быть,
А подчас и за бутылкой
Быстро время проводить.

Я не склонен к славе громкой,
Сердце греет лишь любовь;
Лиры звук дрожащий, звонкой
Мне волнует также кровь.

Но нередко средь веселья
Дух мой страдает и грустит,
В шуме буйного похмелья
Дума на сердце лежит.

РОМАНС

Коварной жизнью недовольный,
Обманут низкой клеветой,
Летел изгнанник самовольный
В страну Италии златой.
«Забуду ль вас, — сказал он, — други?
Тебя, о севера вино?
Забуду ль, в мирные досуги
Как веселило нас оно?

Снега и вихрь зимы холодной,
Горячий взор московских дев,
И балалайки звук народный,
И томный вечера припев?
Душа души моей! тебя ли
Заглядят в памяти моей
Страна далекая, печали,
Язык презрительных людей?

Нет! и под миртом изумрудным,
И на Гельвеции скалах,
И в граде Рима многолюдном
Все будешь ты в моих очах!»
В коляску сел, дорогой скучной,
Закрывшись в плащ, он поскакал;
А колокольчик однозвучный
Звенел, звенел и пропадал!

ПОРТРЕТЫ

Он не красив, он не высок;
Но взор горит, любовь сулит;
И на челе оставил рок
Средь юных дней печать страстей.
Власы на нем, как смоль, черны,
Бледны всегда его уста,
Открыты ль, сомкнуты ль они;
Лиют без слов язык богов!..
И пылок он, когда над ним
Грозит бедой перун земной!
Не любит он и славы дым:
Средь тайных мук, свободы друг,
Смеется редко, чаще вновь
Клянет оп мир, где вечно сир,
Коварность, зависть и любовь!..

Все проклял оп, как лживый сон,
Как призрак дымных мечты.
Холодный ум, средь мрачных дум,
Не тронут слезы красоты.
Везде оди, природы сын,
Не знал он друга меж людей:
Так бури ток сухой листок
Мчит жертвой посреди степей!..

2

Довольно толст, довольно тучен
 Наш полновесистый герой.
 Нередко весел, чаще скучен,
 Любезен, горд, сердит порой.
 Он добр, член нашего Парнаса,
 Красавицам Москвы смешон,
 На крыльях дряхлого Пегаса
 Летает в мир мечтанья он.
 Глаза не слишком говорливы,
 Всегда по моде он одет.
 А щечки — полненькие сливы,
 Так говорит докучный свет.

3

Лукав, завистлив, зол и страстен,
 Отступник бога и людей;
 Холоден, всем почти ужасен,
 Своими ласками опасен,
 А в заключение — злодей!..

4

Все в мире суета, он мнит, или отравя,
 Возвышенной души предмет стремленья — слава.

5

Всегда он с улыбкой веселой,
 Жизнь любит и юность румяну,
 Но чувства глубоки питает,—
 Не знает он тайны природы.
 Открыт всегда, постоянен;
 Не знает горячих страстей.

6

Он любимец мягкой лени,
 Сна и низких всех людей;
 Он любимец наслаждений,
 Враг губительных страстей!

Русы волосы кудрями
Упадают средь ланит.
Взор изнежен, и устами
Он лишь редко шевелит!..

РУССКАЯ МЕЛОДИЯ

1

В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой,
Я дал им вид, но не дал им названья;
Вдруг зимних бурь раздался грозный вой,—
И рушилось неверное созданье!..

2

Так перед праздною толпой
И с балалайкою народной
Сидит в тени певец простой
И бескорыстный и свободный!..

3

Он громкий звук внезапно раздает,
В честь девы, милой сердцу и прекрасной,—
И звук внезапно струны оборвет,
И слышится начало песни! — но напрасно! —
Никто конца ее не допоеет!..

РОМАНС

Невинный нежною душою,
Не зная в юности страстей прилив,
Ты можешь, друг, сказать с какой-то простотою:
Я был счастлив!..

Кто, слишком рано насладившись,
Живет, в душе негодование скрыв,
Тот может, друг, еще сказать, забывшись:
Я был счастлив!..

Но я в сей жизни скоротечной
Так испытал отчаянья порыв,
Что не могу сказать чистосердечно:
Я был счастлив!..

НАПОЛЕОН

Где бьет волна о брег высокой,
Где дикий памятник небрежно положен,
В сырой земле и в яме неглубокой —
Там спит герой, друзья! — Наполеон!..
Вещают так и камень одинокой,
И дуб возвышенный, и волн прибрежных стон!..

Но вот полночь свинцовый свой покров
По сводам неба распустила,
И влагу дремлющих валов
С могилой тихою Диана осребрила.
Над ней сюда пришел мечтать
Певец возвышенный, но юный;
Воспоминания стараясь пробуждать,
Он арфу взял, запел, ударил в струны..

«Не ты ли, островок уединенный,
Свидетелем был чистых дней
Героя дивного? Не здесь ли звук мечей
Гремел, носился глас его священный?
Нет! рок хотел отсюда удалить
И честолюбие, и кровь, и гул военный;
А твой удел благословенный:
Принять изгнанника и прах его хранить!

Зачем он так за славою гонялся?
Для чести счастье презирал?
С невинными народами сражался?
И скипетром стальным короны разбивал?

Зачем шутил граждан спокойных кровью,
Презрел и дружбой и любовью
И пред творцом не трепетал?..

Ему, погибельно войною принужденный
Почти весь свет кричал: ура! .
При визге бурного ядра
Уже он был готов — но... воин дерзновенный!..
Творец смешал неколебимый ум,
Ты побежден московскими стенами...
Бежал!.. и скрыл за дальними морями
Следы печальные твоих высоких дум.

Огнем снедаем угрызений,
Ты здесь безвременно погас.
Покоен ты; и в тихий утра час,
Как над тобой порхнет зефир весенний,
Безвестный гость, дубравный соловей,
Порою издает томительные звуки,
В них слышны: слава прежних дней,
И голос нег, и голос муки!..

Когда уже едва свет дневный отражен
Кристалльною играющей волною
И гаснет день: усталою стопою
Идет рыбацк бреггов на тихий склон,
Несведущий, безмолвно попирает,
Таща изорванную сеть,
Ту землю, где твой прах забытый истлевет,
Не перестав простую песню петь...»

Вдруг!.. ветерок... луна за тучи забежала...
Умолк певец. Струится в жилах хлад;
Он тайным ужасом объят...
И струны лопнули... и тень ему предстала!
«Умолкни, о певец! — спеши отсюда прочь, —
С хвалой иль язвою упрека:
Мне все равно; в могиле вечно ночь.
Там нет ни почестей, ни счастья, ни рока!
Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки
Я презрю песнопенья громки;
Я выше и похвал, и славы, и людей!..»

ЖАЛОБЫ ТУРКА

(Письмо. К другу, иностранцу)

Ты знал ли дикий край, под знойными лучами,
Где рощи и луга поблекшие цветут?
Где хитрость и беспечность злобе дасть несут?
Где сердце жителей волнуемо страстями?

И где являются порой

Умы и хладные и твердые, как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень.
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!..
Друг! этот край... моя отчизна!

P, S.

Ах, если ты меня поймешь,
Прости свободные намеки;
Пусть истину скрывает ложь?
Что ж делать? — Все мы человеки!..

ЧЕРКЕШЕНКА

Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый
И нравы тихой простоты!

Но там, где Терек протекает,
Черкешенку я увидал, —
Взор девы сердце приковал; —
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальних скал.,,

Так дух раскаяния, звуки
Послышав райские, летит
Узреть еще небесный вид:
Так стоп любви, страстей и муки
До гроба в памяти звучит.

ДВА СОКОЛА

Степь, синяя, расстилалась
Близ Азовских берегов,
Запад гас, и ночь спускалась;
Вихрь скользил между холмов,
И, тряхнувшись, в поле диком
Серый сокол тихо сел;
И к нему с ответным криком
Брат стрелою прилетел.
«Братец, братец, что ты видел?
Расскажи мне поскорей».
«Ах, я свет возненавидел
И безжалостных людей».
«Что ж ты видел там худого?»
«Кучу каменных сердец:
Деве смех тоска милого,
Для детей тиран отец.
Девы мукой слез правдивых
Веселятся как игрой;
И у ног самолюбивых гибнут юноши толпой!.,
Братец, братец! ты что ж видел?
Расскажи мне поскорей!».
«Свет и я возненавидел
И изменчивых людей.
Ношею обманов скрытых
Юность там удручена; '
Вспоминаний ядовитых
Старость мрачная полна.
Гордость, верь ты мне, прекрасной
Забывается порой;
Но измена девы страстной
Нож для сердца вековой!..»

МОЙ ДЕМОН

Собранье зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.
Меж листьев желтых, облетевших,
Стоит его недвижимый трон;
На нем, среди ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он.
Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моления отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей.

К ДРУГУ

Взлелеянный на лоне вдохновенья,
С деятельной и пылкой душой,
Я не пленен небесной красотой;
Но я ищу земного упоенья.
Любовь пройдет, как тень пустого сна,
Не буду я счастливым близ прекрасной;
Но ты меня не спрашивай напрасно:
Ты, друг, узнать не должен, кто она.
Навек мы с ней разлучены судьбою,
Я победить жестокость не умел.
Но я ношу отказ и месть с собою,
Но я в любви моей закоренел.
Так вор седой загложив дубравы
Не кается еще в своих грехах:
Еще он путников, соседей страх,
И мил ему товарищ, нож кровавый!.,
Стремится медленно толпа людей,
До гроба самого от самой колыбели,
Игралищем и рока и страстей,
К одной, святой, неизъяснимой цели.
И я к высокому в порыве дум живых,
И я душой летел во дни былые;
Но мне милей страдания земные:
Я к ним привык и не оставлю их...

ЭЛЕГИЯ

О! Если б дни мои текли
На лоне сладостном покоя и забвенья,
Свободно от сует земли
И далеко от светского волненья,
Когда бы, усмиря мое воображенье,
Мной игры младости любимы быть могли,
Тогда б я был с весельем неразлучен,
Тогда б я, верно, не искал
Ни наслаждения, ни славы, ни похвал.
Но для меня весь мир и пуст и скучен,
Любовь невинная не льстит душе моей:
Ищу измен и новых чувствований,
Которые живут хоть колкостью своей
Мне кровь, угасяю от грусти, от страданий,
От преждевременных страстей!..

МОНОЛОГ

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете,
К чему глубокие познания, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное течение...
И душно кажется на родипе,
И сердцу тяжело, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

МОЛИТВА

Не обвиняй меня, всемогущий,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

1830

* * *

Один среди людского шума
Возрос под сенью чуждой я.
И гордо творческая дума
На сердце зрела у меня.
И вот прошли мои мученья,
Нашлись пылкие друзья,
Но я, лишенный вдохновенья,
Скучал судьбою бытия.
И снова муки посетили
Мою воскреснувшую грудь.
Измены душу заразили
И не давали отдохнуть.
Я вспомнил прежние несчастья,
Но не найду в душе моей
Ни честолюбья, ни участия,
Ни слез, ни пламенных страстей.

ЗВЕЗДА

Вверху одна
Горит звезда,
Мой взор она
Манит всегда,
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Меня зовет.
Таков же был
Тот нежный взор,
Что я любил
Судьбе в укор;
Мук никогда
Он зреть не мог,
Как та звезда,
Он был далек;
Усталых вежд
Я не смыкал,
И без надежд
К нему взирал.

КАВКАЗ

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял,
Но милость, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас,
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас,
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, вспомя тот взор:
Люблю я Кавказ!..

К***

Не говори: одним высоким
Я на земле воспламенен,
К нему лишь с чувством я глубоким
Бужу забытой лиры звон;
Поверь: великое земное
Различно с мыслями людей.
Сверши с успехом дело злое —
Велик; не удалось — злодей;
Среди дружин необозримых
Был чуть не бог Наполеон;
Разбитый же в снегах родимых,
Безумцем порицаем он;
Внимая шум воды прибрежной,
В изгнанье дальном он погас —
И что ж? Конец его мятежный
Не отуманил наших глаз!.,

Н. Ф. И...ВОЙ

Любил с начала жизни я
Угрюмое уединенье,
Где укрывался весь в себя,
Бояся, грусть не утая,
Будить людское сожаленье;

Счастливы, мнил я, не поймут
Того, что сам не разберу я,
И черных дум не унесут
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя.

Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;

Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный.
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный,

Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,

К тому, чего даны в залог
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.

Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели...
И, в жизни зло лишь испытав,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум печальной цели.

ВЕСНА

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюнные поля,—
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;
Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.

ОДИНОЧЕСТВО

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы:
Никто не хочет грусть делить.

Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как, судьбе послушно,
Года уходят, будто сны;

И вновь приходят, с позлащенной,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединенный,
Он ждет; что ж медлить над землей?

Никто о том не покружится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моем...

В АЛЬБОМ

1

Нет! — я не требую вниманья
На грустный бред души моей,
Не открывать свои желанья
Привыкнул я с давнишних дней.
Пишу, пишу рукой небрежной,
Чтоб здесь чрез много скучных лет
От жизни краткой, но мятежной
Какой-нибудь остался след.

2

Быть может, некогда случится,
Что, все страницы пробежав,
На эту взор ваш устремится,
И вы промолвите: он прав;
Быть может, долго стих унылый
Тот взгляд удержит над собой,
Как близ дороги столбовой
Пришельца — памятник могилы!..

ЗВЕЗДА

Светись, светись, далекая звезда,
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда;
Твой слабый луч, сражаясь с темнотой,
Несет мечты душе моей больной;
Она к тебе летает высоко;
И груди сей свободно и легко...

Я видел взгляд, исполненный огня
(Уж он давно закрылся для меня),
Но, как к тебе, к нему еще лечу,
И хоть пельзя — согреть его хочу...

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Я видал иногда, как ночная звезда
В зеркальном заливе блестит;
Как трепещет в струях и серебряный прах
От нее, рассыпаясь, бежит.

Но поймать ты не льстись и ловить не берись:
Обманчивы луч и волна.
Мрак тени твоей только ляжет на ней —
Отойди ж, — и заблещет она.

Светлой радости так беспокойный призрак
Нас манит под хладною мглой;
Ты схватить — он шутя убежит от тебя!
Ты обманут — он вновь пред тобой.

ВЕЧЕР ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Гляжу в окно: уж гаснет небосклон,
Прощальный луч на высоте колонн,
На куполах, на трубах и крестах
Блестит, горит в обманутых очах;
И мрачных туч огнистые края
Рисуются на небе как змея,
И ветерок, по саду пробежав,
Волнует стебли омоченных трав...
Один меж них приметил я цветок,
Как будто перл, покинувший восток,
На нем вода блистаючи дрожит,
Главу свою склонивши, он стоит,
Как девушка в печали роковой:
Душа убита, радость над душой;
Хоть слезы льет из пламенных очей,
Но помнит все о красоте своей.

НАПОЛЕОН

(Дума)

В неверный час, меж днем и темнотою,
Когда туман синеет над водой,
В час грешных дум, видений, тайн и дел,
Которых луч узреть бы не хотел,
А тьма укрыть, чья тень, чей образ там,
На берегу, склонивши взор к волпам,
Стоит вблизи нагбенного креста?
Он не живой. Но также не мечта:
Сей острый взгляд с возвышенным челом
И две руки, сложенные крестом.

Пред ним лепечут волны и бегут,
И вновь приходят, и о скалы бьют;
Как легкие ветрилы, облака
Над морем носятся издалека.
И вот глядит неведомая тень
На тот восток, где новый брезжит день;
Там Франция! — там край ее родной
И славы след, быть может скрытый мглой;
Там, средь войны, ее неслися дни...
О! для чего так кончились они!..

Прости, о слава! обманувший друг.
Опасный ты, но чудный, мощный звук;
И скиптр... о вас забыл Наполеон;
Хотя давно умерший, любит он
Сей малый остров, брошенный в морях,
Где сгнил его и червем съеден прах,

Где он страдал, покинут от друзей,
Презрев судьбу с гордыней прежних дней,
Где стаивал он на берегу морском,
Как ныне грустен, руки сжав крестом.

О! как в лице его еще видны
Следы забот и внутренней войны,
И быстрый взор, дивящийся слабый ум,
Хоть чужд страстей, все полон прежних дум;
Сей взор как трепет в сердце проникал
И тайные желанья узнавал,
Он тот же все; и той же шляпой он,
Сопутницею жизни, осенен.
Но — посмотри — уж день блеснул в струях...
Призрака нет, все пусто на скалах.

Нередко впемлет житель сих берегов
Чудесные рассказы рыбаков.
Когда гроза бунтует и шумит,
И блещет молния, и гром гремит,
Мгновенный луч нередко озарял
Печальную тень, стоящую меж скал.
Один пловец, как ни был страх велик,
Мог различить недвижный смуглый лик,
Под шляпою, с нахмуренным челом,
И две руки, сложенные крестом.

КАВКАЗУ,

Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..
Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?..
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для псе.

УТРО НА КАВКАЗЕ

Светает — вьется дикой пеленой
Вокруг лесистых гор туман ночной;
Еще у ног Кавказа тишина;
Молчит табуи, река журчит одна.
Вот на скале новорожденный луч
Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,
И розовый по речке и патрам
Разлился блеск, и светит там и там;
Так девушки, купаясь в тени,
Когда увидят юношу они,
Краснеют все, к земле склоняют взор:
Но как бежать, коль близок милый вор!..

ОТРЫВОК

На жизнь надеяться страшась,
Живу, как камень меж камней,
Излить страдания скупясь:
Пускай сгниют в груди моей.
Рассказ моих сердечных мук
Не возмутит ушей людских.
Ужель при сшибке камней звук
Проникнет в середину их?

Хранится пламень неземной
Со дней младенчества во мне.
Но велено ему судьбой,
Как жил, погибнуть в тишине.
Я твердо ждал его плодов,
С собой беседовать любя.
Утихнет звук сердечных слов,
Один, один останусь я.

Для тайных дум я пренебрег
И путь любви и славы путь,
Все, чем хоть мало в свете мог
Иль отличиться, иль блеснуть;
Беднейший среди существ земных,
Останусь я в кругу людей,
Навек лишась достоинств их
И добродетели своей!

Две жизни в нас до гроба есть,
Есть грозный дух: он чужд уму;

Любовь, надежда, скорбь и месть;
Все, все подвержено ему,
Он основал жилище там,
Где можем память сохранять,
И предвещает гибель нам,
Когда уж поздно избегать.

Терзать и мучить любит он;
В его речах нередко ложь;
Он точит жизнь, как скорпион.
Ему поверил я — и что ж!
Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет;
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет,

И скоро старость приведет
Меня к могиле — я взгляну
На жизнь — на весь ничтожный плод —
И о прошедшем вспомяну:
Придет сей верный друг могил,
С своей холодной красотой:
Об чем страдал, что я любил,
Тогда лишь будет мне мечтой.

Ужель единый гроб для всех
Уничтожением грозит?
Как знать: тогда, быть может, смех
Полмертвого воспламенит!
Придет веселость, звук чужой.
Поныне в словаре моем:
И я об юности златой
Не погорю пред концом.

Теперь я вижу: пышный свет
Не для людей был сотворен.
Мы сгинем, наш сотрется след,
Таков наш рок, таков закон;
Наш дух вселенной вихрь умчит
К безбрежным, мрачным сторонам,
Наш прах лишь землю умячит
Другим, чистейшим существам.

Не будут проклинять они;
Меж них ни злата, ни честей

Не будет. Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..

К ним станут (как всегда могли)
Слетаться ангелы. А мы
Увидим этот рай земли,
Окованы над бездной тьмы.
Укоры зависти, тоска
И вечность с целию одной:
Вот казнь за целые века
Злодейств, кипевших под луной.

ЭЛЕГИЯ

Дробись, дробись, волна ночная,
И пеной орошай берега в туманной мгле.
Я здесь стою близ моря на скале,
Стою, задумчивость питаю,
Один, покинув свет, и чуждый для людей,
И пикому тоски поверить не желая.
Вблизи меня палатки рыбарей;
Меж них блестит огонь гостеприимный,
Смья беспечная сидит вокруг огонька
И, внемля повесть старика,
Себе готовит ужин дымный!
Но я далек от счастья их душой,
Я помню блеск обманчивой столицы,
Веселий пагубных невозвратимый рой.
И что ж? — слеза бежит с ресницы,
И сожаление мою тревожит грудь,
Года погибшие являются всечасно;
И этот взор, задумчивый и ясный —
Твержу, твержу душе: забудь.
Он все передо мной: я все твержу напрасно!..
О, если б я в сем месте был рожден,
Где не живет среди людей коварность:
Как много бы я был судьбою одолжен —
Теперь у ней нет прав на благодарность! —
Как жалок тот, чья младость принесла
Морщину лишнюю для старого чела
И, отобрав все милые желанья,
Одно печальное раскаянье дала;
Кто чувствовал, как я, — чтоб чувствовать страданья,
Кто рано свет узнал — и с страшной пустотой,
Как я, оставил берег земли своей родной
Для добровольного изгнанья!

ЭПИТАФИЯ

Простосердечный сын свободы,
Для чувств он жизни не щадил;
И верные черты природы
Он часто списывать любил.

Он верил темным предсказаниям,
И талисманам, и любви,
И неестественным желаньям
Он отдал в жертву дни свои.

И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей.
Он умер. Здесь его могила.
Он не был создан для людей.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Прими, прими мой грустный труд
И, если можешь, плачь над ним;
Я много плакал — не придут
Вновь эти слезы — вечно им
Не освежать моих очей.
Когда катилися они,
Я думал, думал все об ней.
Жалел и ждал другие дни!
Уж нет ее, и слез уж нет —
И нет надежд — передо мной
Блестит надменный, глупый свет
С своей красивой пустотой!
Ужель я для него писал?
Ужели важному шуту
Я вдохновенье посвящал,
Являя сердца полноту?
Ценить он только злато мог
И гордых дум не постигал;
Мой гений сплел себе венок
В ущелинах кавказских скал.
Одним высоким увлечен,
Он только жертвует любви:
Принести тебе лишь может он
Любимые труды свои,

К***

Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны, — нет,
Нет! все мои жестокие мученья —
Одно предчувствие гораздо больших бед.

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки, —
О, если б одинаков был удел!.

Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой.
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой,

Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперед — там нет души родной!

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ней прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен;
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек;
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

11 ИЮЛЯ

Между лиловых облаков
Однажды вечера светило
За снежной цепью холмов,
Краснея, ярко заходило,
И возле девы молодой,
Последним блеском озаренной,
Стоял я бледный, чуть живой,
И с головы ее бесценной
Моих очей я не сводил.
Как долго это я мгновенье
В туманной памяти хранил.
Ужель все было сновиденье?
И ложе девы, и окно,
И трепет милых уст, и взгляды,
В которых мне запрещено
Судьбой искать себе отрады?
Нет, только счастье ослепить
Умеет мысли и желанья,
И сном никак не может быть
Все, в чем хоть искра есть страданья!

ПЕСНЬ БАРДА

I

Я долго был в чужой стране,
Дружин Днепра седой певец,
И вдруг пришло на мысли мне
К ним возвратиться наконец.
Пришел — с гуслиами за спиной —
Былую песню заиграл...
Напрасно! — князь земли родной
Приказу ханскому внимал...

II

В пустыни, где являлся враг,
Понес я старую главу,
И попирал мой каждый шаг
Окровавленную траву.
Сходились к брошенным костям
Толпы зверей и птиц лесных,
Затем, что больше было там
Число убитых, чем живых.

III

Кто мог бы песню спеть одну?
Отчаянным движеньем рук

Задев дрожащую струну,
Случалось, исторгал я звук;
Но умирал так скоро он!
И если б слышал сын цепей,
То гибнущей свободы стон
Не тронул бы его ушей.

IV

Вдруг кто-то у меня спросил:
«Зачем я часто слезы лью,
Где человек так вольно жил?
О ком бренчу, о ком пою?»
Пронзила эта речь меня —
Надежд пропал последний рой,
На землю гусли бросил я
И молча раздавил ногой.

10 ИЮЛЯ (1830)

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны,
И снова знамя вольности кровавой .
Явилось, победы мрачный знак,
Оно любимо было прежде славой:
Суворов был его сильнейший враг.

.

НИЩИЙ

У врат обители святой
Стоял просящий подаюня
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

30 ИЮЛЯ.— (ПАРИЖ) 1830 ГОДА

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел. Ты полагал
Народ унижить под ярмом.
Но ты французам не узнал!
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.

И загорелся страшный бой;
И знамя вольности, как дух,
Идет пред гордою толпой.
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь.
О! чем заплатишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан,

Когда последняя труба
Разрежет звуком синий свод;
Когда откроется гроба
И прах свой прежний вид возьмет;
Когда появятся весы
И их подымет судия...
Не встанут у тебя власы?
Не задрожит рука твоя?..

Глупец! что будешь ты в тот день,
Коль ныне стыд уж над тобой?

Предмет насмешек ада, тень,
Призрак, обманутый судьбой!
Бессмертной раню убит,
Ты обернешь молящий взгляд,
И строй кровавый закричит;
Он виноват! он виноват!

СТАНСЫ

Взгляни, как мой спокоен взор,
Хотя звезда судьбы моей
Померкнула с давнишних пор
И с нею думы светлых дней.
Слеза, которая не раз
Рвалась блеснуть перед тобой,
Уж не придет, как этот час,
На смех подосланный судьбой.

II

Смеялась надо мною ты,
И я презреньем отвечал —
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой...
Хоть в сердце шепчет чудный глас:
Я не могу любить другой.

III

Я жертвовал другим страстям,
Но если первые мечты
Служить не могут снова нам —

То чем же их заменишь ты?..
Чем успокоишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю,
А может быть, и в небесах?..

НОЧЬ

Один я в тишине ночной;
Свеча сгоревшая трещит,
Перо в тетрадке записной
Головку женскую чертит:
Воспоминая о былом,
Как тень, в кровавой пелене,
Спешит указывать перстом
На то, что было мило мне.

Слова, которые могли
Меня тревожить в те года,
Пылают предо мной вдали,
Хоть мной забыты навсегда.
И там скелеты прошлых лет
Стоят унылою толпой;
Меж ними есть один скелет —
Он обладал моей душой.

Как мог я не любить тот взор?
Презренья женского кинжал
Меня пронзил... но нет — с тех пор
Я все любил — я все страдал.
Сей взор невыносимый, он
Бежит за мною как призрак;
И я до гроба осужден
Другого не любить никак.

О! я завидую другим!
В кругу семейственном, в тиши,

Смеяться просто можно им
И веселиться от души.
Мой смех тяжел мне как свинец:
Он плод сердечной пустоты...
О боже! вот что, наконец,
Я вижу, мне готовил ты.

Возможно ль! первую любовь
Такою горечью облить;
Притворством взволновав мне кровь,
Хотеть насмешкой остудить?
Желал я на другой предмет
Излить огонь страстей своих.
Но память, слезы первых лет!
Кто устоит противу них?

* * *

Когда к тебе молвы рассказ
Мое названье принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет,
Когда мне пищей станет кровь
И буду жить среди людей,
Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей,
Тогда раскаянья кинжал
Пронзит тебя; и вспомнишь ты,
Что при прощанье я сказал,
Увы! то были не мечты!
И если только, наконец,
Моя лишь грудь поражена,
То верно, прежде знал творец,
Что ты страдать не рождена.

К***

Когда твой друг с пророческой тоскою
Тебе вверял толпу своих забот,
Не знала ты невинною душою,
Что смерть его позорная зовет,
Что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;

Он был рожден для мирных вдохновений,
Для славы, для надежд; но меж людей
Он не годился — и враждебный гений
Его душе не наложил цепей;
И не слышал творец его молений,
И он погиб во цвете лучших дней;

И близок час... и жизнь его потонет
В забвенье, без следа, как звук пустой;
Никто слезы прощальной не уронит,
Чтоб смыть упрек, оправданный толпой,
И лишь волна полночная простонет
Над сердцем, где хранился образ твой?

НОВГОРОД

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, там видели народы
Все то, к чему теперь ваш дух летит.

МОГИЛА БОЙЦА

(Дума).

I

Он спит последним сном давно,
Он спит последним сном,
Над ним бугор насыпан был,
Зеленый дерн кругом.

II

Седые кудри старика
Смешались с землей;
Они взвевались по плечам
За чашей пировой.

III

Они белы, как пена волп,
Биющихся у скал;
Уста, любимицы бесед,
Впервые хлад сковал.

IV

И бледны щеки мертвца,
Как лик его врагов

Бледнел, когда являлся он
Один средь их рядов.

V

Сырой землей покрыта грудь,
Но ей не тяжело,
И червь, движенья не боясь,
Ползет через чело,

VI

На то ль он жил и меч носил,
Чтоб в час вечерней мглы
Слетались на курган его
Пустынные орлы?

VII

Хотя певец земли родной
Не раз уж пел об нем,
Но песнь — все песнь; а жизнь — все жизнь!
Он спит последним сном.

СМЕРТЬ

Закат горит огнистой полосой;
Любуюсь им безмолвно под окном,
Быть может, завтра он заблещет надо мною,
Безжизненным, холодным мертвецом;
Одна лишь дума в сердце опустелом,
То мысль об *ней*. О, далеко она;
И над моим недвижным бледным телом
Не упадет слеза ее одна.
Ни друг, ни брат прощальными устами
Не поцелуют здесь моих ланит;
И сожаленью чуждыми руками
В сырую землю буду я зарыт.
Мой дух утонет в бездне бесконечной!..
Но ты! О, пожалей о мне, краса моя!
Никто не мог тебя любить, как я,
Так пламенно и так чистосердечно.

ПИР АСМОДЕЯ

(Сатира)

У беса праздник. Скачет представляться
Чертей и душ усопших мелкий сброд,
Кухмейстеры за кушаньем трудятся,
Прозябнувши, придворный в зале ждет.
И вот за стол все по чинам садятся,
И вот лакей картофель подает,
Затем что самодержец Мефистофель
Был родом немец и любил картофель.

По правую сидел приезжий <Павел>,
По левую начальник докторов,
Великий Фауст, муж отличных правил
(Распространять сужденья дураков
Он средство нам превечное доставил).
Сидят. Вдруг настезь дверь и звук шагов;
Три демона, войдя с большим поклоном,
Кладут свои подарки перед троном,

1 - й д е м о н

(говорит)

Вот сердце женщины: она искала
От неба даже скрыть свои дела
И многим это сердце обещала
И никому его не отдала.
Она себе беды лишь не желала,
Лишь злобе до конца верна была.
Не откажись от скромного даянья,

Хоть эта вещь не стоила названья.

«C'est trop commun!¹—воскликнул бес державный

С презрительной улыбкою своей.—

Подарок твой подарок был бы славный.

Но новизна царица наших дней;

И мало ли случилось недавно,

И как не быть приятных мне вестей;

Я думаю, слышали даже стены

Про эти бесконечные измены».

2 - й д е м о н

На стол твой я принес вино свободы;

Никто не мог им жажды утолить,

Его земные опились народы

И начали в куски короны бить;

Но как помочь? кто против общей моды?

И нам ли разрушенье усыпить?

Прими ж напиток сей, земли властитель,

Единственный мой царь и повелитель.

Тут все цари невольно взбеленились,

С тарелками вскочили с мест своих,

Бояся, чтобы черти не напились,

Чтоб и отсюда не прогнали их.

Придворные в молчании косились,

Смекнув, что лучше прочь в подобный миг;

Но главный бес с геройскою хваткой

На землю выплеснул напиток сладкой.

3 - й д е м о н

В Москву болезнь холеры притащили,

Врачи вступились за нее тотчас,

Они морили, и они лечили

И больше уморили во сто раз.

Один из них, которому служили

Мы некогда, вовремя вспомнил нас,

И он кого-то хлору пить заставил

И к прадедам здорового отправил.

Сказал и подает стакан фатальный

Властителю поспешною рукой,

¹ Это слишком банально! (*франц.*)

«Так вот сосуд любезный и печальный,
Драгой залог науки докторской.
Благодарю. Хотя с полночи дальней,
Но мне милее всех подарок твой».
Так молвил Асмодей и все смеялся,
Покуда пир вечерний продолжался.

НА КАРТИНУ РЕМБРАНДТА

Ты понимал, о мрачный гений,
Тот грустный безотчетный сон,
Поры страстей и вдохновений,
Все то, чем удивил Байрон.
Я вижу, лик полуоткрытый
Означен резкою чертой;
То не беглец ли знаменитый
В одежде инока святой?
Быть может, тайным преступленьем
Высокий ум его убит;
Все темно вокруг: тоской, сомненьем
Надменный взгляд его горит.
Быть может, ты писал с природы,
И этот лик не идеал!
Или в страдальческие годы
Ты сам себя изображал?
Но никогда великой тайны
Холодный не проникнет взор,
И этот труд необычайный
Бездушным будет злой укор.

К***

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец не твой венец.

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло, и перед злом
Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

ПРОЩАНИЕ

Прости, прости!
О, сколько мук
Произвести
Сей может звук.
В далекий край
Уносишь ты
Мой ад, мой рай,
Мои мечты.
Твоя рука
От уст моих
Так далека,
О, лишь на миг,
Прошу, приходи
И оживи
В моей груди
Огонь любви.
Я здесь больной,
Один, один,
С моей тоской,
Как властелин,
Разлуку я
Переживу ль
И ждать тебя
Назад могу ль?
Пусть я прижму
Уста к тебе
И так умру
Назло судьбе.

Что за нужда?
Прощанья час
Пусть тогда
Застанет нас!

СМЕРТЬ

Оборвана цепь жизни молодой,
Окончен путь, бил час, пора домой,
Пора туда, где будущего нет,
Ни прошлого, ни вечности, ни лет;
Где нет ни ожиданий, ни страстей,
Ни горьких слез, ни славы, ни честей;
Где вспоминанье спит глубоким сном
И сердце в тесном доме гробовом
Не чувствует, что червь его грызет.
Пора. Устал я от земных забот.
Ужель бездушных удовольствий шум,
Ужели пытки бесполезных дум,
Ужель самолюбивая толпа,
Которая от мудрости глупа,
Ужели дев коварная любовь
Прельстят меня перед кончиной вповь?
Ужели захочу я жить опять,
Чтобы душой по-прежнему страдать
И столько же любить? Всесильный бог,
Ты знал: я долее терпеть не мог;
Пускай меня обхватит целый ад,
Пусть буду мучиться, я рад, я рад,
Хотя бы вдвое против прошлых дней,
Но только дальше, дальше от людей.

ВОЛНЫ И ЛЮДИ

Волны катятся одна за другою
С плеском и шумом глухим;
Люди проходят ничтожной толпою
Также один за другим.
Волнам их неволя и холод дороже
Знойных полудня лучей;
Люди хотят иметь души... и что же? →
Души в них волн холодней!

ЗВУКИ

Что за звуки! неподвижен, внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
Вседоуший! что за звуки! жадно
Сердце ловит их,
Как в пустыне путник безотрадной
Каплю вод живых!
И в душе опять они рожают
Сны веселых лет
И в одежду жизни одевают
Все, чего уж нет.
Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне;
Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне.
И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней,
И опять я в мыслях полагаюсь,
На слова людей,

ПОЛЕ БОРОДИНА

1

Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву родины своей.
Шумела буря до рассвета;
Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал:
«Брат, слушай песню непогоды:
Она дика, как песнь свободы»,
Но, вспоминая прежни годы,
Товарищ не слышал,

2

Пробили зорю барабаны,
Восток туманный побелел,
И от врагов удар неожиданный
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
И мы погибнуть обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в бородинский бой.

3

Что Чесма, Рымник и Полтава?
 Я, вспомня, леденею весь,
 Там души волновала слава,
 Отчаяние было здесь.
 Безмолвно мы ряды сомкнули,
 Гром грянул, завизжали пули,
 Перекрестился я.
 Мой пал товарищ, кровь лилася,
 Душа от мщения тряслася,
 И пуля смерти понеслася
 Из моего ружья.

4

Марш, марш! пошли вперед, и боле
 Уж я не помню ничего.
 Шесть раз мы уступали поле
 Врагу и брали у него.
 Носились знамена, как тени,
 Я спорил о могильной сени,
 В дыму огонь блестел,
 На пушки конница летала,
 Рука бойцов колоть устала,
 И ядрам пролетать мешала
 Гора кровавых тел.

5

Живые с мертвыми сравнялись,
 И ночь холодная пришла,
 И тех, которые остались,
 Густою тьмою развела.
 И батареи замолчали,
 И барабаны застучали,
 Противник отступил;
 Но день достался нам дороже!
 В душе сказав: помилуй боже!
 На труп застывший, как на ложе,
 Я голову склонил.

И крепко, крепко наши спали
Отчизны в роковую ночь.
Мои товарищи, вы пали!
Но этим не могли помочь.
Однако же в преданьях славы
Все громче Рымника, Полтавы
Гремит *Бородино*.
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес погаснут очи,
Чем в памяти сынов полночи
Изгладится оно.

МОЙ ДОМ

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей достигает,
И от одной стены к другой —
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой.

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, течение века
Объемлет в краткий миг оно.

И всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нем,
И в нем лишь буду я спокоен.

1831

1831-го ЯНВАРЯ

Редуют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны.
Они зовут, они манят,
Поют, и я пою за ними
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядеть назад, —

Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит все печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

СТАНСЫ

Мне любить до могилы творцом суждено!
Но по воле того же творца
Все, что любит меня, то погибнуть должно
Иль, как я же, страдать до конца.
Моя воля надеждам противна моим,
Я люблю и страшусь быть взаимно любим.

На пустынной скале незабудка весной
Одна без подруг расцвела.
И ударила буря и дождь проливной,
И, как прежде, недвижна скала;
Но красивый цветок уж на ней не блестит,
Он ветром надломлен и градом убит.

Так точно и я под ударом судьбы,
Как утес, неподвижно стою,
Но не мысли никто перенести сей борьбы,
Если руку пожмет он мою;
Я не чувств, но поступков своих властелин,
Я несчастлив пусть буду — несчастлив один.

СОЛНЦЕ ОСЕНИ

Люблю я солнце осени, когда,
Меж тучек и туманов пробираясь,
Оно кидает бледный мертвый луч
На дерево, колеблемое ветром,
И на сырую степь. Люблю я солнце,
Есть что-то схожее в прощальном взгляде
Великого светила с тайной грустью
Обманутой любви; не холодной
Оно само собою, но природа
И все, что может чувствовать и видеть,
Не могут быть согреты им; так точно
И сердце: в нем все жив огонь, но люди
Его понять однажды не умели,
И он в глазах блеснуть не должен вновь,
И до ланит он вечно не коснется.
Зачем вторично сердцу подвергать
Себя насмешкам и словам сомненья?

ПОТОК

Источник страсти есть во мне
 Великий и чудесный;
Песок серебряный на дне,
 Поверхность лик небесный;
Но беспрестанно быстрый ток
Воротит и крутит песок,
 И небо над водами
 Одето облаками.

Родится с жизнью этот ключ
 И с жизнью исчезает;
В ином он слаб, в другом могуч,
 Но всех он увлекает;
И первый счастлив, но такой
Я праздный отдал бы покой
 За несколько мгновений
 Блаженства иль мучений.

К***

Не ты, но судьба виновата была,
Что скоро ты мне изменила,
Она тебе прелести женщин дала,
Но женское сердце вложила.

Как в море широком следы челнока,
Мгновенье его впечатленья,
Любовь для него, как веселье, легка,
А горе не стоит мгновенья.

Но в час свой урочный узнает оно
Цепей неизбежное бремя.
Прости, нам расстаться теперь суждено,
Расстаться до этого время.

Тогда я опять появлюсь пред тобой,
И речь моя ум твой встревожит,
И пусть я услышу ответ роковой,
Тогда ничего не поможет.

Нет, нет! милый голос и пламенный взор
Тогда своей власти лишатся;
Вослед за тобой побежит мой укор,
И в душу он будет впиваться.

И мщенье, напомнив, что я перенес,
Уста мои к смеху принудит,
Хоть эта улыбка всех, всех твоих слез
Гораздо мучительней будет,

НОЧЬ

В чугу́н печальный сторож бьет,
Один я внемлю. Глухо лают
Вдали собаки. Мрачен свод
Небес, и тучи пробегают
Одна безмолвно за другой,
Сливаясь под ночною мглой.
Колелет ветер влажный, душный
Верхи дерев, и с воем он
Стучит в оконницы. Мне скучно,
Мне тяжело бденье, страшен сон;
Я не хочу, чтоб сновиденье
Являло мне ее черты;
Нет, я не раб моей мечты,
Я в силах перенести мученье
Глубоких дум, сердечных ран,
Все, — только не ее обман.
Я не скажу «прости» надежде,
Молве не верю; если прежде
Она могла меня любить,
То ей ли можно изменить?
Но отчего же? Разве нету
Примеров, первый ли урок
Во мне теперь дается свету?
Как я забыт, как одинок.
<Шуми>, шуми же, ветер ночи,
Играй свободно в небесах
И освежи мне грудь и очи.
В груди огонь, слеза в очах,
Давно без пищи этот пламень,
И слезы падают на камень.

К СЕБЕ

Как я хотел себя уверить,
Что не люблю ее, хотел
Неизмеримое измерить,
Любви безбрежной дать предел,

Мгновенное пренебреженье
Ее могущества опять
Мне доказало, что влечение
Души нельзя нам побеждать;

Что цепь моя несокрушима,
Что мой теперешний покой
Лишь глас залетный херувима
Над сонной демонов толпой.

* * *

Пушай поэта обвиняет
Насмешливый, безумный свет,
Никто ему не помешает,
Он не услышит мой ответ.
Я сам собою жил донине,
Свободно мчится песнь моя,
Как птица дикая в пустыне,
Как вдаль по озеру ладья.
И что за дело мне до света,
Когда сидишь ты предо мной.
Когда рука моя согрета
Твоей волшебною рукой;
Когда с тобой, о дева рая,
Я провожу небесный час,
Не беспокоясь, не страдая,
Не отворачивая глаз.

СЛАВА

К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства,
Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства.
Пронзая будущего мрак,
Она, бессильная, страдает
И в настоящем все не так,
Как бы хотелось ей, встречает.
Я не страшился бы суда,
Когда б уверен был веками,
Что вдохновенного труда
Мир не обидит клеветами;
Что станут верить и внимать
Повествованью горькой муки
И не осмелятся равнять
С земным небес живые звуки.
Но не достигну я ни в чем
Того, что так меня тревожит:
Все кратко на шару земном,
И вечно слава жить не может.
Пускай поэта грустный прах
Хвалою освятит потомство,
Где ж слава в кратких похвалах?
Людей известно вероломство.
Другой заставит позабыть
Своею песнию высокой
Певца, который кончил жить,
Который жил так одинокой.

* * *

Унылый колокола звон
В вечерний час мой слух невольно потрясает,
Обманутой душе моей напоминает
 И вечность и надежду он.
И если ветер, путник одинокой,
Вдруг по траве кладбища пробежит,
Он сердца моего не холодит:
 Что в нем живет, то в нем глубоко.
Я чувствую — судьба не умертвит
Во мне возросший деятельный гений;
Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,
 От истощительных страстей,
От языка ласкателей развратных
 И от желаний, непонятных
 Умам посредственных людей?
Без пищи должен яркий пламень
Погаснуть на скале сырой:
Холодный слушатель есть камень,
 Попробуй раз, попробуй и открой
Ему источники сердечного блаженства,
Он станет толковать, что должно ощутить;
В простом не видя совершенства,
Он не привык прекрасное ценить,
Как тот, кто в грудь втеснить желал бы всю природу,
Кто силится купить страданием своим
 И гордою победой над земным
Божественной души безбрежную свободу.

* * *

Хоть давно изменила мне радость,
 Как любовь, как улыбка людей,
И померкнуло прежде, чем младость,
 Светило надежды моей,
Но судьбу я и мир презираю,
 Но нельзя им унижить меня,
И я хладно приход ожидаю
 Кончины иль лучшего дня.
Словам моим верить не станут,
 Но клянуся в нелживости их:
Кто сам был так часто обманут,
 Обмануть не захочет других.
Пусть жизнь моя в бурях несется,
 Я беспечен, я знаю давно,
Пока сердце в груди моей бьется,
 Не увидит блаженства оно.
Одна лишь сырая могила
 Успокоит того, может быть,
Чья душа слишком пылко любила,
 Чтобы мог его мир полюбить.

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно.

О надеждах и муках былых вспоминать
В нас тайная склонность кипит;
Нас тревожит неверность надежды земной,
А краткость печали смешит.

Страшна в настоящем бывает душе
Грядущего темная даль;
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
Но с миром расстаться нам жаль,

Что во власти у нас, то приятнее нам,
Хоть мы ищем другого порой,
Но в час расставанья мы видим ясней,
Как оно породнилось с душой,

К***

Дай руку мне, склонись к груди поэта,
Свою судьбу соедини с моей:
Как ты, мой друг, я не рожден для света
И не умею жить среди людей;
Я не имел ни время, ни охоты
Делить их шум, их мелкие заботы,
Любовь мое все сердце заняла,
И что ж, взгляни на бледный цвет чела.

На нем ты видишь след страстей уснувших,
Так рано обуявших жизнь мою;
Не льстит мне вспоминанье дней минувших,
Я одинок над пропастью стою,
Где все мое подавлено судьбою;
Так куст растет над бездною морскою,
И лист, грозой оборванный, плывет
По произволу странствующих вод.

ИЗ АНДРЕЯ ШЕНЬЕ

За дело общее, быть может, я паду
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;
Быть может, клеветой лукавой пораженный,
Пред миром и тобой врагами униженный,
Я не снесу стыдом сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец;
Но ты не обвиняй страдальца молодого,
Молю, не говори насмешливого слова.
Ужасный жребий мой твоих достоин слез,
Я много сделал зла, но больше перенес.
Пускай виновен я пред гордыми врагами,
Пускай отмстят; в душе, клянуся небесами,
Я не злодей, о нет, судьба губитель мой;
Я грудью шел вперед, я жертвовал собой;
Наскучив суетой обманчивого света,
Торжественно не мог я не сдержать обета;
Хоть много причинил я обществу вреда,
Но верен был тебе всегда, мой друг, всегда;
В уединении, среди толпы мятежной,
Я все тебя любил и все любил так нежно.

СОСЕД

Погаснул день на вышинах небесных,
Звезда вечерняя лиет свой тихий свет;
Чем занят бедный мой сосед?
Через садик небольшой, между ветвей
древесных,

Могу заметить я, в его окне
Блестит огонь; его простая келья
Чужда забот и светского веселья,
И этим нравится он мне.
Прохожие об нем различно судят,
И все его готовы порицать,
Но их слова соседа не принудят
Лампаду ранее или позже зажигать.
И только я увижу свет лампы,
Сажусь тотчас у своего окна,
И в этот миг таинственной отрады
Душа моя мятежная полна.
И мнится мне, что мы друг друга понимаем,
Что я и бедный мой сосед,
Под бременем одним страдая, увядаем,
Что мы знакомы с давних лет,

СТАНСЫ

Не могу на родине томиться,
Прочь отсель, туда, в кровавый бой.
Там, быть может, перестанет биться
Это сердце, полное тобой.

Нет, я не прошу твоей любви,
Нет, не знай губительных страстей;
Видеть смерть мне надо, надо крови,
Чтоб залить огонь в груди моей.

Пусть паду как ратник в бранном поле.
Не оплакан светом буду я,
Никому не будет в тягость боле
Буря чувств моих и жизнь моя,

Юных лет святые обещанья
Прекратит судьба на месте том,
Где без дум, без вопля, без роптанья
Я усну давно желанным сном,

Так, но если я не позабуду
В этом сне любви печальный сон,
Если образ твой всегда повсюду
Я носить с собою осужден;

Если там в пределах отдаленных,
Где душа должна блаженство пить,
Тяжких язв, на ней напечатленных,
Невозможно будет излечить;

О, взгляни приветно в час разлуки
На того, кто с гордою душой
Не боится ни людей, ни муки,
Кто умрет за честь страны родной;

Кто, бывало, в тайном упоенье,
На тебя вперив свой влажный взгляд,
Возбуждал людское сожаленье
И твоей улыбке был так рад.

МОЙ ДЕМОН

1

Собранье зол его стихия;
Носясь меж темных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров;
Он любит пасмурные ночи,
Туманы, бледную луну,
Улыбки горькие и очи,
Безвестные слезам и сну.

2

К ничтожным, хладным толкам света
Привык прислушиваться он,
Ему смешны слова привета
И всякий верящий смешон;
Он чужд любви и сожаленья,
Живет он пищею земной,
Глощает жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.

3

Родится ли страдалец новый,
Он беспокоит дух отца,
Он тут с насмешкою суровой
И с дикой важностью лица;

Когда же кто-нибудь нисходит
В могилу с трепетной душой,
Он час последний с ним проводит,
Но не утешен им больной.

4

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

1831-го ИЮНЯ 11 ДНЯ

1

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил;
И те мгновенья были мук полны,
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями. Но сон,
Как мир, не мог быть ими омрачен.

2

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизньию иной,
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! все было ад иль небо в них.

3

Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей

Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь
Хоть тень их перелить в другую грудь.

4

Известность, слава, что они? — а есть
У них над мною власть; и мне они
Велят себе на жертву все принести,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! — неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и, живой,
Я смерти отдал все, что дар земной.

5

Но для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?

6

К погибшим люди справедливы; сын
Боготворит, что проклинал отец.
Чтоб в этом убедиться, до седин
Дожить не нужно. Есть всему конец;
Немного долголетней человек
Цветка; в сравнение с вечностью их век
Равно ничтожен. Пережить одна
Душа лишь колыбель свою должна,

7

Так и ее созданья. Иногда,
На берегу реки, один, забыт,

Я наблюдал, как быстрая вода,
Синея, гнется в волны, как шипит
Над ними пена белой полосой;
И я глядел, и мыслию иной
Я не был занят, и пустынный шум
Рассеивал толпу глубоких дум.

8

Тут был я счастлив... О, когда б я мог
Забыть, что незабвенно! женский взор!
Причину стольких слез, безумств, тревог!
Другой владеет ею с давних пор,
И я другую с нежностью люблю,
Хочу любить, — и небеса молю
О новых муках; но в груди моей
Все жив печальный призрак прежних дней.

9

Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим;
Тоска блуждает на моем челе.
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там — ей все равно.

10

Темна проходит туча в небесах,
И в ней таится пламень роковой;
Он, вырываясь, обращает в прах
Все, что ни встретит. С дивной быстротой
Блеснет, и снова в облаке укрыт;
И кто его источник объяснит,
И кто заглянет в недра облаков?
Зачем? они исчезнут без следов.

11

Грядущее тревожит грудь мою.
 Как жизнь я кончу, где душа моя
 Блуждать осуждена, в каком краю
 Любезные предметы встречу я?
 Но кто меня любил, кто голос мой
 Услышит и узнает? И с тоской
 Я вижу, что любить, как я,— порок,
 И вижу, я слабей любить не мог,

12

Не верят в мире многие любви
 И тем счастливы; для иных она
 Желанье, порожденное в крови,
 Расстройство мозга иль виденье сна.
 Я не могу любовь определить,
 Но это страсть сильнейшая! — любить
 Необходимость мне; и я любил
 Всем напряжением душевных сил.

13

И отучить не мог меня обман;
 Пустое сердце ныло без страстей,
 И в глубине моих сердечных ран
 Жила любовь, богиня юных дней;
 Так в трещине развалин иногда
 Береза вырастает молода
 И зелена, и взоры веселит,
 И украшает сумрачный гранит.

14

И о судьбе ее чужой пришлец
 Жалеет. Беззащитно предана
 Порыву бурь и зною, наконец
 Увянет преждевременно она;
 Но с корнем не исторгнет никогда
 Мою березу вихрь: она тверда;

Так лишь в разбитом сердце может страсть
Иметь неограниченную власть.

15

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты бог или злодей...

16

Как нравились всегда пустыни мне.
Люблю я ветер меж нагих холмов,
И коршуна в небесной вышине,
И на равнине тени облаков.
Ярма не знает резвый здесь табун,
И кровожадный гешится летун
Под синевой, и облако степей
Свободней как-то мчится и светлей.

17

И мысль о вечности, как великан,
Ум человека поражает вдруг,
Когда степей безбрежный океан
Синеет пред глазами; каждый звук
Гармонии вселенной, каждый час
Страданья или радости для нас
Становится понятен, и себе
Отчет мы можем дать в своей судьбе.

18

Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,

На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом всё горы чудной высоты,
Как после бури облака, стоят,
И странные верхи в лучах горят.

19

И сердце полно, полно прежних лет,
И сильно бьется; пылкая мечта
Приводит в жизнь минувшего скелет,
И в нем почти все та же красота.
Так любим мы глядеть на свой портрет,
Хоть с нами в нем уж сходства больше нет,
Хоть на холсте хранится блеск очей,
Погаснувших от время и страстей.

20

Что на земле прекрасней пирамид
Природы, этих гордых снежных гор?
Не переменит их надменный вид
Ничто: ни слава царств, ни их позор;
О ребра их дробятся темных туч
Толпы, и молний обвивает луч
Вершины скал; ничто не вредно им.
Кто близ небес, тот не сражен земным.

21

Печален степи вид, где без препон,
Волнуя лишь серебряный ковыль,
Скитается летучий аквилон
И пред собой свободно гонит пыль;
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречает взгляд березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой.

Так жизнь скучна, когда боренья нет.
 В минувшее проникнув, различить
 В ней мало дел мы можем, в цвете лет
 Она души не будет веселить.
 Мне нужно действовать, я каждый день
 Бессмертным сделать бы желал, как тень
 Великого героя, и понять
 Я не могу, что значит отдыхать,

Всегда кипит и зреет что-нибудь
 В моем уме. Желанье и тоска
 Тревожат беспрестанно эту грудь.
 Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка
 И все боюсь, что не успею я
 Свершить чего-то! жажда бытия
 Во мне сильнее страданий роковых,
 Хотя я презираю жизнь других.

Есть время — леденеет быстрый ум;
 Есть сумерки души, когда предмет
 Желаний мрачен: усыпленье дум;
 Меж радостью и горем полусвет;
 Душа сама собою стеснена,
 Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
 Находишь корень мук в себе самом,
 И небо обвинить нельзя ни в чем.

Я к состоянью этому привык,
 Но ясно выразить его б не мог
 Ни ангельский, ни демонский язык;
 Они таких не ведают тревог,
 В одном все чисто, а в другом все зло,
 Лишь в человеке встретиться могло

Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.

26

Никто не получал, чего хотел
И что любил, и если даже тот,
Кому счастливый небом дан удел,
В уме своем минувшее пройдет,
Увидит он, что мог счастливей быть,
Когда бы не умела отравить
Судьба его надежды. Но волна
Кю берегу возвратиться не сильна.

27

Когда, гонима бурей роковой,
Шипит и мчится с пеною своей,
Она все помнит тот залив родной,
Где пенилась в приютах камышей,
И, может быть, она опять придет
В другой залив, но там уж не найдет
Себе покоя: кто в морях блуждал,
Тот не заснет в тени прибрежных скал.

28

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь творец;
Но равнодушный мир не должен знать,
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне,

29

Все. Нет, не все: создание есть одно,
Способное любить — хоть не меня;

До этих пор не верит мне оно,
Однако сердце, полное огня,
Не увлечется мнением, и мое
Пророчество припомнит ум ее,
И взор, теперь веселый и живой,
Напрасной отуманится слезой.

30

Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревуших вод
И под туманным небом; пустота
Кругом. Лишь чужестранец молодой,
Невольным сожаленьем, и молвой,
И любопытством приведен сюда,
Сидеть на камне станет иногда

31

И скажет: отчего не понял свет
Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин. И печаль
Его встревожит, он посмотрит вдаль,
Увидит облака с лазурью волн,
И белый парус, и бегучий челн,

32

И мой курган! — любимые мечты
Мои подобны этим. Сладость есть
Во всем, что не сбылось, — есть красоты
В таких картинах; только перенести
Их на бумагу трудно: мысль сильна,
Когда размером слов не стеснена,
Когда свободна, как игра детей,
Как арфы звук в молчании ночей!

РОМАНС К И..

Когда я унесу в чужбину
Под небо южной стороны
Мою жестокою кручину,
Мои обманчивые сны
И люди с злобой ядовитой
Осудят жизнь мою порой,—
Ты будешь ли моей защитой
Перед бесчувственной толпой?

О, будь!.. о! вспомни нашу младость,
Злословья жертву пощади,
Клянися в том! чтоб вовсе радость
Не умерла в моей груди,
Чтоб я сказал в земле изгнания:
Есть сердце, лучших дней залог,
Где почтены мои страдания,
Где мир их очернить не мог.

К***

Всевышний произнес свой приговор,
Его ничто не переменит;
Меж нами руку мести он простер
И беспристрастно все оценит.
Он знает, и ему лишь можно знать,
Как нежно, пламенно любил я.
Как безответно все, что мог отдать,
Тебе на жертву приносил я.
Во зло употребила ты права,
Приобретенные над мною,
И, мне польстив любовью сперва,
Ты изменила — бог с тобою!
О нет! я б не решился проклянуть!
Все для меня в тебе святое:
Волшебные глаза и эта грудь,
Где бьется сердце молодое.
Я помню, сорвал я обманом раз
Цветок, хранивший яд страданья, —
С невинных уст твоих в прощальный час
Непринужденное лобзанье;
Я знал: то не любовь — и перенес;
Но отгадать не мог я тоже,
Что всех моих надежд, и мук, и слез
Веселый миг тебе дороже!
Будь счастлива несчастием моим
И, услышав, что я страдаю,
Ты не томись раскаяньем пустым.
Прости! — вот все, что я желаю...

Чем заслужил я, чтоб твоих очей
Затмился свежий блеск слезами?
Ко смеху приучать себя нужней:
Ведь жизнь смеется же над нами!

ЖЕЛАНИЕ

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! зачем я не ворон степной?..

СВ. ЕЛЕНА

Почтим приветом остров одинокой,
Где часто, в думу погружен,
На берегу о Франции далекой
Вспоминал Наполеон!
Сын моря, средь морей твоя могила!
Вот мщение за муки стольких дней!
Порочная страна не заслужила,
Чтобы великий жизнь окончил в ней.

Изгнанник мрачный, жертва вероломства
И рока прихоти слепой,
Погиб, как жил — без предков и потомства,
Хоть побежденный, но герой!
Родился он игрой судьбы случайной
И пролетел, как буря, мимо нас;
Он миру чужд был. Все в нем было тайной,
День возвышенья — и паденья час!

АТАМАН

1

Горе тебе, город Казань,
Едет толпа удальцов
Собирать невольную дань
С твоих беззаботных купцов.
 Вдоль по Волге широкой
 На лодке плывут;
 И веслами дружными плещут,
 И песни поют.

2

Горе тебе, русская земля,
Атаман между ними сидит;
Хоть его лихая семья,
Как волны, шумна — он молчит;
 И краса молодая,
 Как саван бледна,
 Перед ним стоит на коленях.
 И молвит она:

3

«Горе мне, бедной девице!
Чем виновна я пред тобой,
Ты поверил злой клеветнице;
Любим мною не был другой.

Мне жребий неволи
Судьбинушкой дан;
Не губи, не губи мою душу,
Лихой атаман».

4

«Горе девице лукавой,—
Атаман ей, нахмурясь, в ответ,—
У меня оправдается правый,
Но пощады виновному нет;
От глаз моих трудно
Проступок укрыть,
Все знаю!.. и вновь не могу я,
Девица, любить!..

5

Но лекарство чудесное есть
У меня для сердечных ран..
Прости же! — лекарство то: мечь!
На что же я здесь атаман?
И заплачу ль, как плачет
Любовник другой?..
И смягчишь ли меня ты, девица,
Своею слезой?»

6

Горе тебе, гроза-атаман,
Ты свой произнес приговор.
Средь пожаров ограбленных стран
Ты забудешь ли пламенный взор!..
Остался ль ты хладен
И тверд, как в бою,
Когда бросили в пенные волны
Красотку твою?

7

Горе тебе, удалой!
Как совесть совсем удалить?..

Отныне он чистой водой
Боится руки умыть.
Умывать он их любит
С дружиной своей
Слезами вдовиц беззащитных
И кровью детей!

ЧАША ЖИЗНИ

1

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

2

Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;

3

Тогда мы видим, что пуста
Была золотая чаша,
Что в ней напиток был — мечта
И что она — не наша!

К Л.—
(Подражание Байрону)

1

У ног других не забывал
Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней;
Так память, демон-властелин,
Все будит старину,
И я твержу один, один:
Люблю, люблю одну!

2

Принадлежишь другому ты,
Забыв певец тобой;
С тех пор влекут меня мечты
Прочь от земли родной;
Корабль умчит меня от ней
В неизвестную страну,
И повторит волна морей:
Люблю, люблю одну!

3

И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,

Как я страдал и сколько лет
 Я памятью томим;
И где бы я ни стал искать
 Былую тишину,
Все сердце будет мне шептать:
 Люблю, люблю одну!

К Н. И.....

Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила,
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем,
В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но... женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит!
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье!
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!

ВОЛЯ

Моя мать — злая кручина,
Отцом же была мне — судьбина;
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к моей груди
Прижаться;
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,
Обняться!

Но мне богом дана
Молодая жена,
Воля-волюшка,
Вольность милая,
Несравненная;
С ней нашлись другие у меня
Мать, отец и семья;
А моя мать — степь широкая,
А мой отец — небо далекое;
Они меня воспитали,
Кормили, поили, ласкали;
Мои братья в лесах —
Березы да сосны.
Несусь ли я на коне —
Степь отвечает мне;
Брожу ли поздней порой —
Небо светит мне луной;
Мои братья, в летний день,
Призывая под тень,

Машут издали руками,
Кивают мне головами;
И вольность мне гнездо свила,
Как мир — необъятное!

СЕНТЯБРЯ 28

Опять, опять я видел взор твой милый,
Я говорил с тобой.
И мне былое, взятое могилой,
Напомнил голос твой.
К чему? — другой лобзает эти очи
И руку жмет твою.
Другому голос твой во мраке ночи
Твердит: люблю! люблю!

Откройся мне: ужели непритворны
Лобзания твои?
Они правам супружества покорны,
Но не правам любви;
Он для тебя не создан; ты родилась
Для пламенных страстей.
Отдав ему себя, ты не спросилась
У совести своей.

Он чувствовал ли трепет потаенный
В присутствии твоём;
Умел ли презирать он мир презренный,
Чтоб мыслить об одном;
Встречал ли он с молчаньем и слезами
Привет холодный твой,
И лучшими ль он жертвовал годами
Мгновениям с тобой?

Нет! я уверен, твоего блаженства
Не может сделать тот,

Кто красоты наружной совершенства
Одни в тебе найдет.
Так! ты его не любишь... тайной властью
Прикована ты вновь
К душе печальной, незнакомой счастью,
Но нежной, как любовь.

* * *

Зови надежду свиденьем,
Неправду — истиной зови,
Не верь хвалам и увереньям,
Но верь, о, верь моей любви!

Такой любви нельзя не верить,
Мой взор не скроет ничего;
С тобою грех мне лицемерить,
Ты слишком ангел для того.

* * *

Прекрасны вы, поля земли родной,
Еще прекрасней ваши непогоды;
Зима сходна в ней с первою зимой,
Как с первыми людьми ее народы!..
Туман здесь одеваает неба своды!
И степь раскинулась лиловой пеленой,
И так она свежа, и так родня с душой,
Как будто создана лишь для свободы...

Но эта степь любви моей чужда;
Но этот снег летучий, серебристый
И для страны порочной слишком чистый
Не веселит мне сердца никогда.
Его одеждой хладной, неизменной
Сокрыта от очей могильная гряда
И позабытый прах, но мне, но мне бесценный.

НЕБО И ЗВЕЗДЫ

Чисто вечернее небо,
Ясны далекие звезды,
Ясны, как счастье ребенка;
О! для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое!

Чем ты несчастлив,
Скажут мне люди?
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо —
Звезды и небо! — а я человек!..

Люди друг к другу
Зависть питают;
Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.

К КН. Л. Г—ОЙ

Когда ты холодно внимаешь
Рассказам горести чужой
И недоверчиво качаешь
Своей головкой молодой,
Когда блестящие наряды
Безумно радуют тебя
Иль от ребяческой досады
Душа волнуется твоя,
Когда я вижу, вижу ясно,
Что для тебя в семнадцать лет
Все привлекательно, прекрасно,
Все — даже люди, жизнь и свет,—
Тогда, измучен воспоминаньем,
Я говорю душе своей:
Счастлив, кто мог земным желаньям
Отдать себя во цвете дней!
Но не завидуй: ты не будешь
Довольна этим, как она;
Своих надежд ты не забудешь,
Но для других не рождена;
Так! мысль великая хранилась
В тебе донине, как зерно;
С тобою в мир она родилась:
Погибнуть ей не суждено!

* * *

Кто видел Кремль в час утра золотой,
Когда лежит над городом туман,
Когда меж храмов с гордой простотой,
Как царь, белеет башня-великан?

Кто в утро зимнее, когда валит
Пушистый снег и красная заря
На степь седую с трепетом глядит,
Внимал колоколам монастыря;
В борьбе с порывным ветром этот звон
Далеко им по небу унесен,—
И путникам он нравился не раз,
Как весть кончины иль бессмертья глас.

И этот звон люблю я! Он цветок
Могильного кургана, мавзолей,
Который не изменится; ни рок,
Ни мелкие несчастья людей
Его не заглушат; всегда один,
Высокой башни мрачный властелин,
Он возвещает миру все, но сам —
Сам чужд всему, земле и небесам.

АНГЕЛ

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О боже великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

* * *

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
Не мне судить, виновен ты иль нет;
Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
и столько же насмешливых клевет
Далеко от него дух ада или рая,
Ты о земле забыл, как был забыт землей;
Ты счастливей меня, перед тобой
Как море жизни — вечность роковая
Неизмеримую открылась глубиной.
Ужели вовсе ты не сожалеешь ныне
О днях, потерянных в тревоге и слезах? О
сумрачных, но вместе милых днях,
Когда в душе искал ты, как в пустыне,

Остатки прежних чувств и прежние мечты?
Ужель теперь совсем меня не любишь ты?
О, если так, то небо не сравню
Я с этою землей, где жизнь влачу мою;
Пускай на ней блаженства я не знаю,
По крайней мере, я люблю!

* * *

Пусть я кого-нибудь люблю:
Любовь не красит жизнь мою.
Она как чумное пятно
На сердце, жжет, хотя темно;
Враждебной силою гоним,
Я тем живу, что смерть другим:
Живу — как неба властелин —
В прекрасном мире — но один.

К ДРУГУ

Забудь опять
Свои надежды;
Об них вздыхать
Судьба невежды;
Она дитя:
Не верь на слово;
Она шутя
Полюбит снова;
Все, что блестит,
Ее пленяет;
Все, что грустит,
Ее пугает;
Так облачко
По небу мчится
Светло, легко;
Оно глядится
В волнах морских
Поочередно;
Но чужд для них
Прошлец свободный;
Он образ свой
Во всех встречает,
Хоть их порой
Не замечает,

* * *

Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
Обманут жизнью был во всем,
И ненавидя и любя,

ИЗ ПАТКУЛЯ

Напрасна врагов ядовитая злоба,
Рассудят нас бог и преданья людей;
Хоть розны судьбою, мы боремся оба
За счастье и славу отчизны своей.

Пускай я погибну... близ сумрака гроба
Не ведая страха, не зная цепей.
Мой дух возлетает все выше и выше
И вьется, как дым над железною крышей!

* * *

Я не для ангелов и рая
Всесильным богом сотворен;
Но для чего живу, страдая,
Про это больше знает он.

Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой;

Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни.

* * *

Настанет день — и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни — гордый, хоть презренный —
Я кончу жизнь мою;
Виновный пред людьми, не пред тобою,
Я твердо жду тот час;
Что смерть? — лишь ты не изменись душою —
Смерть не разрознит нас.
Иная есть страна, где предрассудки
Любви не охладят,
Где не отнимет счастья из шутки,
Как здесь, у брата брат.
Когда же весть кровавая примчится
О гибели моей
И как победе станут веселиться
Толпы других людей;
Тогда... молю! — единою слезою
Почти холодный прах
Того, кто часто с скрытною тоскою
Искал в твоих очах
Блаженства юных лет и сожаленья;
Кто пред тобой открыл
Таинственную душу и мученья,
Которых жертвой был.
Но если, если над моим позором
Смеяться станешь ты
И возмутишь неправедным укором
И речью клеветы
Обиженную тень, — не жди пощады;

Как червь, к душе твоей
Я прилеплюсь, и каждый миг отрады
Несносен будет ей,
И будешь помнить прежнюю беспечность,
Не зная воскресить,
И будет жизнь тебе долга, как вечность,
А все не будешь жить.

К Д.

Будь со мною, как прежде бывала;
О, скажи мне хоть слово одно;
Чтоб душа в этом слове сыскала,
Что хотелось ей слышать давно;

Если искра надежды хранится
В моем сердце — она оживет;
Если может слеза появиться
В очах — то она упадет.

Есть слова — объяснить не могу я,
Отчего у них власть надо мной;
Их услышав, опять оживу я,
Но от них не воскреснет другой;

О, поверь мне, холодное слово
Уста оскверняет твои,
Как листки у цветка молодого
Ядовитое жало змеи!

ОТРЫВОК

Три ночи я провел без сна — в тоске,
В молитве, на коленях, — степь и небо
Мне были храмом, алтарем курган;
И если б кости, скрытые под ним,
Пробуждены могли быть человеком,
То, обожженные моей слезой,
Проникнувшей сквозь землю, мертвецы
Вскочили б, загремев одеждой бранной!
О боже! как? — одна, одна слеза
Была плодом ужасных трех ночей?
Нет, эта адская слеза, конечно,
Последняя, не то три почи б я
Ее не дожидался. Кровь собратий,
Кровь стариков, растоптанных детей
Отяготела на душе моей,
И приступила к сердцу, и насильно
Заставила его расторгнуть узы
Свои, и в мщенье обратила все,
Что в нем похоже было на любовь;
Свой замысел пускай я не свершу,
Но он велик — и этого довольно;
Мой час настал — час славы иль стыда;
Бессмертен иль забыт я навсегда.

Я вопрошал природу, и она
Меня в свои объятия приняла,
В лесу холодном в грозный час метели
Я сладость пил с ее волшебных уст,
Но для моих желаний мир был пуст,

Они себе предмета в нем не зрели;
На звезды устремлял я часто взор
И на луну, небес ночных убор,
Но чувствовал, что не для них родился;
Я небо не любил, хотя дивился
Пространству без начала и конца,
Завидуя судьбе его творца;
Но, потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу;
И утонул деятельным умом
В единой мысли, может быть, напрасной
И бесполезной для страны родной;
Но, как надежда, чистой и прекрасной,
Как вольность, сильной и святой.

БАЛЛАДА

В избушке позднею порою
Славянка юная сидит.
Вдали багровой полосой
На небе зарево горит...
И, люльку детскую качая,
Поет славянка молодая...

«Не плачь, не плачь! иль сердцем чуешь,
Дитя, ты близкую беду!..
О, полно, рано ты тоскуешь:
Я от тебя не отойду.
Скорее мужа я утрачу.
Дитя, не плачь! и я заплачу!

Отец твой стал за честь и бога
В ряду бойцов против татар,
Кровавый след ему дорога,
Его булат блестит, как жар.
Взгляни, там зарево краснеет:
То битва семя смерти сеет.

Как рада я, что ты не в силах
Понять опасности своей,
Не плачут дети на могилах;
Им чужд и стыд и страх цепей;
Их жребий зависти достоин...»
Вдруг шум — и в двери входит воин.

Брада в крови, избиты латы.
«Свершилось! — восклицает он, —

Свершилось! торжествуй, проклятый!..
Наш милый край порабощен,
Татар мечи не удержали —
Орда взяла, и наши пали».

И он упал — и умирает
Кровавой смертью бойца.
Жена ребенка поднимает
Над бледной головой отца:
«Смотри, как умирают люди,
И мстить учись у женской груди!..»

* * *

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Все жив, хотя бессилен он;
Другим предавшись мечтам,
Я все забыть его не мог;
Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!

СТАНСЫ

Мгновенно пробежав умом
Всю цепь того, что прежде было, —
Я не жалею о былом:
Оно меня не усладило.

Как настоящее, оно
Страстями бурными обливо
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в степи забытый.

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

Как метеор в вечерней мгле,
Она очам моим блеснула
И, бывши все мне на земле,
Как все земное, обманула.

Люблю я цепи синих гор,
Когда, как южный метеор,
Ярка без света и красна
Всплывает из-за них луна,
Царица лучших дум певца
И лучший перл того венца,
Которым свод небес порой
Гордится, будто царь земной.
На западе вечерний луч
Еще горит на ребрах туч,
И уступить все медлит он
Луне — угрюмый небосклон;
Но скоро гаснет луч зари...
Высоко месяц. Две иль три
Младые тучки окружают
Его сейчас... вот весь наряд,
Которым белое чело
Ему убрать позволено.
Кто не знавал таких ночей
В ущельях гор иль средь степей?
Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне
В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один;
Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал;
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,

Отбрасываем был землей;
И я в чудесном забытьи
Движенья сковывал свои,
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить;
И долго так мой конь летел...
И вокруг себя я поглядел:
Все та же степь, все та ж луна:
Свой взор ко мне склонив, она,
Казалось, упрекала в том,
Что человек с своим конем
Хотел владычество степей
В ту ночь оспаривать у ней!

ПРОЩАНИЕ

Не уезжай, лезгинец молодой;
Зачем спешить на родину свою?
Твой конь устал, в горах туман сырой;
А здесь тебе и кровля и покой —
И я тебя люблю!..

Ужели унесла заря одна
Воспоминанье райских двух ночей;
Нет у меня подарков: я бедна,
Но мне душа создателем дана
Подобная твоей.

В ненастный день заехал ты сюда;
Под мокрой буркой, с горестным лицом;
Ужели для меня сей день, когда
Так ярко солнце, хочешь навсегда
Ты мрачным сделать днем;

Взгляни: вокруг синеют цепи гор,
Как великаны, грозною толпой;
Лучи зари с кустами — их убор;
Мы вольны и добры; зачем твой взор
Летит к стране другой?

Поверь, отчизна там, где любят нас;
Тебя не встретит среди родных долин,
Ты сам сказал, улыбка милых глаз:
Побудь еще со мной хоть день, хоть час,
Послушай! час один!

— Нет у меня отчизны и друзей,
Кроме булатной пашки и коня;
Я счастлив был любовью твоей,
Но все-таки слезам твоих очей
 Не удержать меня.

Кровавой клятвой душу я свою
Отяготив, блуждаю много лет:
Покуда кровь врага я не пролью,
Уста не скажут никому: люблю.
 Прости: вот мой ответ.

* * *

Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело, как камень,
Но все под ним змея,

Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастье нет.

Молю о счастье, бывало,
Дождался наконец,
И тягостно мне счастье стало,
Как для царя венец.

И, все мечты отвергнув снова,
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.

К*

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильнеей.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд! — прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга

Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил,—
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не зная коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала — я тебя не знал!

<В АЛЬБОМ Н. Ф. ИВАНОВОЙ>

Что может краткое свиданье
Мне в утешенье принести,
Час неизбежный расставанья
Настал, и я сказал: прости,

И стих безумный, стих прощальный
В альбом твой бросил для тебя,
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.

<В АЛЬБОМ Д. Ф. ИВАНОВОЙ>

Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет,

❖ ❖ ❖

Как луч зари, как розы Леля,
Прекрасен цвет ее ланит;
Как у мадонны Рафаэля
Ее молчанье говорит.
С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна,
Нарочно, мнилось, она
Была для счастья создана.
Но свет чего не уничтожит?
Что благородное снесет,
Какую душу не сожмет,
Чье самолюбье не умножит?
И чьих не обольстит очей
Нарядной маскою своей?

Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..

✽

Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и, в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу все темно, возвещали прохожему утро. И розовый цвет их подобился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину, купаясь, в таком уж смущенье, что белой одежды накинуть на грудь не успеют.

Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры как стражи ночей отвечают!.. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываясь пеной, бежит безыменная речка, и выстрел неожиданный, и страх после выстрела: враг ли коварный иль просто охотник... все, все в этом крае прекрасно.

[Воздух там чист, как молитва ребенка; и люди, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит. В дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и девы, и чистят оружье, и шьют серебром — в тишине увядая душу — желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой.]

РОМАНС

Стояла серая скала на берегу морском;
Однажды на чело ее слетел небесный гром,
И раздвоил ее удар,— и новою тропой
Между разрозненных камней течет поток седой.
Вновь двум утесам не сойтись,— но все они хранят
Союза прежнего следы, глубоких трещин ряд.
Так мы с тобой разлучены злословием людским,
Но для тебя я никогда не сделаюсь чужим.
И мы не встретимся опять, и если пред тобой
Меня случайно назовут, ты спросишь: кто такой?
И, проклиная жизнь мою, на память приведешь
Былое... и одну себя невольно проклянешь.
И не изгладишь ты никак из памяти своей
Не только чувств и слов моих — минуты прежних
дней!

ПРЕЛЕСТНИЦЕ

Пускай ханжа глядит с презрением
На незаконный наш союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз,
Но перед идолами света
Не гну колена я мои,
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.
Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не чту владыкой никого,
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего;
Живу без цели, беззаботно,
Для счастья глух, для горя нем,
И людям руки жму охотно,
Хоть презираю их меж тем!..
Мы смехом брань их уничтожим,
Нас клеветы не разлучат;
Мы будем счастливы как можем,
Они пусть будут как хотят!

ЭПИТАФИЯ

Прости! Увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного,
Как знать! итак, прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведаль..
Но понимаем был одним.
И тот один, когда, рыдая,
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой.
И все, не ведая причины,
Винили дерзостно его,
Как будто миг твоей кончины
Был мигом счастья для него.
Но что ему их восклицанья?
Безумцы! не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья.

* * *

Измученный тоскою и недугом
И угасая в полном цвете лет,
Проститься я с тобой желал как с другом,
Но хладен был прощальный твой привет;
Но ты не веришь мне, ты притворилась,
Что в шутку приняла слова мои;
Моим слезам смеяться ты решилась,
Чтоб с сожаленьем не явить любви;
Скажи мне, для чего такое мщенье?
Я виноват, другую мог хвалить,
Но разве я не требовал прощенья
У ног твоих? но разве я любить
Тебя переставал, когда, толпою
Безумцев молодых окружена,
Горда одной своею красотою,
Ты привлекала взоры их одна?
Я издали смотрел, почти желая,
Чтоб для других очей твой блеск исчез;
Ты для меня была как счастье рая
Для Демона, изгнанника небес.

* * *

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русской душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит,
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мой расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

РОМАНС

1

Ты идешь на поле битвы,
Но услышь мои молитвы,
 Вспомни обо мне.
Если друг тебя обманет,
Если сердце жить устанет
И душа твоя увянет, —
 В дальней стороне
 Вспомни обо мне,

2

Если кто тебе укажет
На могилу и расскажет
 При ночном огне
О девице обольщенной,
Позабытой и презренной,
О, тогда мой друг бесценный,
 Ты в чужой стране
 Вспомни обо мне,

3

Время прежнее, быть может,
Посетит тебя, встревожит
 В мрачном, тяжком сне;
Ты услышишь плач разлуки,

Песнь любви и вопли муки
Иль подобные им звуки...
О, хотя во сне
Вспомни обо мне!

СОНЕТ

Я памятью живу с увядшими мечтами,
Виденья прежних лет толпятся предо мной,
И образ твой меж них, как месяц в час ночной
Между бродящими блистает облаками.

Мне тягостно твое владычество порой;
Твоей улыбкою, волшебными глазами
Порабощен мой дух и скован, как цепями,
Что ж пользы для меня,— я не любим тобой.

Я знаю, ты любовь мою не презираешь;
Но холодно ее молениям внимаешь;
Так мраморный кумир на берегу морском

Стоит,— у ног его волна кипит, клокочет,
А он, бесчувственным исполнен божеством,
Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет,

К*

Мы случайно сведены судьбою,
Мы себя нашли один в другом,
И душа сдружилася с душою;
Хоть пути не кончить им вдвоем!

Так поток весенний отражает
Свод небес далекий голубой,
И в волне спокойной он сияет
И трепещет с бурною волной.

Будь, о, будь моими небесами,
Будь товарищ грозных бурь моих;
Пусть тогда гремят они меж нами,
Я рожден, чтобы не жить без них.

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей,
Но с тобой, мой луч-путеводитель,
Что хвала иль гордый смех людей!

Души их певца не постигали,
Не могли души его любить,
Не могли понять его печали,
Не могли восторгов разделить.

* * *

Поцелуями прежде считал
Я счастливую жизнь свою,
Но теперь я от счастья устал,
Но теперь никого не люблю.

И слезами когда-то считал
Я мятежную жизнь мою,
Но тогда я любил и желал —
А теперь никого не люблю!

И я счет своих лет потерял
И крылья забвенья ловлю:
Как я сердце унести бы им дал!
Как бы вечность им бросил мою!

К*

Оставь напрасные заботы,
Не обнажай минувших дней;
В них не откроешь ничего ты,
За что б меня любить сильней!
Ты любишь — верю — и довольно;
Кого — ты ведать не должна;
Тебе открыт мне было б больно,
Как жизнь моя пуста, черна.
Не погублю святое счастье
Такой души и не скажу,
Что недостоин я участия,
Что сам ничем не дорожу;
Что все, чем сердце дорожило,
Теперь для сердца стало яд,
Что для него страданье мило,
Как спутник, собственность иль брат,
Промолвив ласковое слово,
В награду требуй жизнь мою;
Но, друг мой, не проси былого,
Я мук своих не продаю.

* * *

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет,

* * *

Смело верь тому, что вечно,
Безначально, бесконечно,
Что прошло и что настанет,
Обмануло иль обманет.

Если сердце молодое
Встретит пылкое другое,
При разлуке, при свиданье
Закажи ему молчанье.

Все на свете редко стало —
Есть надежды — счастья мало;
Не забвение разлука:
То — блаженство, это — мука.

Если счастьем дорожил ты,
То зачем его делил ты?
Для чего не жил в пустыне?
Иль об этом вспомнил ныне?

* * *

Приветствую тебя, воинственных славян
Святая колыбель! Пришлец из чуждых стран,
С восторгом я взирал на сумрачные стены,
Через которые столетий перемены
Безвредно протекли; где вольности одной
Служил тот колокол на башне вечевой,
Который отзвонил ее уничтоженью
И сколько гордых душ увлек в свое паденье!..
— Скажи мне, Новгород, ужель их больше нет?
Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?

.

ЖЕЛАНЬЕ

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю поля
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок дощатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море,
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая
В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал...

ДВА ВЕЛИКАНА

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ,
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец, —
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

К*

1

Прости! — мы не встретимся боле,
Друг другу руки не пожмем;
Прости! — твое сердце на воле...
Но счастья не сыщет в другом.
Я знаю: с порывом страданья
Опять затрепещет оно,
Когда ты услышишь названье
Того, кто погиб так давно!

2

Есть звуки — значенье ничтожно
И презрено гордой толпой —
Но их позабыть невозможно:
Как жизнь, они слиты с душой;
Как в гробе, за́рыто бывшее
На дне этих звуков святых;
И в мире поймут их лишь двое,
И двое лишь вздрогнут от них!

3

Мгновение вместе мы были,
Но вечность — ничто перед ним;
Все чувства мы вдруг истощили,
Сожгли поцелуем одним;

Прости! — не жалея безрассудно,
 О краткой любви не жалея:
Расстаться казалось нам трудно,
 Но встретиться было б трудней!

* * *

Безумец я! вы правы, правы!
Смешно бессмертье на земли.
Как смел желать я громкой славы,
Когда вы счастливы в пыли?
Как мог я цепь предубеждений
Умом свободным потрясать
И пламень тайных угрызений
За жар поэзии принять?
Нет, не похож я на *поэта!*
Я обманулся, вижу сам;
Пускай, как он, я чужд для света,
Но чужд зато и небесам!
Мои слова печальны: знаю;
Но смысла их вам не понять.
Я их от сердца отрываю,
Чтоб муки с ними оторвать!
Нет... мне ли властвовать умами,
Всю жизнь на то употребя?
Пускай возвышусь я над вами,
Но удалюсь ли от себя?
И позабуду ль самовластно
Мою погибшую любовь,
Все то, чему я верил страстно,
Чему не смею верить вновь?

* * *

Она не гордой красотою,
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан ее не стан богини,
И грудь волною не встает,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает.
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.

* * *

Примите дивное *посланье*
Из края дальнего сего;
Оно не *Павлово* писанье —
Но Павел вам отдаст его.
Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот
Как шиш торчит перед тобой;
Нет милых сплетен — все сурово,
Закон сидит на лбу людей;
Все удивительно и ново —
А нет не пощлых новостей!
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..

И, наконец, я видел море,
Но кто поэта обманул?..
Я в роковом его просторе
Великих дум не почерпнул;
Нет! как оно, я не был волен:
Болезнью жизни, скукой болен
(Назло былым и новым дням),
Я не завидовал, как прежде,
Его серебряной одежде,
Его бунтующим волнам,

ЧЕЛНОК

По произволу дивной власти
Я выкинут из царства страсти;
Как после бури на песок
Волной расшибенный челнок;
Пускай прилив его ласкает, —
В обман не вдастся инвалид;
Свое бессилие он знает
И притворяется, что спит;
Никто ему не вверит боле
Себя иль ноши дорогой;
Он не годится — и на воле!
Погиб — и дан ему покой!

* * *

Для чего я нѣ родился
Этой синей волной?
Как бы шумно я катился
Под серебряной луной,
О, как страстно я лобзал бы
Золотистый мой песок,
Как надменно презирал бы
Недоверчивый челнок;
Все, чем так гордятся люди,
Мой набег бы разрушал;
И к моей студеной груди
Я б страдальцев прижимал;
Не страшился б муки ада,
Раем не был бы прельщен;
Беспокойство и прохлада
Были б вечный мой закон;
Не искал бы я забвенья
В дальном северном краю;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою!

* * *

Что толку жить!.. Без приключений
И с приключеньями — тоска
Везде, как беспокойный гений,
Как верная жена, близка;
Прекрасно с шумной быть толпою,
Сидеть за каменной стеною,
Любовь и ненависть сознать,
Чтоб раз об этом поболтать;
Невольно узнавать повсюду
Под гордой важностью лица —
В мужчине глупого льстеца
И в каждой женщине — Иуду.
А потрудитесь рассмотреть —
Все веселее умереть.

Конец! Как звучно это слово,
Как много — мало мыслей в нем;
Последний стон — и все готово,
Без дальних справок. А потом?
Потом вас чинно в гроб положат,
И черви ваш скелет обгложут,
А там наследник в добрый час
Придавит монументом вас,
Простит вам каждую обиду
По доброте души своей,
Для пользы вашей (и церквей)
Отслужит, верно, панихиду,
Которой (я боюсь сказать)
Не суждено вам услышать.

И если вы скончались в вере,
Как христианин, то гранит
На сорок лет, по крайней мере,
Название ваше сохранит;
Когда ж стеснится уж кладбище,
То ваше узкое жилище
Разруют смелою рукой...
И гроб поставят к вам другой.
И молча ляжет с вами рядом
Девушка нежная, одна,
Мила, покорна, хоть бледна...
Но ни дыханием, ни взглядом
Не возмутится ваш покой —
Что за блаженство, боже мой!

ПАРУС

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы, — он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

БАЛЛАДА

Куда так проворно, жидовка молодая?
Час утра, ты знаешь, далек...
Потише — распалась цепочка золотая,
И скоро спадет башмачок.

Вот мост! вот чугунные влево перилы
Блестят от огня фонарей;
Держись за них крепче, — устала, нет силы!..
Вот дом — и звонок у дверей,

Безмолвно жидовка у двери стояла,
Как мраморный идол бледна;
Потом, за снурок потянув, постучала...
И кто-то взглянул из окна!..

И страхом и тайной надеждой пылая,
Еврейка глаза подняла,
Конечно, ужасней минута такая
Столетий печали была.

Она говорила: «Мой ангел прекрасный!
Взгляни еще раз на меня...
Избавь свою Сару от пытки напрасной,
Избавь от ножа и огня...

Отец мой сказал, что закон Моисея
Любить запрещает тебя.
Мой друг, я внимала отцу не бледнея,
Затем, что внимала любя...

И мне обещал он страдания, мученья,
И нож наточил роковой,
И вышел... Мой друг, берегись его мщенья,—
Он будет как тень за тобой.

Отцовского мщенья ужасны удары,
Беги же отсюда скорей!
Тебе не изменят уста твоей Сары
Под холодной рукой палачей.

Беги!..» Но на лик, из окна наклоненный,
Блеснул неожиданный свет,
И что-то сверкнуло в руке обнаженной,
И мрачен глухой был ответ.

И тяжкое что-то на камни упало,
И стон раздался под стеной,—
В нем все улетающей жизнью дышало,
И больше, чем жизнью одной!

Поутру, толпяся, народ изумленный
Кричал и шептал об одном:
Там в доме был русский, кинжалом пронзенный,
И женщины труп под окном.

ТРОСТНИК

Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались тростники.
Сухой тростник он срезал
И скважины проткнул,
Один конец зажал он,
В другой конец подул.

И, будто оживленный,
Тростник заговорил —
То голос человека
И голос ветра был.
И пел тростник печально:
«Оставь, оставь меня!
Рыбак, рыбак прекрасный,
Терзает ты меня!

И я была девицей,
Красавица была,
У мачехи в темнице
Я некогда цвела,
И много слез горючих
Невинно я лила;
И раннюю могилу
Безбожно я звала.

И был сынок любимец
У мачехи моей,

Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
И раз пошли под вечер
Мы на берег крутой
Смотреть на сини волны,
На запад золотой.

Моей любви просил он,—
Любить я не могла,
И деньги мне дарил он,—
Я денег не брала;
Несчастную сгубил он,
Ударив в грудь ножом,
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом;

И над моей могилой
Взошел тростник большой,
И в нем живут печали
Души моей младой.
Рыбак, рыбак прекрасный,
Оставь же свой тростник.
Ты мне помочь не в силах,
А плакать не привык».

* * *

Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных! — но безумный
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной;
И мир не пощадил — и бог не спас!
Так сочный плод, до времени созрелый,
Между цветов висит осиротелый,
Ни вкуса он не радует, ни глаз;
И час их красоты — его паденья час!

И жадный червь его грызет, грызет,
И между тем как нежные подруги
Колеблются на ветках — ранний плод
Лишь тяготит свою... до первой вьюги!
Ужасно стариком быть без седины;
Он равных не находит; за толпою
Идет, хоть с ней не делится душою;
Он меж людьми ни раб, ни властелин,
И все, что чувствует, он чувствует один!

РУСАЛКА

1

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

2

И шумя и крутясь, колебала река
Отраженные в ней облака;
И пела русалка — и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.

3

И пела русалка: «На дне у меня
Играет мерцание дня;
Там рыбок золотые гуляют стада;
Там хрустальные есть города»;

4

И там на подушке из ярких песков
Под тенью густых тростников
Спит витязь, добыча ревнивой волны,
Спит витязь чужой стороны.

5

Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело и в уста мы в полуденный час
Целовали красавца не раз.

6

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем.
Остается он хладен и нем;
Он спит — и, склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне!..»

7

Так пела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской;
И, шумно катясь, колебала река
Отраженные в ней облака.

ГУСАР

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан;
Но знай — покой души не вечен,
И счастье на земле — туман!

Крутя лениво ус зазорный,
Ты вспоминаешь стук пиров;
Но берегися думы черной,—
Она черней твоих усов.

Пускай судьба тебя голубит,
И страсть безумная смешит;
Но и тебя никто не любит,
Никто тобой не дорожит.

Когда ты, ментиком блистая,
Торопишь серого коня,
Не мыслит дева молодая:
«Он здесь проехал для меня».

Когда ты вихрем на сраженье
Летишь, бесчувственный герой,—
Ничье, ничье благословенье
Не улетает за тобой.

Гусар! ужель душа не слышит
В тебе желанья любви?
Скажи мне, где твой ангел дышит?
Где очи милые твои?

Молчишь — и ум твой безнадежней,
Когда полнее твой бокал!
Увы — зачем от жизни прежней
Ты разом сердце оторвал!..

Ты не всегда был тем, что ныне,
Ты жил, ты слишком много жил,
И лишь с последнею святыней
Ты пламень сердца схоронил.

1833

* * *

На серебряные шпоры
Я в раздумии гляжу;
За тебя, скакун мой скорый,
За бока твои дрожу.

Наши предки их не знали
И, гарцуя средь степей,
Толстой плеткой погоняли
Недоезженных коней.

Но с успехом просвещенья,
Вместо грубой старины,
Введены изобретенья
Чужеземной стороны;

В наше время кормят, холют,
Берегут спинную честь...
Прежде били — нынче колют!..
Что же выгодней? — бог весть!..

ЮНКЕРСКАЯ МОЛИТВА

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
Пускай в манеже
Алехин глас
Как можно реже
Тревожит нас.
Еще моленье
Прошу принять —
В то воскресенье
Дай разрешенье
Мне опоздать.
Я, царь всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем.

* * *

В рядах стояли безмолвной толпой,
Когда хоронили мы друга;
Лишь поп полковой бормотал — и порой
Ревела осенняя вьюга.
Кругом кивера над могилой святой
Недвижны в тумане сверкали,
Уланская шапка да меч боевой
На гробе дощатом лежали.
И билось сердце в груди не одно,
И в землю все очи смотрели,
Как будто бы все, что уж ей отдано,
Они у ней вырвать хотели.
Напрасные слезы из глаз не текли:
Тоска наши души сжимала,
И горсть роковая прощальной земли,
Упавши на гроб, застучала.
Прощай, наш товарищ, недолго ты жил,
Певец с голубыми очами;
Лишь крест деревянный себе заслужил
Да вечную память меж нами!

1834—1835

* * *

Когда, надежде недоступный,
Не смея плакать и любить,
Пороки юности преступной
Я мнил страданьем искупить;
Когда бывшее ежечасно
Очам являлося моим
И все, что свято и прекрасно,
Отозвалось мне чужим,—
Тогда молитвой безрассудной
Я долго богу докучал
И вдруг услышал голос чудный.
«Чего ты просишь? — он вещал,—
Ты жить устал? но я ль виновен;
Смири страстей своих порыв,
Будь, как другие, хладнокровен,
Будь, как другие, терпелив.
Твое блаженство было ложно;
Ужель мечты тебе так жаль?
Глупец! Где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся вдаль;
Пойдешь ли ты через пустыню
Иль город пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй.
[Когда тебя во имя бога
Кто пригласит на пир простой,
Страшися мирного порога
Коснуться грешною ногой;
Смотреть привычки равнодушно...»]

УМИРАЮЩИЙ ГЛАДИАТОР

I see before me the gladiator lie...
*Byron*¹

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
 Рукоплесканьями широкая арена:
 А он — пронзенный в грудь, — безмолвно он лежит,
 Во прахе и крови скользят его колена...
 И молит жалости напрасно мутный взор:
 Надменный временщик и льстец его сенатор
 Венчают похвалой победу и позор...
 Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
 Он презрен и забыт... освищенный актер.

И кровь его течет — последние мгновенья
 Мелькают, — близок час... Вот луч воображенья
 Сверкнул в его душе... Пред ним шумит Дунай...
 И родина цветет... свободный жизни край;
 Он видит круг семьи, оставленный для брани,
 Отца, простершего немеющие длани,
 Зовущего к себе опору дряхлых дней...
 Детей играющих — возлюбленных детей,
 Все ждут его назад с добычею и славой...
 Напрасно — жалкий раб, — он пал, как зверь лесной,
 Бесчувственной толпы минутною забавой...
 Прости, развратный Рим, — прости, о край родной...

Не так ли ты, о европейский мир,
 Когда-то пламенных мечтателей кумир,

¹ Я вижу пред собой лежащего гладиатора... *Байрон (англ.)*.

К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!

И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещения,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл:
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья —
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

(Из Байрона).

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая,
И если не навек надежды рок унес,
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются.

Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец.
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки,
Страданиями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

В АЛЬБОМ
(Из Байрона)

Как одинокая гробница
Вниманье путника зовет,
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет.

И если после многих лет
Прочтешь ты, как мечтал поэт,
И вспомнишь, как тебя любил он,
То думай, что его уж нет,
Что сердце здесь похоронил он.

* * *

Великий муж! здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды
И не найдут среди-людей,

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услышав твое названье,
Твой сын душою закипит,

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «Он любил отчизну!»

СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб Поэт! — невольник чести —
 Пал, оклеветанный молвой,
 С свинцом в груди и жаждой мести,
 Поникнув гордой головой!..
 Не вынесла душа Поэта
 Позора мелочных обид,
 Восстал он против мнений света
 Один, как прежде... и убит!
 Убит!.. к чему теперь рыдания,
 Пустых похвал ненужный хор
 И жалкий лепет оправданья?
 Судьбы свершился приговор!
 Не вы ль сперва так злобно гнали
 Его свободный, смелый дар
 И для потехи раздували
 Чуть затаившийся пожар?
 Что ж? веселитесь... он мучений
 Последних вынести не мог:
 Угас, как светоч, дивный гений,
 Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
 Навел удар... спасенья нет:
 Пустое сердце бьется ровно,
 В руке не дрогнул пистолет,
 И что за диво?... издалика,
 Подобный сотням беглецов,
 На ловлю счастья и чинов
 Заброшен к нам по воле рока;

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог падать он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча, ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд,
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрую счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью!
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смосте всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

БОРОДИНО

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке,
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добаться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,

И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут,

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведаль враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветер в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампы,
Кивот и крест, символ святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой,

УЗНИК

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустил.

Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампы
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

СОСЕД

Кто б ни был ты, печальный мой сосед,
Люблю тебя, как друга юных лет,
Тебя, товарищ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навеки мы разлучены с тобой
Стеной теперь — а после тайной.

Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
Мне, умирая, посылает
И, опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпает,—

Тогда, чело склонив к сырой стене,
Я слушаю — и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они — не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...

И лучших лет надежды и любовь —
В груди моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит — и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.

* * *

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером или утра в час златой.
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

МОЛИТВА

Я, мать божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

* * *

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою,

И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!

* * *

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..

Им сердце в чувствах даст отчет,
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет тот,
Кто изобрел мои мученья;

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;

Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не вверит думы...

* * *

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
 С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастья, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
 И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
 И я погибну без следа
 Моих надежд, моих мучений.
Но я без страха жду довременный конец.
 Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:
 Венец певца, венец терновый!..
 Пускай! я им не дорожил.

* * *

Спеша на север из далека,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон,

Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердца тихого моление
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твоё владенье,
К престолу вечному аллы.

Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.

Но есть ещё одно желанье!
Боюсь сказать! — душа дрожит!
Что, если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятия?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

О, если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

<ЭПИГРАММА НА Ф. БУЛГАРИНА, I>

Россию продает Фадей
Не в первый раз, как вам известно,
Пожалуй, он продаст жену, детей,
И мир земной, и рай небесный,
Он совесть продал бы за сходную цену,
Да жаль, заложена в казну.

<ЭПИГРАММА НА Ф. БУЛГАРИНА, II>

**Россию продает Фадей
И уж не в первый раз, злодей.**

1838

КИНЖАЛ

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

* * *

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать — что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей,

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока.
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

* * *

Она поет — и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах;
Идет ли — все ее движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

* * *

Как небеса, твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй, звучит и тает
Твой голос молодой;

За звук один волшебной речи,
За твой единый взгляд,
Я рад отдать красавца сечи,
Грузинский мой булат;

И он порою сладко блещет
И сладостней звучит,
При звуке том душа трепещет
И в сердце кровь кипит.

Но жизнью бранной и мятежной
Не тешусь я с тех пор,
Как услышал твой голос нежный
И встретил милый взор.

* * *

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке,
Сердце запрыгает;

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,

И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА

П и л и г р и м

Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим;
Иль дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звездам, кочующим с востока?
Вот свет все небо озарил:
То не пожар ли Царяграда?
Иль бог ко сводам пригвоздил
Тебя, полночная лампада,
Маяк спасительный, отрада
Плывущих по морю светил?

М и р з а

Там был я, там, со дня созданья,
Бушует вечная метель;
Потоков видел колыбель,
Дохнул, и мерзнул пар дыханья.
Я проложил мой смелый след,
Где для орлов дороги нет,
И дремлет гром над глубиною,
И там, где над моей чалмою
Одна сверкала лишь звезда,
То Чатырдаг был...

П и л и г р и м

А!..

<А. Г. ХОМУТОВОЙ>

Слепец, страданьем вдохновенный,
Вам строки чудные писал,
И прежних лет восторг священный,
Воспоминаньем оживленный,
Он перед вами изливал.
Он вас не зрел, но ваши речи,
Как отголосок юных дней,
При первом звуке новой встречи
Его встревожили сильней.
Тогда признательную руку
В ответ на ваш приветный взор,
Навстречу радостному звуку
Он в упоении простер.

И я, поверенный случайный
Надежд и дум его живых,
Я буду дорожить, как тайной,
Печальным выраженьем их.
Я верю, годы не убили,
Изгладить даже не могли
Все, что вы прежде возбудили
В его возвышенной груди.
Но да сойдет благословенье
На вашу жизнь, за то, что вы
Хоть на единое мгновение
Умели снять венец мученья
С его преклонной головы.

ДУМА

Печальцо я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
 В бездействии состарится оно.
 Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
 Как пир на празднике чужом.
 К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью — презренные рабы.
 Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего ни радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
 Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
 Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
 Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —

Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
 Когда огонь кипит в крови

И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат,
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
 Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovитой,
 Ни гением начатого труда.

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
 Над промотавшимся отцом.

ПОЭТ

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу,

Забавы он делил послушнее рзба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножен, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.

Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать,
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

1839

* * *

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин,
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен
И в правде тверд, как божий херувим.
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум;
Пускай глядит он без упрека
На ложный блеск и ложный мира шум;
Пускай не ищет он причины
Чужим страстям и радостям своим,
И выйдет он из светской тины
Душою бел и сердцем невредим!

НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

*A. Barbier*¹

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.
В нем признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истоци,
Разлей отравленный напиток!

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Отрыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, —
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

Закрадется ль печаль в тайник души твоей,
Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой, —

¹ Какое нам, в конце концов, дело до грубого крика всех этих горлающих шарлатанов, торговцев пафосом, мастеров напыщенности и всех плясунов, танцующих на фразе? *О. Барбье (франц.)*.

Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной,
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что нам знать твои волнения,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор
С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным...

ТРИ ПАЛЬМЫ
(Восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»

И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копьё на скаку.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потём разнесло.

И ныне все дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдом,
Добычу терзает и щиплет над ним.

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

ДАРЫ ТЕРЕКА

Терек воеет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит:

«Расступись, о старец море,
Дай приют моей волне!
Погулял я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне.
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов им, на славу,
Стадо целое пригнал».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, будто спит,
И опять, ласкаясь, Терек
Старцу на ухо журчит:

«Я привез тебе гостинец!
То гостинец не простой:

С поля битвы кабардинец,
Кабардинец удалой.
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных:
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови,
И усов его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною космой».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий дремлет и молчит;
И, волнуясь, буйный Терек
Старцу снова говорит:

«Слушай, дядя: дар бесценный!
Что другие все дары?
Но его от всей вселенной
Я таил до сей поры.
Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.
По красоте молодежи
Не тоскует пад рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою».

Замолчал поток сердитый,
И над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный,—
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

ПАМЯТИ А. И. ОДОЕВСКОГО

1

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

2

Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... Но, безумный —
Из детских ран вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

3

Но он погиб далеко от друзей...
 Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
 Покрытое землей чужих полей,
 Пусть тихо спит оно, как дружба наша
 В немом кладбище памяти моей!
 Ты умер, как и многие, без шума,
 Но с твердостью. Таинственная дума
 Еще блуждала на челе твоём,
 Когда глаза закрылись вечным сном;
 И то, что ты сказал перед кончиной,
 Из слушавших тебя не понял ни единый...

4

И было ль то привет стране родной,
 Название ли оставленного друга,
 Или тоска по жизни молодой,
 Иль просто крик последнего недуга,
 Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
 Глубокое и горькое значенье
 Потеряно... Дела твои, и мненья,
 И думы — все исчезло без следов,
 Как легкий пар вечерних облаков:
 Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
 Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит...

5

И после их на небе нет следа,
 Как от любви ребенка безнадежной,
 Как от мечты, которой никогда
 Он не вверял заботам дружбы нежной...
 Что за нужда?.. Пускай забудет свет
 Столь чуждое ему существованье:
 Зачем тебе венцы его вниманья
 И терния пустых его клевет?
 Ты не служил ему. Ты с юных лет
 Коварные его отвергнул цепи:
 Любил ты моря шум, молчанье синей степи —

И мрачных гор зубчатые хребты...
И вокруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синее, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

* * *

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слёзы разлуки,
В них трепег свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

* * *

На буйном пиршестве задумчив он сидел
Один, покинутый безумными друзьями.
И в даль грядущую, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел. .

И помню я, исполнены печали
Средь звона чаш, и криков, и речей,
И песен праздничных, и хохота гостей
Его слова пророчески звучали.

[Он говорил: «Ликуйте, о друзья!
Что вам судьбы дряхлеющего мира?..
Над вашей головой колеблется секира,
Но что ж!.. из вас один ее увижу я».]

. , '

<Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ>

Графиня Эмилия —
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах ее светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

* * *

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
 Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
 При шуме музыки и пляски,
 При диком шепоте затверженных речей,
 Мелькают образы бездушные людей,
 Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
 С пегрежной смелостью красавиц городских
 Давно бестрепетные руки,—
 Наружно погружась в их блеск и суету,
 Ласкаю я в душе старинную мечту,
 Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
 Забыться,— памятью к недавней старине
 Лечу я вольной, вольной птицей;
 И вижу я себя ребенком, и кругом
 Родные всё места: высокий барский дом
 И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
 А за прудом село дымится — и встают
 Вдали туманы над полями.
 В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
 Глядит вечерний луч, и желтые листья
 Шумят под робками шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою;
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
 Люблю мечты моей создание
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
 За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всеильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
 И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
 Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
 На праздник незванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
 Облитый горечью и злостью!..

И СКУЧНО И ГРУСТНО

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как помотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка...

ИЗ ГЕТЕ

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

<М. А. ЩЕРБАТОВОЙ>

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украины она променяла,

Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

Как ночи Украины,
В мерцании звезд незакатных
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,

Прозрачны и сипи,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых,
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на бога
Хранит она детскую веру;

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит.

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

(Из Зейдлица)

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаёт.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат;
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —

Стоит он и тяжело вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок,

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

СОСЕДКА

Не дожждаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей,
И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решеткой окно;

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду...
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подыметя вдруг.

На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок,

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она долго вздыхая,
Видно, буйную думу тая,
Все тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка...
Захоти лишь — отворится клетка,
И, как божьи птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

ЖУРНАЛИСТ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

Les poètes ressemblent aux ours,
qui se nourrissent en suçant leur patte.
*Inédit*¹

Комната писателя; опущенные шторы. Он сидит в больших креслах перед камином. Читатель, с сигарой, стоит спиной к камину, Журналист входит,

Ж у р н а л и с т

Я очень рад, что вы больны:
В заботах жизни, в шуме света
Теряет скоро ум поэта
Свои божественные сны.
Среди различных впечатлений
На мелочь душу разменяв,
Он гибнет жертвой общих мнений.
Когда ему в пылу забав
Обдумать зрелое творенье?..
Зато какая благодать,
Коль небо вздумает послать
Ему изгнание, заточенье
Иль даже долгую болезнь:
Тотчас в его уединенье
Раздастся сладостная песнь!
Порой влюбляется он страстно
В свою нарядную печаль...
Ну, что вы пишете? нельзя ль
Узнать?

П и с а т е л ь

Да ничего...

¹ Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу. *Неизданное (франц.)*.

Ж у р н а л и с т

Напрасно!

П и с а т е л ь

О чем писать? Восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою,
Взывали, с тайною мольбою,
К N. N., неведомой красе,—
И страшно надоели все.

Ч и т а т е л ь

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть... хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток...
Читаешь — сотни опечаток!
Стихи — такая пустота;
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету?
И в рифмах часто недочет.
Возьмешь ли прозу? — перевод.
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад —
То, верно, над Москвой смеются
Или чиновников бранят.
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?
А если и случилось им,
Так мы их слышать не хотим...
Когда же на Руси бесплодной,
Расставишь с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?

Ж у р н а л и с т

Я точно то же говорю.
Как вы, открыто негодуя,

На музу русскую смотрю я.
Прочтите критику мою.

Ч и т а т е л ь

Читал я. Мелкие нападки
На шрифт, виньетки, опечатки,
Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто.
Хотя б забавно было свету!..
В чернилах ваших, господа,
И желчи едкой даже нету —
А просто грязная вода.

Ж у р н а л и с т,

И с этим надо согласиться.
Но верьте мне, душевно рад
Я был бы вовсе не браниться —
Да как же быть?.. меня бранят!
Войдите в наше положенье!
Читает нас и низший круг:
Нагая резкость выраженья
Не всякий оскорбляет слух;
Приличье, вкус — все так условно;
А деньги все ведь платят ровно!
Поверьте мне: судьбою несть
Даны нам тяжкие вериги.
Скажите, каково прочесть
Весь этот вздор, все эти книги, —
И все зачем? — чтоб вам сказать,
Что их не надобно читать!..

Ч и т а т е л ь

Зато какое наслажденье,
Как отдыхает ум и грудь,
Коль попадетя как-нибудь
Живое, свежее творенье!
Вот, например, приятель мой:
Владеет он изрядным слогом,
И чувств и мыслей полнотой
Он одарен всевышним богом.

Ж у р н а л и с т

Все это так, да вот беда:
Не пишут эти господа,

П и с а т е л ь

О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нисжуются слова...
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Но эти странные творенья
Читает дома он один,
И ими после без зазренья
Он затопляет свой камин.
Ужель ребяческие чувства,
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет...

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко без сознанья
Давно забытые названия;
Давно забытые черты
В сиянье прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах обман —
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу. Диктует совесть,

Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Картины хладные разврата,
Преданья глупых юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно-черпых
И ложно-радужных надежд.
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток...
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать...
Скажите ж мне, о чем писать?..

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навlechь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю.

ПЛЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь, железной.

В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой броней мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

<М. П. СОЛОМИРСКОЙ>

Над бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой
Читает на воротах рая
Узоры надписи святой.

И часто тайную отраду
Находит муке неземной,
За непреклонную ограду
Стремясь завистливой мечтой.

Так, разбирая в заточенье
Досель мне чуждые черты,
Я был свободен на мгновенье
Могучей волею мечты.

Залогом вольности желанной,
Лучом надежды в море бед
Мне стал тогда ваш безымянный,
Но вечно памятный привет,

ОТЧЕГО

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе,
Мне грустно... потому что весело тебе.

БЛАГОДАРНОСТЬ

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растроченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был..
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

РЕБЕНКУ

О грезах юности томим воспоминаьем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? — Увы! года летят;
Страдания ее до срока изменили.
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне... К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит...

Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала,
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней, — скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя? — звук пустой!

Дай бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его — ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

А. О. СМИРНОВОЙ

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

К ПОРТРЕТУ

Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом;
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь, ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.

Таит молодое чело
По воле — и радость и горе.
В глазах — как на небе светло,
В душе ее темно, как в море!

То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно,

ТУЧИ

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

<ВАЛЕРИК>

Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю, как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.

И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остывшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом, что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;

Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум молодых проказ,
Любовь, поэзию,— но вас
Забыть мне было невозможно.

И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказание?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переносу.
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их пророка
Невольню сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз,
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга.
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалось и нам;
И вижу я неподалеку

У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц.
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу — дальний выстрел! Прожужжала
Шальная пуля... славный звук...
Вот крик — и снова все вокруг
Затихло... Но жара уж спала,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор. Где вторая рота?
Что, выючить? — что же капитан?
Повозки выдвигайте живо!
«Савельич!» — «Ой ли!» — «Дай огниво!»
Подъем ударил барабан —
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал...
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показались значки
Там на опушке — два, и боле.
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет — где отважный?
Кто выдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской;
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко... выстрел... легкий дым...
Эй вы, станичники, за ним...
Что? ранен!.. — Ничего, безделка... —
И завязалась перестрелка...

Но в этих спибках удалых
Забавы много, толку мало;

Прохладным вечером, бывало,
Мы любовались на них
Без кровожадного волнения,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет...

Раз — это было под Гихами —
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстился облаками;
И оживились леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось;
Чу! в арьбергарт орудья просят;
Вот ружья из кустов <вы>носят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом дуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Все тихо — там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.
Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблестало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Недолго длилось оно,
Но <в> этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.

Вдруг залп... глядим: лежат рядами,
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный... «В штыки,
Дружнее!» — раздалось за нами.
Кровь загорелась в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня...
«Ура!» — и смолкло. «Вон кинжалы,
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленях; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
«Спасите, братцы. Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат...» Долго он стоил,
Но все слабей, и понемногу
Затих и душу отдал богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,

Им вслед смотрел <я> недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струюю дымной по камням,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой; я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «*Валерик*,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.
«А сколько их дралось примерно
Сегодня?» — «Тысяч до семи». —
«А много горцы потеряли?»
«Как знать? — зачем вы не считали!»
«Да! будет, — кто-то тут сказал, —
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

Но я боюсь вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;

Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвенье
Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденье?

Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так?
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..

ЗАВЕЩАНИЕ

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навывлет в грудь
Я пулей ранен был,
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив.
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали,

Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно

Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалея;
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит!

1841

ОПРАВДАНИЕ

Когда одни воспоминанья
О заблуждениях страстей,
Наместо славного названья,
Твой друг оставит меж людей

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь,

Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя,—

Того, кто страстью и пороком
Затмил твои молодые дни,
Молю: язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас иной .
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.

РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.

Без страха в час последней муки
Покинув свет,
Отрады ждал я от разлуки,—
Разлуки нет!
Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.

Что мне сиянье божьей власти!
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой!
Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
Как в старину.

Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,

Душа моя в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнем.

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна!
Ты с мертвецом святыней слова
Обручена!
Увы! твой страх, твои моленья,
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне,

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет,

ПОСЛЕДНЕЕ НОВОСЕЛЬЕ

Меж тем как Франция, среди рукоплесканий
И кликов радостных, встречает хладный прах
Погибшего давно среди немых страданий

В изгнанье мрачном и цепях;

Меж тем как мир услужливой хвалою
Венчает позднего раскаянья порыв
И вздорная толпа, довольная собою,

Гордится, прошлое забыв,—

Негодованиею и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:

Ты жалкий и пустой народ!

Ты жалок потому, что вера, слава, гений,
Все, все великое, священное земли,
С насмешкой глупою ребяческих сомнений

Тобой растоптано в пыли.

Из славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности — орудье палача,
И все заветные отцовские поверья

Ты им рубил, рубил сплеча,—

Ты погибал... и он явился, с строгим взором,
Отмеченный божественным перстом,
И признан за вождя всеобщим приговором,

И вапа жизнь слилася в нем,—

И вы окрепли вновь в тени его державы,
И мир трепещущий в безмолвии взирал
На ризу чудную могущества и славы,

Которой вас он одевал.

Один,— он был везде, холодный, неизменный,

Отец седых дружин, любимый сын молвы,
В степях египетских, у стен покорной Вены,
В снегах пылающей Москвы!

А вы что делали, скажите, в это время,
Когда в полях чужих он гордо погибал?
Вы потрясали власть избранную, как бремя,
Точили в темноте кинжал!
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили
И, как рабы, вы предали его!
Лишенный прав и места гражданина,
Разбитый свой венец он снял и бросил сам,
И вам оставил он в залог родного сына —
Вы сына выдали врагам!
Тогда, отяготив позорными цепями,
Героя увезли от плачущих дружин,
И на чужой скале, за синими морями,
Забывтый, он угас один —
Один, — замучен мщением бесплодным,
Безмольвною и гордою тоской —
И как простой солдат в плаще своем походном
Зарыт наемною рукой.

ж

Но годы протекли, и ветреное племя
Кричит: «Подайте нам священный этот прах!
Он наш; его теперь, великой жатвы семя,
Зароем мы в спасенных им стенах!»
И возвратился он на родину; безумно,
Как прежде, вокруг него теснятся и бегут
И в пышный гроб, среди столицы шумной,
Остатки тленные кладут.
Желанье позднее увенчано успехом!
И краткий свой восторг сменив уже другим,
Гуляя, топчет их с самодовольным смехом
Толпа, дрожавшая пред ним.

ж

И грустно мне, когда подумаю, что ныне
Нарушена святая тишина

Вокруг того, кто ждал в своей пустыне
Так жадно, столько лет спокойствия и сна!
И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
 Какое в нем негодование
 При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове, под небом дальних стран,
Где сторожил его, как он непобедимый,
 Как он великий, океан!

<ИЗ АЛЬБОМА С. Н. КАРАМЗИНОЙ>

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
С <мирновой> штучку, фарсу Саши
И Ишки М <ятлева> стихи...

<ГРАФИНЕ РОСТОПЧИНОЙ>

Я верю: под одной звездой
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! — от цели благородной
Оторван бурей страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную верить...

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер дождный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои.

ДОГОВОР

Пускай толпа клеймит презрением
Наш неразгаданный союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз,

Но перед идолами света
Не гну колени я мои;
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.

Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не отличая никого:
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего.

Земного счастья мы не ценим,
Людей привыкли мы ценить;
Себе мы оба не изменим,
А нам не могут изменить.

В толпе друг друга мы узнали,
Сошлись и разойдемся вновь,
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали.

* * *

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

УТЕС

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

СПОР

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою ¹
 Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
 Седовласый Шат, —
Покорился человеку
 Ты не даром, брат!
Он настроит дымных келий
 По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
 Загремит топор;
И железная лопата
 В каменную грудь,
Добывая медь и золото,
 Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
 Через те скалы,
Где носились лишь туманы
 Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
 Первый был скачок,
Берегися! многолюден
 И могуч Восток!»
«Не боюсь я Востока! —
 Отвечал Казбек, —
Род людской там спит глубоко

¹ Ш а т — Элбрус. (Прим. Лермонтова.)

Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин;
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моег желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя...
Нет! не дряхлому Востоку
Покорить меня!»

«Не хвались еще заране! —
Молвил старый Шат,—
Вот на севере в тумане
Что-то видно, брат!»

Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум,
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Двигутся полки;
Веют белые султаны,

Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют;
Батарей медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.
И, томим зловещей думой,
Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.
Грустным взором он окинул
Племя гор своих,
Шапку¹ на брови надвинул —
И навек затих.

¹ Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека. (Прим. Лермонтова.)

СОН

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

* * *

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt'es dem andern gestehn.

*Heine*¹

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали,

¹ Они любили друг друга, но ни один не желал признаться в этом другому. *Гейне (нем.)*

ТАМАРА

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.

И там сквозь туман полуночи
Блистал огонек золотой,
Кидался он путнику в очи,
Манил он на отдых ночной.

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всеильные чары,
Была непонятная власть.

На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух;
Пред ним отворялися двери,
Встречал его мрачный евнух.

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчуг убрана,
Ждала она гостя... Шипели
Пред нею два кубка вина.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавались там.

Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлись на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак и молчанье
Опять воцарялися там.

Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину;
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну;

И с плачем безгласное тело
Спешили они унести;
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.

СВИДАНИЕ

1

Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ;
Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье мгла и дым.
Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

2

Там за твердыней старою
На сумрачной горе
Под свежее чинарою
Лежу я на ковре,
Лежу один и думаю:
«Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
Назначила ты мне?
И в этот час таинственный,
Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
Зовут мечты мои».

3

Внизу огни дозорные
 Лишь на мосту горят,
 И колокольни черные,
 Как сторожи, стоят;
 И поступью несмелою
 Из бань со всех сторон
 Выходят цепью белою
 Четы грузинских жен;
 Вот улицей пустынною
 Бредут, едва скользя...
 Но под чадрую длинную
 Тебя узнать нельзя!..

4

Твой домик с крышей гладкою
 Мне виден вдалеке;
 Крыльцо с ступенью шаткою
 Купается в реке;
 Среди прохлады, веющей
 Над синею *Курой*,
 Он сетью зеленеющей
 Опутан плющевой;
 За тополью высокою
 Я вижу там окно...
 Но свечкой одинокою
 Не светится оно!

5

Я жду. В недоумении
 Напрасно бродит взор:
 Кинжалом в нетерпении
 Изрезал я ковер;
 Я жду с тоской бесплодную,
 Мне грустно, тяжело...
 Вот сыростью холодною
 С востока понесло,
 Краснеют за туманами
 Седых вершин зубцы,

Выходят с караванами
Из города купцы...

6

Прочь, прочь, слеза позорная,
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!
Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал как бешеный
Татарин молодой.
Недаром он красуется
Перед твоим окном
И твой отец любит
Персидским жеребцом.

7

Возьму винтовку длинную,
Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
Есть узкий поворот.
До полдня за могильною
Часовней подожду
И на дорогу пыльную
Винтовку наведу.
Напрасно грудь колыхается!
Я лег между камней;
Чу! близкий топот слышится...
А! это ты, злодей!

ЛИСТОК

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и гoря
И вот, наконец, докатился до Черного моря,

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара, —
Ты пылен и желт, — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше: о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море»,

* * *

1

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

2

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

3

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА

В море царевич купает коня;
Слышит: «Царевич! взгляни на меня!»

Фыркает конь и ушами прыдет,
Брызжет и плещет и дале плывет.

Слышит царевич: «Я царская дочь!
Хочешь провести ты с царевною ночь?»

Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелковой узды.

Вышла младая потом голова,
В косу вплелась морская трава.

Синие очи любовью горят;
Брызги на шее, как жемчуг, дрожат.

Мыслит царевич: «Добро же! постой!»
За косу ловко схватил он рукой,

Держит, рука боевая сильна:
Плачет и молит и бьется она.

К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл; товарищей громко зовет:

«Эй, вы! сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя...

Что ж вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вот оглянулся царевич назад:
Ахнул! померк торжествующий взгляд.

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом;

Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит;

Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.

Бледные руки хватают песок;
Шепчут уста непонятный упрек...

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь!

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

КРЕСТ НА СКАЛЕ

В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
Но крест деревянный чернеет над ней,
Гниет он и гнется от бурь и дождей.

И много уж лет протекло без следов,
С тех пор, как он виден с далеких холмов.
И каждая кверху подъята рука,
Как будто он хочет схватить облака.

О, если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия,
И с бурей братом назвался бы я!

* * *

Никто моим словам не внемлет... я один.
День гаснет... красными рисуясь полосами,
На запад уклонились тучи, и камин
Трещит передо мной. Я полон весь мечтами
О будущем... и дни мои толпой
Однообразною проходят предо мной,
И тщетно я ищу смущенными очами
Меж них хоть день один, отмеченный судьбой!

* * *

Мое грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла...
Зачем не позже иль не ране
Меня природа создала?

К чему творец меня готовил,
Зачем так грозно прекословил
Надеждам юности моей?..
Добра и зла он дал мне чашу,
Сказав: я жизнь твою украшу,
Ты будешь славен меж людей!..

И я словам его поверил,
И, полный волею страстей,
Я будущность свою измерил
Обширностью души своей;
С святыней зло во мне боролось,
Я удушил святыни голос,
Из сердца слезы выжал я;
Как юный плод, лишенный сока,
Оно увяло в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

Тогда для поприща готовый,
Я дерзко вник в сердца людей
Сквозь непонятные покровы
Приличий светских и страстей.

* * *

Из-под таинственной, холодной полумаски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки
И улыбались лукавые уста.

Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит и шеи белизну.
Счастливец! видел я и локон своевольный,
Родных кудрей покинувший волну!..

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою;
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

И все мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слышал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

* * *

Не плачь, не плачь, мое дитя,
Не стоит он безумной муки.
Верь, он ласкал тебя шутя,
Верь, он любил тебя от скуки!
И мало ль в Грузии у нас
Прекрасных юношей найдется?
Быстрей огонь их черных глаз,
И черный ус их лучше вьется!

Из дальней, чуждой стороны
Он к нам заброшен был судьбою;
Он ищет славы и войны,—
И что ж он мог найти с тобою?
Тебя он золотом дарил,
Клялся, что вечно не изменит,
Он ласки дорого ценил —
Но слез твоих он не оценит!

<К Н. И. БУХАРОВУ>

Мы ждем тебя, спеши, Бухаров,
Брось царскосельских соловьев,
В кругу товарищей гусаров
Обычный кубок твой готов.
Для нас в беседе голосистой
Твой крик приятней соловья,
Нам мил и ус твой серебристый,
И трубка плоская твоя.
Нам дорога твоя отвага,
Огнем душа твоя полна,
Как вновь раскупренная влага
В бутылке старого вина.
Столетия прошлого обломок,
Меж нас остался ты один,
Гусар прославленных потомок,
Пиров и битвы граждан.

* * *

Ты помнишь ли, как мы с тобою
Прощались позднею порою?
Вечерний выстрел загремел,
И мы с волнением внимали...
Тогда лучи уж догорали,
И на море туман густел;
Удар с усилием промчался
И вдруг за бездною скончался.

Окончив труд дневных работ,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю.
И между тем как чередой
Глушит волнами их седыми,
Я плачу; я томим тоской,
Я умереть желаю с ними...

ПОЭМЫ



ПОСЛЕДНИЙ СЫН ВОЛЬНОСТИ

(Повесть)

Посвящается (Н. С. Шеншину)

1

Бывало, для забавы я писал,
Тревожимый младенческой мечтой;
Бывало, я любовью страдал,
И, с бурною пылающей душой,
Я в ветреных стихах изображал
Таинственных видений милый рой.
Но дни надежд ко мне не придут вновь,
Но изменила первая любовь!..

2

И я один, один был брошен в свет,
Искал друзей — и не нашел людей;
Но ты явился: нежный твой привет
Завязку снял с обманутых очей.
Прими ж, товарищ, дружеский обет,
Прими же песню родины моей,
Хоть эта песнь, быть может, милый друг, —
Оборванной струны последний звук!..

When shall such hero live again
«The Giaour». Byron

Приходит осень, золотит
Венцы дубов. Трава полей
От продолжительных дождей
К земле прижалась; и бежит
Ловец напрасно по холмам:
Ему не встретить зверя там.
А если даже он найдет,
То ветер стрелы разнесет.
На льдинах ветер тот рожден,
Порывисто качает он
Сухой шиповник на берегах
Ильменя. В сизых облаках
Станицы белых журавлей
Летят на юг до лучших дней;
И чайки озера кричат
Им вслед и выются над водой,
И звезды ночью не блещут,
Одетые сырою мглой.

Приходит осень! уж стада
Бегут в гостеприимну сень;
Краснея, догорает день
В тумане. Пусть он никогда
Не озарит лучом своим
Густой новгородский дым,
Пусть не надуется вовек
Дыханьем теплым ветерка
Летучий парус рыбака
Над волнами славянских рек!
Увы! пред властью чужой
Склонилась гордая страна,
И песня вольности святой
(Какая б ни была она)
Уже забвенью предана.
Свершилось! дерзостный варяг
Богов славянских победил;
Один неосторожный шаг
Свободный край поработил!
Но есть поныне горсть людей,
В дичи лесов, в дичи степей;

¹ Когда такой герой родится снова? «Гяур». Байрон (англ.).

Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять
В изгнание дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять;
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны:
Так, меж грядями темных туч,
Сквозь слезы бури, солнца луч
Увеселяет утром взор
И золотит туманы гор.

На небо дым валит столбом!
Откуда он? Там, где шумит
Поток сердитый, над холмом,
Треща, большой огонь горит,
Пестреет частый лес кругом.
На волчьих кожах, без щитов,
Сидят недвижно у огня,
Молчанье мрачное храня,
Как тени грусти, семь бойцов:
Шесть юношей — один старик.
Они славяне! — бранный клик
Своих дружин им не слышать,
И долго, долго не видать
Им милых ближних... но они
Простились с озером родным,
Чтоб не промчались их дни
Под самовластием чужим,
Чтоб не склоняться вечно в прах,
Чтоб тени предков, из земли
Восстав, с упреком на устах,
Тревожить сон их не пришли!..
О! если б только Чернобог
Удару мщения помог!..
Неравная была борьба...
И вот война! и вот судьба!..

«Зачем я меч свой вынимал,
И душу веселила кровь? —
Один из юношей сказал. —
Победы мы не встретим вновь,
И наши имена покрыть
Должно забвенью, может быть;
И несвершенный подвиг наш

Изгладится в умах людей:
Так недостроенный шалаш
Разносит буйный вихрь степей!»
«О! горе нам, — сказал другой, —
Велик, ужасен гнев богов!
Но пусть и на главу врагов
Спадет он гибельной звездой,
Пусть в битве страх обьет их,
Пускай падут от стрел своих!»

Так говорили меж собой
Изгнанники. Вот встал один...
С руками, сжатыми крестом,
И с бледным пасмурным челом
На мглу волнистую долин
Он посмотрел, и наконец
Так молвил старику боец:
«Подобно ласке женских рук,
Смягчает горе песни звук.
Так спой же, добрый Ингелот,
О чем-нибудь! о чем-нибудь
Ты спой, чтоб облегчилась грудь,
Которую тоска гнетет.
Пой для других! моя же месть
Их детской жалобы сильней:
Что было, будет и что есть,
Все упадает перед ней!»
«Вадим! — старик ему в ответ, —
Зачем не для тебя?.. иль нет!
Не надо! что ты вверил мне,
Уснет в сердечной глубине!
Другую песню я спою:
Садись и слушай песнь мою!»

И в белых кудрях старика
Играли крылья ветерка,
И вдохновенный взор блеснул,
И песня громко раздалась.
Прерывисто она неслась,
Как битвы отдаленный гул.
Поток, вблизи холма катясь,
Срывая мох с камней и пней,
Согласовал свой ропот с ней,

И даже призраки бойцов,
Склонясь из дымных облаков,
Внимали с высоты порой
Сей песни дикой и простой!

ПЕСНЬ ИНГЕЛОТА

1

Собрались люди мудрые
Вкруг постели Гостомысловой.
Смерть над ним летает коршуном!
Но, махнувши слабою рукой,
Говорит он речь друзьям своим:

2

«Ах, вы люди новгородские!
Между вас змея-раздор шипит.
Призовите князя чуждого,
Чтоб владел он краем родины!» —
Так сказал и умер Гостомysl.

3

Кривичи, славяне, весь и чудь
Шлют послов за море синее,
Чтобы звать князей варяжских стран.
«Край наш славен — по порядку нет!» —
Говорят послы князьям чужим.

4

Рурик, Трувор и Синав клялись
Не вести дружины за собой;
Но с зарей блеснуло множество
Острых копий, белых парусов
Сквозь синеющий туман морской!..

5

Обманулись вы, сыны славян!
 Чей белеет стан под городом?
 Завтра, завтра дерзостный варяг
 Будет князем Новагорода,
 Завтра будете рабами вы!..

6

Тридцать юношей собираются,
 Месть в душе, в глазах отчаянье...
 Ночи мгла спустилась на холмы,
 Полный месяц встал, и юноши
 В спящий стан врагов являются!

7

На щиты склонясь, варяги спят,
 Луч луны играет по-кудрам.
 Вот струею потекла их кровь,
 Гибнет враг — но что за громкий звук?
 Чье копьё ударилось о щит?

8

И вскочили пробужденные,
 Злоба в крике и движениях!
 Долго защищались юноши.
 Много пало... только шесть осталось...
 Мир костям убитых в поле том!

9

Княжит Рурик в Новгороде,
 В диких дебрях бродят юноши;
 С ними есть один старик седой —
 Он поет о родине святой,
 Он поет о милой вольности!

✽

«Ужель мы только будем петь
 Иль с безнадежием немым

На стыд отечества глядеть,
Друзья мои? — спросил Вадим.—
Клянусь, великий Чернобог,
И в первый и в последний раз:
Не буду у варяжских ног.
Иль он, иль я: один из нас
Падет! в пример другим падет!..
Молва об нем из рода в род
Пускай передает рассказ;
Но до конца вражда!» Сказал,
И на колена он упал,
И руки сжал, и поднял взор,
И страшно взгляд его блестел,
И темно-красный метеор
Из тучи в тучу пролетел!

И встали и пошли они
Пустынной узкою тропой.
Курился долго дым густой
На том холме, и долго пни
Трещали в медленном огне,
Маня беспечных пастухов,
Пугая кроликов и сов
И ласточек на вышине!..

Скользнув между вечерних туч,
На море лег кровавый луч;
И солнце пламенным щитом
Нисходит в свой подводный дом.
Одни варяжские струи,
Поднявши головы свои,
Любуясь на его закат,
Теснятся, шепчут и шумят;
И серна на крутой скале,
Чернея в отдаленной мгле,
Как дух недвижима, глядит
Туда, где небосклон горит,

Сегодня с этих берегов
В ладью ступило семь бойцов:
Один старик, шесть молодых!
Вадим отважный был меж них.
И белый парус понесло
Порывом ветра, и весло
Ударилось о синий вал,

И в той ладье Вадим стоял
Между изгнанников-друзей,
Подобный призраку морей!
Что думал он, о чем грустил,
Он даже старцу не открыл.
В прощальном, мутном взоре том
Изобразилось то, о чем
Пересказать почти нельзя.
Так удалялася ладья,
Оставляя пены белый след;
Все мрачен в ней стоял Вадим;
Воспоминаям прежних лет,
Быть может, витязь был томим...
В какой далекий край они
Отправились, чего искать?
Кто может это рассказать?
Их нет. Бегут толпою дни!..

На вышине скалы крутой
Растет порой цветок молодой:
И в сердце грозного бойца
Любви есть место. До конца
Он верен чувству одному,
Как верен слову своему.
Вадим любил. Кто не любил?
Кто, вечно следуя уму,
Врожденный голос заглушил?
Как моря вид, как вид степей,
Любовь дика в стране моей...

Прекрасна *Леда*, как звезда
На небе утреннем. Она
Свежа, как южная весна,
И, как пустынный цвет, горда.
Как песня юности, жива,
Как птица вольности, резва,
Как воспоминание детей,
Мила и грустию своей
Младая Леда. И Вадим
Любил. Но был ли он любим?..
Нет! равнодушный Леды взор
Презренье холод оковал:
Отвергнут витязь; но с тех пор
Он все любил, он все страдал.
До униженья, до мольбы ..

Он не хотел себя склонить;
Мог презирать удар судьбы
И мог об нем не говорить.
Желал он на другой предмет
Излить огонь страстей своих;
Но память, слезы многих лет!..
Кто устоит противу них?
И рана, легкая сперва,
Была все глубже день со днем,
И утешения слова
Встречал он с пасмурным челом.
Свобода, мщенье и любовь —
Все вдруг в нем волновало кровь;
Старался часто Ингелот
Тревожить пыл его страстей
И полагал, что в них найдет
Он пользу родины своей.
Я не виню тебя, старик!
Ты славянин: суров и дик,
Но и под этой пеленой
Ты воспитал огонь святой!..
Когда на челноке Вадим
Помчался по волнам морским,
То показал во взоре он
Души глубокую тоску,
Но ни один прощальный стон
Он не поверил ветерку,
И ни единая слеза
Не отуманила глаза.
И он покинул край родной,
Где игры детства, как могли,
Ему веселье принесли
И где лукавою толпой
Его надежды обошли,
И в мире может только мечь
Опять назад его привести.

✽

Зима сребристой пеленой
Одела горы и луга.
Князь Рурик с силой боевой
Пошел недавно на врага.
Глубоки ранние снега;
На сучьях иней. Звучный лед

Сковал поверхность гладких вод.
Стадами волки по ночам
Подходят к тихим деревням;
Трещит мороз. Шумит метель:
Вершиною качает ель.
С полнеба день на степь глядит
И за туман уйти спешит,
И путник посреди полей
Неверный тщетно ищет путь;
Ему не зреть своих друзей,
Ему холодным сном заснуть,
И должен сгнить в чужих снегах
Его непогрешенный прах!..

Откуда зарево блесит?
Не град враждебный ли горит?
Тот город Руриком зажжен.
Но скоро ль возвратится он
С богатой данью? скоро ль меч
Князь вложит в мирные ножны?
И не пора ль ему пресечь
Зловещий, буйный клик войны?

Ночь. Темен зимний небосклон.
В Новгороде глубокий сон,
И все объято тишиной;
Лишь лай домашних псов порой
Набегом ветра принесен.
И только в хижине одной
Лучина поздняя горит;
И Леда перед ней сидит
Одна; немолчное давно
Прядет, гудёт веретено
В ее руке. Старуха мать
Над снегом вышла погадать.
И, наконец, она вошла:
Морщины бледного чела
И скорый, хитрый взгляд очей —
Все ужасом дышало в ней.
В движенье судорожном рук
Видна душевная борьба.
Ужель бедой грозит судьба?
Ужели ряд жестоких мук
Искусством тайным эту ночь

В грядущем видела она?
Трепещет и не смеет дочь
Спросить. Волшебница мрачна.
Сама в себя погружена.
Пока петух не прокричал,
Старухи бред и чудный стон
Дремоту Леды прерывал,
И краткий сон ей был не в сон!..
И поутру перед окном
Приметили широкий круг,
И снег был весь истоптан в нем,
И долго в городе о том
Ходил тогда недобрый слух.

.
.

Шесть раз менялася луна;
Давно окончена война.
Князь Рурик и его вожди
Спокойно ждут, когда весна
Свое дыханье и дожди
Пошлет на белые снега,
Когда печальные луга
Покроют пестрые цветы,
Когда над озером кусты
Позеленеют, и струи
Заблещут пеной молодой,
И в роще Лады в час ночной
Затянут песню соловьи.
Тогда опять поднимут меч,
И кровь соседей станет течь,
И зарево, как метеор,
На тучах испугает взор.

Надеждою обольщена,
Вотще душа славян ждала
Возврата вольности: весна
Пришла, но вольность не пришла.
Их заговоры, их слова
Варяг-властитель презирал;
Все их законы, все права,
Казалось, он пренебрегал.
Своей дружиной окружен,
Перед народ являлся он;
Свои победы исчислял,

Лукавой речью убеждал!
Рука искусного льстеца
Играла глупую толпой;
И благородные сердца
Томились тайною тоской...

И праздник Лады настает:
Повсюду радость! как весной
Из улья мчится шумный рой,
Так в рощу близкую народ
Из Новагорода идет.
Пришли. Из ветвей и цветов
Видны венки на головах,
И звучно песни в честь богов.
Уж раздались на берегах
Ильменя синего. Любовь
Под тенью лиловых ветвей
Скрывается от глаз людей.
С досадою, нахмуря бровь,
На игры юношей глядеть
Старик не смеет. Седина
Ему не запрещает петь
Про Диди-Ладо. Вот луна
Явилась, будто шар златой,
Над рощей темной и густой;
Она была тиха, ясна,
Как сердце Леды в этот час...
Но отчего в четвертый раз
Князь Рурик, к лице прислонен,
С нее не сводит светлых глаз?
Какою думой занят он?
Зачем лишь этот хоровод
Его внимание влечет?..

Страшись, невинная душа!
Страшись! Пылкий этот взор,
Желаньем, страстию дыша,
Тебя погубит; и позор
Подавит голову твою;
Страшись, как гибели своей,
Чтобы не молвил он: «Люблю!»
Опасен яд его речей.
Нет сожаленья у князей:
Их ненависть, как их любовь,

Бедою вечною грозит;
Насытит первую лишь кровь,
Вторую лишь девичий стыд.

У закоптелого окна
Сидит волшебница одна
И ждет молоденькую дочь.
Но Леды нет. Как быть? Уж ночь;
Сияет в облаках луна!..
Толпа проходит за толпой
Перед окном. Недвижный взгляд
Старухи полон тишиной,
И беспокойства не горят
На ледяных ее чертах;
Но тайны чудной налегло
Клеймо на бледное чело,
И вид ее вселяет страх.
Она с луны не сводит глаз.
Бежит за часом скучный час!..

И вот у двери слышен стук,
И быстро Леда входит вдруг
И падает к ее ногам:
Власы катятся по плечам,
Испугом взор ее блестит.
«Погибла! — дева говорит, —
Он вырвал у меня любовь;
Блаженства не найду я вновь...
Проклятье на него! злодей...
Наш князь!.. Мои мольбы, мой стон
Презрительно отвергнул он!
О! ты о мне хоть пожалей,
Мать! мать!.. убей меня!.. убей!..»

«Закон судьбы несокрушим;
Мы все ничтожны перед ним», —
Старуха отвечает ей.
И встала бедная, и тих
Отчаянный казался взор,
И удалилась. И с тех пор
Не вылетал из уст младых
Печальный ропот иль укор.

Всегда с поникшей головой,
Стыдом томима и тоской,

На отуманенный Ильмень
Смотрела Леда целый день
С береговых высоких скал.
Никто ее не узнавал:
Надеждой не дышала грудь,
Улыбки гордой больше нет,
На щеки страшно и взглянуть:
Бледны, как утра первый свет.
Она увяла в цвете лет!..

С жестокой радостью детей
Смеются девушки над ней,
И мать сердито гонит прочь;
Она одна и день и ночь.
Так колос на поле пустом,
Забыт неопытным жнецом,
Стоит под бурей одинок,
И буря гнет мой колосок!..

И раз в туманный, серый день
Пропала дева. Ночи тень
Прошла; еще заря пришла —
Но что ж? заря не привела
Домой красавицу мою.
Никто не знал во всем краю,
Куда сокрылася она;
И смерть, как жизнь ее, темна!..

Жалели юноши об ней,
Проклятья тайные неслись
К властителю; ах! не нашлись
В их душах чувства прежних дней,
Когда за отнятую честь
Мечом бойца платила месть,
Но на земле еще была
Одна рука, чтоб отомстить,
И было сердце, где убить
Любви чужбина не могла!..

Пока надежды слабой свет
Не вовсе тучами одет,
Пока невольная слеза
Еще пытается глаза
Коварной влагой омочить,

Пока мы может позабыть
Хоть вполонину, хоть на миг
Измены, страсти лет былых,
Как мы любили в те года,
Как сердце билося тогда,
Пока мы можем как-нибудь
От страшной цели отвернуть
Не вовсе углубленный ум,
Как много ядовитых дум
Боятся потревожить нас!
Но есть неизбежный час...
И поздно или рано он
Разрушит жизни сладкий сон,
Завесу с прошлого стащит
И все в грядущем отравит;
Осветит бездну пустоты,
И нас (хоть будет тяжело)
Презреть заставит нам назло
Правдоподобные мечты;
И с этих пор иной обман
Душевных не излечит ран!
Высокий дуб, краса холмов,
Перед явлением снегов,
Роняет лист, но вновь весной
Покрыт короной листвоной,
И, зеленея в жаркий день,
Прохладную он стелет тень,
И буря вокруг него шумит,
Но великана не свалит;
Когда же пламень громовой
Могучий корень опалит,
То листьев свежую толпой
Он не оденется вовек...
Ему подобен человек!..

*

Свetaет — побелел восход
И озарил вершины гор,
И стал синеть безмолвный бор.
На зеркало недвижных вод
Ложится тень от берегов;
И над болотом, меж кустов,
Огни блудящие спешат

Укрыться от дневных огней;
И птицы озера шумят
Между уютных камышей.
Летит в пустыню черный вран,
И в чащу кроется теперь
С каким-то страхом дикий зверь.
Грядой волнистою туман
Встает между зубчатых скал,
Куда никто не проникал,
Где камни темной пеленой
Уныло кроет мох сырой!..

Взошла заря — зачем? зачем?
Она одно осветит всем:
Она осветит бездну тьмы,
Где гибнем невозвратно мы;
Потери новые людей
Она лукаво озарит,
И сердце каждое лишит
Всех удовольствий прежний дней,
И сожаленья не возьмет,
И вспоминанья не убьет!..

Два путника лесной тропой
Идут под утреннюю мглой
К ущелиям славянских гор:
Заря их привлекает взор,
Играя меж ветвей густых
Берез и сосен вековых.
Один еще во цвете лет,
Другой, старик, и худ и сед.
На них одежды чуждых стран.
На младшем с стрелами колчан
И лук, и ржавчиной покрыт
Его шишак, и меч звенит
На нем, тяжелых мук бразды
И битв давнишние следы
Хранит его чело, но взгляд
И все движенья говорят,
Что не погас огонь святой
Под сей кольчугой боевой...
Их вид суров, и шаг их скор,
И полон грусти разговор:

«Прошу тебя, не уменьшай
Восторг души моей! Опять
Я здесь, опять родимый край
Сужден изгнанника принять;
Опять, как алая заря,
Надежда веселит меня;
И я увижу милый кров,
Где длился пир моих отцов,
Где я мечом играть любил,
Хоть меч был свыше детских сил.
Там вырос я, там защищал
Своих богов, свои права,
Там за свободу я бы пал,
Когда бы не твои слова.
Старик! где ж замыслы твои?
Ты зрел ли, как легли в крови
Сыны свободные славян
На берегу далеких стран?
Чужой народ нам не помог,
Он принял правду за предлог,
Гостей врагами почитал.
Старик! старик! кто б отгадал,
Что прах друзей моих уснет
В земле безвестной и чужой,
Что под небесной синевою
Один Вадим да Ингелот
На сердце будут сохранять
Старинной вольности любовь,
Что им одним лишь увидеть
Дано свою отчизну вновь?..
Но что ж?.. быть может, наша весть
Не извлечет слезы из глаз,
Которые увидят нас,
Быть может, праведную месть
Судьба обманет в третий раз!..
Так юный воин говорил,
И влажный взор его бродил
По диким соснам и камням
И по туманным небесам.
«Пусть так! — старик ему в ответ, —
Но через много, много лет
Все будет славиться Вадим;
И грозным именем твоим
Народы устроят князей,

Как тенью вольности своей.
И скажут: он за милый край,
Не размышляя, пролил кровь,
Он презрел счастье и любовь...
Дивись ему — и подражай!»
С улыбкой горькою боец
Спешил от старца отвернуть
Свои глаза: младую грудь
Печаль давила, как свинец;
Он вспомнил о любви своей,
Невольно сердце потрясось,
И все волнение страстей
Из бледных уст бы излилось,
Когда бы не боялся он,
Что вместо речи только стон
Молчанье возмутит кругом;
И он, поникнувши челом,
Шаги приметно ускорял
И спутнику не отвечал.

Идут — и видят вдруг курган
Сквозь синий утренний туман;
Шиповник и репей кругом,
И что-то белое на нем
Недвижимо в траве лежит.
И дикий коршун тут сидит,
Как дух лесов, на пне большом —
То отлетит, то подлетит;
И вдруг, приметив меж дерев
Вдали нежданных пришлецов,
Он приподнялся на ногах,
Махнул крылом и полетел
И, уменьшаясь в облаках,
Как лодка на море, чернел!..

На том холме, в траве густой
Бездушный, хладный труп лежал,
Одетый белой пеленой;
Пустыни ветер ее срывал,
Кудрями длинными играл
И даже не боялся дуть
На эту девственную грудь,
Которая была белей,

Была нежней и холодней,
Чем снег зимы. Закрытый взгляд
Жестокой смертью объят,
И несравненная рука
Уж посинела и жестка...

И к мертвой подошел Вадим...
Но что за перемена с ним? —
Затрясся, побледнел, упал...
И раздался меж ближних скал
Какой-то длинный крик иль стон...
Похож был на последний он!
И кто бы крик сей услышал,
Наверно б сам в себе сказал,
Что сердца лучшая струна
В минуту эту порвана!..
О! если бы одна любовь
В душе у витязя жила,
То он бы не очнулся вновь;
Но *месть* любовь превозмогла.
Он долго на земле лежал
И странные слова шептал,
И только мог понять старик,
Что то родной его язык.
И, наконец, страдалец встал.
«Не все ль я вынес? — он сказал, —
О Ингелот! любил ли ты?
Взгляни на бледные черты
Умершей Леды... посмотри...
Скажи... иль нет! не говори...
Свершилось! я на месть иду,
Я в мире ничего не жду:
Здесь я нашел, здесь погубил
Все, что искал, все, что любил!..»
И меч спешит он обнажить
И начал им могилу рыть.
Старик невольно испустил
Тяжелый сожаленья вздох
И безнадежному помог.
Готов уж смерти тесный дом,
И дерн готов, и камень тут;
И бедной Леды труп кладут
В сырую яму... И потом
Ее засыпали землей,

И дерн покрыл ее сырой,
И камень положен над ним.
Без дум, без трепета, без слез
Последний долг свершил Вадим,
И этот день, как легкий дым,
Надежду и любовь унес.
Он стал на свете сирота.
Душа его была пуста.
Он сел на камень гробовой
И по челу провел рукой;
Но грусть — ужасный властелин:
С чела не сгладил он морщин!
Но сердце билось опять —
И он не мог его унять!..

«Девица! мир твоим костям! —
Промолвил тихо Ингелот, —
Одна лишь цель богами нам
Дана — и каждый к ней придет;
И жалок и безумец тот,
Кто ропщет на закон судьбы:
К чему? — мы все его рабы!»

И оба встали и пошли
И скрылись в голубой дали!..

.

Горит на небе ясный день,
Бегут золотые облака,
Синеет быстрая река,
И ровен, как стекло, Ильмень.
Из Новгорода народ,
Тесняся, на берег идет.
Там есть возвышенный курган;
На нем священный истукан,
Изображая бога битв,
Белеет издали. Предмет
Благодарений и молитв,
Стоит он здесь уж много лет;
Но лишь недавно князь пред ним
Склонен почтением немым.
Толпой варягов окружен,
На жертву предлагает он
Добычу счастливой войны.

Песнь раздалася в честь богов;
И груди пышные даров
На холм святой положены!..

Рассыпались толпы людей;
Зажглися пни, и пир шумит,
И Рурик весело сидит
Между седых своих вождей!..
Но что за крик? откуда он?
Кто этот воин молодой?
Кто Рурика зовет на бой?
Кто для погибели рожден?..
В своем заржавом пишаке
Предстал Вадим — булат в руке,
Как змеи, кудри на плечах,
Отчаянье и месть в очах.
«Варяг! — сказал он, — выходи!
Свободное в моей груди
Трепещет сердце... испытай,
Сверши злодейство до конца;
Паденье одного бойца
Не может погубить мой край;
И так уж он у ног чужих,
Забыв победы дней былых!..
Новгородцы! обо мне
Не плачьте... я родной стране
И жизнь и счастье принес...
Не требует свобода слез!»

И он мечом своим взмахнул —
И меч как молния сверкнул;
И речь все души потрясла,
Но пробудить их не могла!..
Вскочил надменный буйный князь
И мрачно также вынул меч,
Известный в буре грозных сеч;
Вскочил — и битва началась.
Кипя, с оружием своим,
На князя кинулся Вадим;
Так над пучиной бурных вод
На легкий челн бежит волна —
И сразу лодку разобьет
Или сама раздроблена,

И долго билися они,
И долго ожиданья страх
Блестел у зрителей в глазах, —
Но витязя младого дни
Уж сочтены на небесах!..

Дружины радостно шумят,
И бросил князь довольный взгляд;
Над непреклонной головой
Удар спустился роковой.
Вадим на землю тихо пал,
Не посмотрел, не простонал.
Он пал в крови, и пал один —
Последний вольный славянин!

Когда росистой ночи мгла
На холмы темные легла,
Когда на небе чередой
Являлись звезды и луной
Сребрилась в озере струя,
Через туманные поля
Охотник поздний проходил
И вот что после говорил,
Сидя с женой, между друзей,
Перед лачугою своей:
«Мне чудилось, что за холмом,
Согнувшись, человек стоял,
С трудом кого-то поднимал:
Власы белели над челом;
И, что-то на плеча взвалив,
Пошел — и показалось мне,
Что труп чернелся на спине
У старика. Поворотив
С своей дороги, при луне
Я видел: в недалекий лес
Спешил с своею ношей он
И наконец совсем исчез,
Как перед утром лживый сон!..»

Над озером видал ли ты,
Жилец простой окрестных сел,
Скалу огромной высоты,
У ног ее зеленый дол?
Уныло желтые цветы

Да можжевельника кусты,
Забыты ветрами, растут
В тени сырой. Два камня тут.
Увязши в землю, из травы
Являют серые главы:
Под ними спит последним сном,
С своим мечом, с своим щитом,
Забыт славянскою страной,
Свободы витязь молодой.

*

A tale of the times of old!..
The deeds of days of other years!..¹

1830—1831

¹ Сказание седых времен!..
Деянья прежних лет и дней!.. (англ.)

ХАДЖИ АБРЕК

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена — ручной булат;
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.

По небу знойный день катится,
От скал горячих пар струится;
Орел, недвижим на крылах,
Едва чернеет в облаках;
Ущелья в сон погружены;
В ауле нет лишь тишины.
Аул встревоженный пустеет,
И под горой, где ветер веет,
Где из утеса бьет поток,
Стоит внимательный кружок.
Об чем ведет переговоры
Совет джематских удальцов?
Хотят ли вновь пуститься в горы
На ловлю чуждых табунов?
Не ждут ли русского отряда,
До крови лакомых гостей?
Нет, — только жалость и досада
Видна во взорах узденей.

Покрыт одеждami чужими,
Сидит на камне между ними
Лезгинец дряхлый и седой;
И льется речь его потоком,
И вокруг себя блестящим оком
Печально водит он порой.
Рассказу старого лезгина
Внимали все. Он говорил:
«Три нежных дочери, три сына
Мне бог на старость подарил;
Но бури злые разразились,
И ветви древа обвалились,
И я стою теперь один,
Как голый пень среди долин,
Увы, я стар! Мои седины
Белее снега той вершины,
Но и под снегом иногда
Бежит кипучая вода!..
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто возвратит мне дочь мою?
В плену сестры ее увяли,
В бою неровном братья пали;
В чужбине двое, а меньшей
Пронзен штыком передо мной,
Он улыбался, умирая!
Он, верно, зрел, как дева рая
К нему слетела пред концом,
Махая радужным венцом!..
И вот пошел я жить в пустыню
С последней дочерью своей.
Ее хранил я, как святыню;
Все, что имел я, было в ней:
Я взял с собою лишь ее
Да неизменное ружье.
В пещере с ней я поселился,
Родимой хижины лишен:
К беде я скоро приучился,
Давно был к воле приучен.
Но час ударил неизбежный,
И улетел птенец мой нежный!..
Однажды ночь была глухая,
Я спал... Безмолвно надо мной

Зеленой веткою махая,
Сидел мой ангел молодой.
Вдруг просыпаюсь: слышу, шепот,—
И слабый крик,— и конский топот...
Бегу и вижу — под горой
Несется всадник с быстротой,
Схватив ее в свои объятия.
Я с-ним послал свои проклятья.
О, для чего, второй гонец,
Настичь не мог их мой свинец!
С кровавым мщеньем, вот здесь скрытым,
Без сил отмстить за свой позор,
Влачусь я по горам с тех пор,
Как змей, раздавленный копытом.
И нет покоя для меня
С того мучительного дня...
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто привезет мне дочь мою?»

«Я!» — молвил витязь черноокий,
Схватившись за кинжал широкий,
И в изумлении немом
Толпа раздвинулась кругом.
«Я знаю князя! Я решился!..
Две ночи здесь ты жди меня:
Хаджи бесстрашный не садился
Ни разу даром на коня.
Но если я не буду к сроку,
Тогда обет мой позабудь,
И об душе моей пророку
Ты помолись, пускаясь в путь».

Взошла заря. Из-за туманов
На небосклоне голубом
Главы гранитных великанов
Встают увенчанные льдом.
В ущелье облако проснулось,
Как парус розовый, надулось
И понеслось по вышине.
Все дышит утром. За оврагом,
По косогору едет шагом
Черкес на борзом скакуне.

Еще ленивое светило
Росы холмов не осушило.
Со скал высоких, над путем,
Склонился дикий виноградник;
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник;
Небрежно бросив поводя,
Красивой плеткой он махает
И песню дедов иногда,
Склонясь на гриву, запекает.
И дальний отзыв за горой
Уныло вторит песни той.

Есть поворот — и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом,
Там, где красивые граниты
Рубчатым сходятся венцом.
Оттуда он, как под ногами,
Смиранный различит аул,
И пыль, поднятую стадами,
И пробужденья первый гул;
И на краю крутого ската
Отметит саклю Бей-Булата
И, как орел, с вершины гор
Вперит на крышу светлый взор.
В тени прохладной, у порога,
Лезгинка юная сидит.
Пред нею тянется дорога,
Но грустно вдаль она глядит.
Кого ты ждешь, звезда востока,
С заботой нежною такой?
Не друг ли будет издалека?
Не брат ли с битвы рековой?
От зноя утомясь дневного,
Твоя головка уж готова
На грудь высокую упасть;
Рука скользнула вдоль колена,
И неги сладостная власть
Плечо исторгнула из плена;
Отяготел твой ясный взор,
Покрывшись влагою жемчужной;
В твоих щеках как метеор
Играет пламя крови южной;
Уста волшебные твои

Зовут лобзание любви.
Немым встревожена желаньем,
Обнять ты ищешь что-нибудь,
И перси слабым трепетаньем
Хотят покровы оттолкнуть.
О, где ты, сердца друг бесценный!..
Но вот — и топот отдаленный,
И пыль знакомая взвилась,
И дева шепчет: «Это князь!»

Легко надежда утешает,
Легко обманывает глаз:
Уж близко путник подъезжает...
Увы, она его не знает
И видит только в первый раз!
То странник, в поле запоздалый.
Гостеприимный ищет кров;
Дымится конь его усталый,
И он спрыгнуть уже готов...
Спрыгни же, всадник!.. Что же он
Как будто крова испугался?
Он смотрит! Краткий, грустный стон
От губ сомкнутых оторвался,
Как лист от ветви молодой,
Измятый летнею грозой!

«Что медлишь, путник, у порога?
Слезай с походного коня.
Случайный гость — подарок бога.
Кумыс и мед есть у меня.
Ты, вижу, беден; я богата.
Почти же кровлю Бей-Булата!
Когда опять поедешь в путь,
В молитве нас не позабудь!»

Х а д ж и А б р е к

Аллах спаси тебя, Лейла!
Ты гостя лаской подарила;
И от отца тебе поклон
За то привез с собою он.

Л е и л а

Как! Мой отец? Меня поныне
В разлуке долгой не забыл?
Где он живет?

Х а д ж и А б р е к

Где прежде жил:
То в чуждой сакле, то в пустыне.

Л е и л а

Скажи: он весел, он счастлив?
Скорей ответствуй мне...

Х а д ж и А б р е к

Он жив.
Хотя порой дождям и стуже
Открыта голова его..
Но ты?

Л е и л а

Я счастлива.

Х а д ж и А б р е к

(тихо)

Тем хуже!

Л е и л а

А? что ты молвил?..

Х а д ж и А б р е к

Ничего!

Сидит пришелец за столом.
Чихирь с серебряным пшеном
Пред ним не тронуты доселе
Стоят! Он странен, в самом деле!
Как на челе его крутом
Блуждают, движутся морщины!
Рукою лет или кручины
Проведены они по нем?

Развеселить его желая,
Леила бубен свой берет;
В него перстами ударяя,
Лезгинку пляшет и поет.

Ее глаза как звезды блещут,
И груди полные трепещут;
Восторгом детским, но живым
Душа невинная объята:
Она кружится перед ним,
Как мотылек в лучах заката.
И вдруг звенящий бубен свой
Подъемлет белыми руками;
Вертит его над головой
И тихо черными очами
Поводит, — и, без слов, уста
Хотят сказать улыбкой милой:
«Развеселись, мой гость унылый!
Судьба и горе — все мечта!»

Х а д ж и А б р е к

Довольно! Перестань, Леила;
На миг веселость позабудь:
Скажи, ужель когда-нибудь
О смерти мысль не приходила
Тебя встревожить? отвечай.

Л е и л а

Нет! Что мне хладная могила?
Я на земле нашла свой рай.

Х а д ж и А б р е к

Еще вопрос: ты не грустила
О дальней родине своей,
О светлом небе Дагестана?

Л е и л а

К чему? Мне лучше, веселей
Среди нагорного тумана.
Везде прекрасен божий свет.
Отечества для сердца нет!
Оно насилья не боится,
Как птичка вырвется, умчится.
Поверь мне — счастье только там,
Где любят нас, где верят нам!

Х а д ж и А б р е к

Любовь!.. Но знаешь ли, какое
Блаженство на земле второе

Тому, кто все похоронил,
Чему он верил, что любил!
Блаженство то верней любви
И только хочет слез да крови.
В нем утешенье для людей,
Когда умрет другое счастье;
В нем преступлений сладострастье,
В нем ад и рай души моей.
Оно при нас всегда, бесменно;
То мучит, то ласкает нас...
Нет, за единый мщенья час,
Клянусь, я не взял бы вселенной!

Л е и л а

Ты бледен?

Х а д ж и А б р е к

Выслушай. Давно
Тому назад имел я брата;
И он,— так было суждено,—
Погиб от пули Бей-Булата.
Погиб без славы, не в бою,
Как зверь лесной,— врага не зная;
Но месть и ненависть свою
Он завещал мне, умирая.
И я убийцу отыскал:
И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О нет!
Он что-нибудь да в мире любит;
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!»
Свершилось наконец. Пора!
Твой час пробил еще вчера.
Смотри, уж блещет луч заката!..
Пора! я слышу голос брата.
Когда сегодня в первый раз
Я увидел твой образ нежный,
Тоскою горькой и мятежной
Душа, как адом, вся зажглась.
Но это чувство улетело...
Валлах! исполню клятву смело!

Как зимний снег в горах, бледна,
Пред ним повергнулась она
На ослабевшие колени;
Мольбы, рыданья, слезы, пени
Перед жестоким излились.
«Ох, ты ужасен с этим взглядом!
Нет, не смотри так! Отвернись!
По мне текут холодным ядом
Слова твои... О, боже мой!
Ужель ты шутишь надо мной?
Ответствуй! ничего не значат
Невинных слезы пред тобой?
О, сжался!.. Говори — как плачут
В твоей родимой стороне?
Погибнуть рано, рано мне!..
Оставь мне жизнь! оставь мне младость!
Ты знал ли, что такое радость?
Бывал ли ты во цвете лет
Любим, как я?.. О, верно, нет!»

Хаджи в молчанье роковом
Стоял с нахмуренным челом.

«В твоих глазах ни сожаленья,
Ни слез, жестокий, не видать!..
Ах!.. Боже! Ай!.. дай подождать!..
Хоть час один... одно мгновенье!!»

Блеснула пашка. Раз — и два!
И покатила голова...
И окровавленной рукою
С земли он приподнял ее.
И острой пашки лезвеё
Обтер волнистою косою.
Потом, бездушное чело
Одевши буркою косматой,
Он вышел и прыгнул в седло.
Послушный конь его, объятый
Внезапно страхом неземным,
Храпит и пенится под ним:
Щетиной грива, — ржет и пышет,
Грызет стальные удила,
Ни слов, ни повода не слышит
И мчится в горы как стрела.

Заря бледнеет; поздно, поздно,
Сырая ночь недалеко!
С вершин Кавказа тихо, грозно
Ползут, как змеи, облака:
Игру бессвязную заводят,
В провалы душные заходят,
Задев колючие кусты,
Бросают жемчуг на листы.
Ручей катится — мутный, серый;
В нем пена бьет из-под травы;
И блещет сквозь туман пещеры,
Как очи мертвой головы.
Скорее, путник одинокой!
Закройся буркою широкой,
Ремянный повод натяни,
Ремянной плеткою махни.
Тебе вослед еще не мчится
Ни горный дух, ни дикий зверь,
Но если можешь ты молиться,
То не мешало бы — теперь.

«Скачи, мой конь! Пугливым оком
Зачем глядишь перед собой?
То камень, сглаженный потоком!..
То змей блистает чешуей!..
Твою гривой в поле брани
Стирал я кровь с могучей длани;
В степи глухой, в недобрый час,
Уже не раз меня ты спас.
Мы отдохнем в краю родном;
Твою уздечку еще боле
Обвешу русским серебром;
И будешь ты в зеленом поле.
Давно ль, давно ль ты изменился,
Скажи, товарищ дорогой?
Что рано пеною покрылся?
Что тяжело дышишь подо мной?
Вот месяц выйдет из тумана,
Верхи дерев осеребрят,
И нам откроется поляна,
Где наш аул во мраке спит;
Заблещут, издали мелькая,
Огни джемаатских пастухов,
И различим мы, подъезжая,

Глухое ржанье табунов;
И кони вокруг тебя столпятся...
Но стоит мне лишь приподняться,
Они в испуге захрапят,
И все шарахнутся назад;
Они почуют издалека,
Что мы с тобою дети рока!..»

Долины ночь еще объемлет,
Аул Джемат спокойно дремлет;
Один старик лишь в нем не спит.
Один, как памятник могильный,
Недвижим, близ дороги пыльной,
На сером камне он сидит.
Его глаза на путь далекой
Устремлены с тоской глубокой.

«Кто этот всадник! Бережливо
Съезжает он с горы крутой;
Его товарищ долгогривый
Поник усталой головой.
В руке, под буркою дорожной,
Он что-то держит осторожно
И бережет как свет очей».
И думает старик согбенный:
«Подарок, верно, драгоценный
От милой дочери моей!»

Уж всадник близок: под горою
Коня он вдруг остановил;
Потом дрожащею рукою
Он бурку темную открыл;
Открыл, — и дар его кровавый
Скатился тихо на траву.
Несчастный видит, — боже правый!
Своей Леилы голову!..
И он, в безумном восхищенье,
К своим устам ее прижал!
Как будто ей передавал
Свое последнее мученье.
Всю жизнь свою в единый стон,
В одно лобзанье вылил он.
Довольно люди <и> печали
В нем сердце бедное терзали!

Как нить, истлевшая давно,
Разорвалось вдруг оно,
И неподвижные морщины
Покрылись бледностью кончины.
Душа так быстро отлетела,
Что мысль, которой до конца
Он жил, черты его лица
Совсем оставить не успела.

Молчанье мрачное храня,
Хаджи ему не подивился:
Взглянул на шашку, на коня —
И быстро в горы удалился.

Промчался год. В глухой теснине
Два трупа смрадные, в пыли,
Блуждая, путники нашли
И схоронили на вершине.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятие на их челе.
Обнявшись крепко, на земле
Они лежали, костенея,
Два друга с виду — два злодея!
Быть может, то одна мечта,
Но бедным странникам казалось,
Что их лицо порой менялось,
Что всё грозили их уста.
Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал:
В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал.

БОЯРИН ОРША

ГЛАВА I

Then burst her heart in one long shriek,¹
And to the earth she fell like stone
Or statue from its base o'erthrown.

*Byron*¹

Во время оно жил да был
В Москве боярин Михаил,
Прозваньем Орша. Важный сан
Дал Орше Грозный Иоанн;
Он дал ему с руки своей
Кольцо, наследие царей;
Он дал ему в веселый миг
Соболью шубу с плеч своих;
В день воскресения Христа
Поцеловал его в уста
И обещался в тот же день
Дать тридцать царских деревень
С тем, чтобы Орша до конца
Не отлучался от дворца.

Но Орша нравом был угрюм;
Он не любил придворный шум,
При виде трепетных льстцов
Щипал концы седых усов,
И раз, опричным огорчен,

¹ Тогда сердце ее разорвалось в одном протяжном крике,
И на землю она упала, как камень
Или статуя, сброшенная с своего пьедестала.
Байрон (англ.).

Так Иоанну молвил он:
«Надежда-царь!» пусти меня
На родину — я день от дня
Все старе — даже не могу
Обиду выместить врагу:
Есть много слуг в дворце твоём.
Пусти меня! — мой старый дом
На берегу Днепра крутом
Близ рубежа Литвы чужой
Оброс могильною травой;
Пробудь я здесь ещё хоть год,
Он догниет — и упадет;
Дай поклониться мне Днепру...
Там я родился — там умру!»

И он узрел свой старый дом.
Покои темные кругом
Уставил златом и серебром;
Икону в ризе дорогой
В алмазах, в жемчуге, с резьбой
Повесил в каждом он углу,
И запестрелись на полу
Узоры шелковых ковров.
Но лучше царских всех даров
Был божий дар — младая дочь;
Об ней он думал день и ночь,
В его глазах она росла
Свежа, невинна, весела,
Цветок грядущего святой,
Былого памятник живой!
Так средь развалин иногда
Растет береза: молода,
Мила над плитами гробов
Игрою шепчущих листов,
И та холодная стена
Ее красой оживлена!..

• • • • •

Туманно в поле и темно,
Одно лишь светится окно
В боярском доме — как звезда
Сквозь тучи смотрит иногда.
Тяжелый звякнул уж затвор,
Угрюм и пуст широкий двор.

Вот, испытав замки дверей,
С гремучей связкою ключей
К калитке сторож подошел
И взоры на небо возвел:
«А завтра быть грозе большой! —
Сказал, крестьясь, старик седой, —
Смотри-ка, молния вдали
Так и доходит до земли,
И белый месяц, как монах,
Завернут в черных облаках;
И воет ветер, будто зверь.
Дай кучу злата мне теперь,
С конюшни лучшего коня
Сейчас седлайте для меня —
Нет, не отъеду от крыльца
Ни для родимого отца!» —
Так рассуждая сам с собой,
Кряхтя, старик пошел домой.
Лишь вдалеке едва гремят
Его ключи — вокруг палат
Все снова тихо и темно,
Одно лишь светится окно.

Все в доме спит — не спит один
Его угрюмый властелин
В покое пышном и большом
На ложе бархатном своем.
Полусгоревшая свеча
Пред ним, сверкая и треща,
Порой на каждый льет предмет
Какой-то странный полусвет.
Висят над ложем образа;
Их ризы блещут, их глаза
Вдруг оживляются, глядят —
Но с чем сравнить подобный взгляд?
Он непонятней и страшней
Всех мертвых и живых очей!
Томит боярина тоска;
Уж поздно. Под окном река
Шумит — и с бурей заодно
Гремучий дождь стучит в окно.
Чернеет тень во всех углах —
И — странно — Оршу обнял страх!
Бывал он в битвах, хоть и стар,

Против поляков и татар,
Слышал он грозный царский глас,
Встречал и взор, в недобрый час;
Ни разу дух его крутой
Не ослабел перед бедой;
Но тут — он свистнул, и взошел
Любимый раб его, *Сокол*.

И молвил Орша: «Скучно мне,
Всё думы черные одне.
Садись поближе на скамью
И речью грусть рассей мою...
Пожалуй, сказку ты начни
Про прежние золотые дни,
И я, припомнив старину.
Под говор слов твоих засну».

И на скамью присел Сокол,
И речь такую он завел:

«Жил-был за тридевять земель
В тридцатом княжестве отсель
Великий и премудрый царь.
Ни в наше времечко, ни встарь
Никто не видывал пышной
Его палат — и много дней
В веселье жизнь его текла,
Покуда дочь не подросла.

Тот царь был слаб и хил и стар,
А дочь непрочный ведь товар!
Ее, как лучший свой алмаз,
Он скрыл от молодецких глаз;
И на его царевну-дочь
Смотрел лишь день да темна ночь,
И целовать красотку мог
Лишь перелетный ветерок.

И царь тот раза три на дню
Ходил смотреть на дочь свою;
Но вздумал вдруг он в темну ночь
Взглянуть, как спит младая дочь.
Свой ключ серебряный он взял,
Сапожки шелковые снял,

И вот приходит в башню ту,
Где скрыл царевну-красоту!..

Вошел — в светлице тишина;
Дочь сладко спит, но не одна;
Припав на грудь ее главой,
С ней царский конюх молодой.
И прогневился царь тогда,
И повелел он без суда
Их вместе в бочку засмолить
И в сине море укатить...»

И быстро на устах раба,
Как будто тайная борьба
В то время совершалась в нем,
Улыбка вспыхнула — потом
Он очи на небо возвел,
Вздыхнул и смолк. «Ступай, Сокол! —
Махнув дрожащею рукой,
Сказал боярин, — в час иной
Расскажешь сказку до конца
Про оскорбленного отца!»

И по морщинам старика,
Как тени облака, слегка
Промчались тени черных дум,
Встревоженный и быстрый ум
Вблизи предвидел много бед.
Он жил: он знал людей и свет,
Он злом не мог быть удивлен;
Добру ж давно не верил он,
Не верил только потому,
Что верил некогда всему!

И вспыхнул в нем остаток сил,
Он с ложа мягкого вскочил,
Соболью шубу на плеча
Накинул он — в руке свеча,
И вот, дрожа, идет скорей
К светлице дочери своей.
Ступени лестницы крутой
Под тяжкою его стопой
Скрыпят — и свечка раза два
Из рук не выпала едва.

Он видит, няня в уголке
Сидит на старом сундуке
И спит глубоко и порой
Во сне качает головой;
На ней, предчувствием объят,
На миг он удержал свой взгляд
И мимо — но послыша стук,
Старуха пробудилась вдруг,
Перекрестилась и потом
Опять заснула крепким сном,
И, занята своей мечтой,
Вновь закачала головой.

Стоит боярин у дверей
Светлицы дочери своей,
И чутким ухом он приник
К замку — и думает старик:
«Нет! непорочна дочь моя,
А ты, Сокол, ты раб, змея,
За дерзкий, хитрый свой намек
Получишь гибельный урок!»
Но вдруг... о горе, о позор!
Он слышит тихий разговор!..

1 - й г о л о с

О! погоди, Арсений мой!
Вчера ты был совсем другой.
День без меня — и миг со мной?..

2 - й г о л о с

Не плач... утешься! — близок час
И будет мир ничто для нас.
В чужой, но близкой стороне
Мы будем счастливы одне,
И не раба обнимешь ты
Среди полночной темноты.
С тех пор, ты помнишь, как чернец
Меня привез и твой отец
Вручил ему свой кошелек,
С тех пор, задумчив, одинок,
Тоской по вольности томим,
Но нежным голосом твоим
И блеском ангельских очей
Прикован у тюрьмы моей,

Задумал я свой край родной
Навек оставить, но с тобой!..
И скоро я в лесах чужих
Нашел товарищей лихих,
Бесстрашных, твердых, как булат.
Людской закон для них не свят,
Война их рай, а мир их ад.
Я отдал душу им в заклад,
Но ты моя — и я богат!..

И голоса замолкли вдруг.
И слышит Орша тихий звук,
Звук поцелуя... и другой...
Он вспыхнул, дверь толкнул рукой
И, исступленный и немой,
Предстал пред бледною четой...

• • • • •

Боярин сделал шаг назад,
На дочь он кинул злобный взгляд,
Глаза их встретились — и вмиг
Мучительный, ужасный крик
Раздался, пролетел — и стих.
И тот, кто крик сей услышал,
Подумал, верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой.
И тяжело на цветной ковер,
Как труп бездушный с давних пор,
Упало что-то. И на зов
Боярина толпа рабов,
Во всем послушная орда,
Шумя сбежалася тогда,
И без усилий, без борьбы
Схватили юношу рабы.

Нем и недвижим он стоял,
Покуда крепко обвивал
Все члены, как змея, канат;
В них проникал могильный хлад,
И сердце громко билось в нем
Тоской, отчаяньем, стыдом.

Когда ж безумца увели,
И шум шагов умолк вдали,

И с ним остался лишь Сокол,
Боярин к двери подошел;
В последний раз в нее взглянул;
Не вздрогнул, даже не вздохнул
И трижды ключ перевернул
В ее заржавленном замке...
Но... ключ дрожал в его руке!
Потом он отворил окно;
Все было на небе темно,
А под окном меж диких скал
Днепр беспокойный бушевал.
И в волны ключ от двери той
Он бросил сильною рукой,
И тихо ключ тот роковой
Был принят хладною рекой.

Тогда, решив свою судьбу,
Боярин верному рабу
На волны молча указал,
И тот поклоном отвечал...
И через час уж в доме том
Все спало снова крепким сном,
И только не спал в нем один
Его угрюмый властелин.

ГЛАВА II

The rest thou dost already know,
And all my sins, and half my woe,
But talk no more of penitence...

*Byron*¹

Народ кипит в монастыре;
У врат святых и на дворе
Рабы боярские стоят.
Их копыя медные горят,
Их шапки длинные кругом
Опушены густым бобром;
За кушаком блестят у них
Ножны кинжалов дорогих.

¹ Остальное тебе уже известно,
И грехи мои — целиком, и скорбь моя — паполовину,
Но не говори мне более о покаянии... *Байрон (англ.)*.

Меж них стремянный молодой,
За гриву правую рукой
Держа боярского коня,
Стоит; по временам, звеня,
Стремена бьются о бока;
Истерт ногами седока
В пыли малиновый чепрак;
Весь в мыле серый аргамак,
Мотает гривую густой,
Бьет землю жилистой ногой,
Грызет с досады удила,
И пена легкая, бела,
Чиста, как первый снег в полях,
С железа падает на прах.

Но вот обедня отошла,
Гудят, режут колокола;
Вот слышно пенье — из дверей
Мелькает длинный ряд свечей;
Вослед игумену-отцу
Монахи сходят по крыльцу
И прямо в трапезу идут:
Там грозный суд, последний суд
Произнесет отец святой
Над бедной грешной головой!

Безмолвна трапеза была.
К стене налево два стола
И пышных кресел полукруг,
Изделье иноческих рук,
Блистали тканью парчевой;
В большие окна свет дневной,
Врываясь белой полосой,
Дробясь в искры по стеклу,
Играл на каменном полу.
Резьбою мелкою стена
Была искусно убрапа,
И на двери в кружках золотых
Блистали образа святых.
Тяжелый, пизкий потолок
Расписывал как знал, как мог
Усердный инок... жалкий труд!
Отнявший множество минут

У бога, дум святых и дел:
Искусства горестный удел!..

На мягких креслах пред столом
Сидел в бездействии немом
Боярин Орша. Иногда
Усы седые, борода,
С игривым встретившись лучом,
Вдруг отливали серебром,
И часто кудри старика
От дуновенья ветерка
Приподымались слегка.
Движеньем пасмурных очей
Нередко он искал дверей,
И в нетерпении порой
Он по столу стучал рукой.

В конце противном залы той
Один, в цепях, к нему спиной,
Покрыт одеждою раба,
Стоял Арсений у столба.
Но в молодом лице его
Вы не нашли б ни одного
Из чувств, которых смутный рой
Кружится, вьется над душой
В час расставания с землей.
Хотел ли он перед врагом
Предстать с бесчувственным челом,
С холодной важностью лица
И мстить хоть этим до конца?
Иль он невольно в этот миг
Глубокой мыслию постиг,
Что он в цепи существ давно
Едва ль не лишнее звено?..
Задумчив, он смотрел в окно
На голубые небеса;
Его манила их краса;
И кудри легких облаков,
Небес серебряный покров,
Неслись свободно, быстро там,
Кидая тени по холмам;
И он увидел: у окна,
Заботой резвою полна,
Летала ласточка — то вниз,

То вверх под каменный карниз
Кидалась с дивной быстротой
И в щели пряталась сырой;
То, взвившись на небо стрелой,
Тонула в пламенных лучах...
И он вздохнул о прежних днях,
Когда он жил, страстям чужой,
С природой жизнью одной.
Блеснули тусклые глаза;
Но это блеск был — не слеза;
Он улыбнулся, но жесток
В его улыбке был упрек!

И вдруг раздался звук шагов,
Невнятный говор голосов,
Скрып отворяемых дверей...
Они! — взошли! — толпа людей
В высоких, черных клобуках,
С свечами длинными в руках.
Согбенный тягостью вериг,
Пред ними шел слепой старик,
Отец игумен. Сорок лет
Уж он не знал, что божий свет;
Но ум его был юн, богат,
Как сорок лет тому назад.
Он шел, склонясь на посох свой,
И крест держал перед собой;
И крест осыпан был кругом
Алмазами и жемчугом.
И трость игумена была
Слоновой кости, так бела,
Что лишь с седой его бородой
Могла равняться белизной.

Перекрестясь, он важно сел,
И пленника подвесьть велел,
И одного из чернецов
Позвал по имени — суров
И холоден был вид лица
Того святого чернеца.
Потом игумен, наклонясь,
Сказал боярину, смеясь,
Два слова на ухо. В ответ
На сей вопрос или совет

Кивнул боярин головой...
И вот слепец махнул рукой!
И понял данный знак монах,
Укор готовый на устах
Словами книжными убрал
И так преступнику вещал:
«Безумный, бренный сын земли!
Злой дух и страсти привели
Тебя медовою тропой
К границе жизни сей земной.
Грешил ты много, но из всех
Грехов страшней последний грех.
Простить не может суд земной,
Но в небе есть судья иной:
Он милосерд — ему теперь
При нас дела свои поверь!»

А р с е н и й

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел! — благодарю.
Не понимаю, что была
У вас за мысль? — мои дела
И без меня ты должен знать,
А душу можно ль рассказать?
И если б мог я эту грудь
Перед тобою развернуть,
Ты, верно, не прочел бы в ней,
Что я бессовестный злодей!
Пусть монастырский ваш закон
Рукою бога утвержден,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой:
Он оправдал меня — один
Он сердца полный властелин!
Когда б сквозь бедный мой наряд
Не проникал до сердца яд,
Тогда я был бы виноват.
Но всех равно влечет судьба:
И под одеждою раба,
Но полный жизнью молодой,
Я человек, как и другой.
И ты, и ты, слепой старик,
Когда б ее небесный лик
Тебе явился хоть во сне,

Ты позавидовал бы мне;
И в исступленье, может быть,
Решился б также согрешить,
И клятвы б грозные забыл,
И перенести бы счастлив был
За слово, ласку или взор
Мое мученье, мой позор!..

О р ш а

Не поминай теперь об ней;
Напрасно!.. у груди моей,
Хоть ныне поздно вижу я,
Согрелась, выросла змея!..
Но ты заплатишь мне теперь
За хлеб и соль мою, поверь.
За сердце ж дочери моей
Я заплачу тебе, злодей,
Тебе, найденыш без креста,
Презренный раб и сирота!..

А р с е н и й

Ты прав... не знаю, где рожден!
Кто мой отец и жив ли он?
Не знаю... люди говорят,
Что я тобой ребенком взят,
И был я отдан с ранних пор
Под строгий иноков надзор,
И вырос в тесных я стенах
Душой дитя — судьбой монах!
Никто не смел мне здесь сказать
Священных слов: «отец» и «мать»!
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен?
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Но нынче сам я не хочу
Предать их имя палачу
И все, что славно было б в нем,
Облить и кровью и стыдом:
Умру, как жил, твоим рабом!..

Нет, не грози, отец святой;
Чего бояться нам с тобой?
Обоих нас могила ждет...
Не все ль равно, что день, что год?
Никто уж нам не господин;
Ты в рай, я в ад — но путь один!
С тех пор как длится жизнь моя,
Два раза был свободен я:
Последний ныне. В первый раз,
Когда я жил еще у вас,
Среди молитв и пыльных книг,
Пришло мне в мысли хоть на миг
Взглянуть на пышные поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы!
И в час ночной, в ужасный час,
Когда гроза пугала нас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
При блеске молний роковых
Я убежал из стен святых;
Боязнь с одеждой кинул прочь,
Благословил и хлад и ночь,
Забыл печали бытия
И бурю братом назвал я.
Восторгом бешеным объят,
С ней унести я был бы рад,
Глазами тучи я следил,
Рукою молнии ловил!
О старец, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..

И г у м е н

На что пам знать твои мечты?
Не для того пред нами ты!
В другом ты ныне обвинен,
И хочет истины закон.
Открой же нам друзей своих,
Убийц, разбойников почных,
Которых страшные дела
Смывает кровь и кроет мгла,

С которыми, забывши честь,
Ты мнил несчастную увезть.

А р с е н и й

Мне их назвать? Отец святой,
Вот что умрет во мне, со мной.
О нет, их тайну — не мою —
Я неизменно сохраняю,
Пока земля в урочный час,
Как двух друзей, не примет нас.
Пытай железом и огнем,
Я не признаюсь ни в чем;
И если хоть минутный крик
Изменит мне... тогда, старик,
Я вырву слабый мой язык!..

М о н а х

Страшись упорствовать, глупец!
К чему? уж близок твой конец,
Скорее тайну нам предай.
За гробом есть и ад и рай,
И вечность в том или другом!..

А р с е н и й

Послушай, я забылся сном
Вчера в темнице. Слышу вдруг
Я приближающийся звук,
Знакомый, милый разговор,
И будто вижу ясный взор...
И, пробудясь во тьме, скорей
Ищу тех звуков, тех очей...
Увы! они в груди моей!
Они на сердце, как печать,
Чтоб я не смел их забывать,
И жгут его, и вновь живут...
Они мой рай, они мой ад!
Для вспоминания об них
Жизнь — ничего, а вечность — миг!

И г у м е н

Богохулитель, удержиись!
Пади на землю, плачь, молись,
Прими святую в грудь боязнь...

Мечтанья злые — божья казнь!
Молись ему...

А р с е н и й

Напрасный труд!

Не говори, что божий суд
Определяет мне конец:
Всё люди, люди, мой отец!
Пускай умру... но смерть моя
Не продолжит их бытия,
И дни грядущие мои
Им не присвоить — и в крови,
Неправой казнью пролитой,
В крови безумца молодой
Им разогреть не суждено
Сердца, увядшие давно;
И гроб без камня и креста,
Как жизнь их ни была свята,
Не будет слабым их ногам
Ступенью новой к небесам;
И тень несчастного, поверь,
Не отперет им рая дверь!..
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне!
Я молод, молод — знал ли ты,
Что значит молодость, мечты?
Или не знал? Или забыл,
Как ненавидел и любил?
Как сердце билось живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой трещине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?..
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл... ты слеп, ты сед,
И от желаний ты отвык...
Что за нужда? ты жил, старик;
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил — я также мог бы жить!..

Но тут игумен с места встал,
Речь нечестивую прервал,
И негодуя все вокруг
На гордый вид и гордый дух,
Столь непреклонный пред судьбой,
Шептались грозно меж собой,
И слово «пытка» там и там
Вмиг побежало по устам;
Но узник был невозмутим,
Бесчувственно внимал он им.
Так, бурей брошен на песок,
Худой, увязнувший челнок,
Лишенный весел и гребцов,
Недвижим ждет напор валов.

.
.
.
...Светает. В поле тишина.
Густой туман, как пелена
С посеребренной каймой,
Клубится над Днепром-рекой.
И сквозь него высокий бор,
Рассыпанный по скату гор,
Безмолвно смотрится в реке,
Едва чернея вдалеке.
И из-за тех густых лесов
Выходят стаи облаков,
А из-за них, огнем горя,
Выходит красная заря.
Блестят кресты монастыря;
По длинным башням и стенам
И по расписанным вратам,
Прекрасный, чистый и живой,
Как счастье жизни молодой,
Играет луч ее золотой.

Унылый звон колоколов
Созвал уж в храм святых отцов;
Уж дым кадил между столбов
Вился струей, и хор звучал...
Вдруг в церковь служка прибежал,
Отцу игумену шепнул
Он что-то скоро — тот вздрогнул

И молвил: «Где же казначей?
Поди спроси его скорей,
Не затерял ли он ключей!»
И казначей из алтаря
Пришел, дрожа и говоря,
Что все ключи еще при нем,
Что не виновен он ни в чем!
Засуетились чернецы,
Забегали во все концы,
И свод нередко повторял
Слова: бежал! кто? как бежал?
И в монастырскую тюрьму
Пошли один по одному,
Загадкой мучаясь простой,
Жильцы обители святой!..

Пришли, глядят: распилена
Решетка узкого окна,
Во рву притоптанный песок
Хранил следы различных ног;
Забывший на песке лежал
Стальной, зазубренный кинжал,
И польский шелковый кушак,
Изорван, скручен кое-как,
К ветвям березы под окном
Привязан крепким был узлом.

Пошли прилежно по следам;
Они вели к Днепру — и там
Могли заметить на мели
Рубец отчалившей ладьи.
Вблизи на прутьях тростника
Лоскут того же кушака
Висел, в воде одним концом,
Колеблем ранним ветерком.

«Бежал! Но кто ж ему помог?
Конечно, люди, а не бог!..
И где же он нашел друзей?
Знать, точно он большой злодей!» —
Так, собираясь, меж собой
Твердили иноки порой.

'Tis he! 'tis he! I know him now;
I know him by his pallid brow...

*Byron*¹

Зима! Из глубины снегов
Встают, чернея, пни дерёв,
Как призраки, склонясь челом
Над замерзающим Днепром.
Глядится тусклый день в стекло
Прозрачных льдин — и занесло
Овраги снегом. На заре
Лишь заяц крадется к норе
И, прыгая назад, вперед,
Свой след запутанный кладет;
Да иногда, во тьме ночной,
Раздастся псов протяжный вой,
Когда, голодный и худой,
Обходит волк вокруг гумна.
И если в поле тишина,
То даже слышны издали
Его тяжелые шаги,
И скрип, и щелканье зубов;
И каждый вечер меж кустов
Сто ярких глаз, как свечи в ряд,
Во мраке прыгают, блестя...

Но вьюги зимней не страшась,
Однажды в ранний утра час
Боярин Орша дал приказ
Собраться челяди своей,
Точить ножи, седлать коней;
И разнеслась везде молва,
Что беспокойная Литва
С толпою дерзких воевод
На землю русскую идет.
От войска русского гонцы
Во все помчались концы,
Зовут бояр и их людей
На славный пир — на пир мечей!

¹ Это он, это он! Я теперь узнаю его;
Я узнаю его по бледному челу... *Байрон (англ.)*.

Садится Орша на коня,
Дал знак рукой, гремя, звеня,
Средь вопля женщин и детей
Все повскакали на коней,
И каждый с знаменьем креста
За ним проехал в ворота;
Лишь он, безмолвный, не крестясь,
Как бусурман, татарский князь,
К своим приближась воротам,
Возвел глаза — не к небесам;
Возвел он их на терем тот,
Где прежде жил он без забот,
Где нынче ветер лишь живет
И где, качая изредка
Дверь без ключа и без замка,
Как мать качает колыбель,
Поет гульливая метель!..

*

.
.
.

Умчался дале шумный бой,
Оставя след багровый свой...
Между поверженных коней,
Обломков копий и мечей
В то время всадник разъезжал;
Чего-то, мнилось, он искал,
То низко голову склоня
До гривы черного коня,
То вдруг привстав на стременах...
Кто ж он? не русский! и не лях —
Хоть платье польское на нём
Пестрело ярко серебром,
Хоть сабля польская, звеня,
Стучала по ребрам коня!
Чела крутого смуглый цвет,
Глаза, в которых мрак и свет
В борьбе сменялися не раз,
Почти могли б уверить вас,
Что в нем кипела кровь татар...
Он был не молод — и не стар.
Но, рассмотрев его черты,

Не чуждые той красоты
Невыразимой, но живой,
Которой блеск печальный свой
Мысль неизменная дала,
Где все, что есть добра и зла
В душе, прикованной к земле,
Отражено как на стекле,—
Вздыхнувши, всякий бы сказал,
Что жил он меньше, чем страдал.

Среди долины был курган.
Корнистый дуб, как великан,
Его пятою попирал
И горделиво расстилал
Над ним по прихоти своей
Шатер чернеющих ветвей.
Тут бой ужасный закипел,
Тут и затих. Громада тел,
Обезображенных мечом,
Пестрела на кургане том,
И снег, окрашенный в крови,
Кой-где протаял до земли;
Кора на дубе вековом
Была изрублена кругом,
И кровь на ней видна была,
Как будто бы она текла
Из глубины сих новых ран...
И всадник въехал на курган,
Потом с коня он соскочил
И так в раздумье говорил:
«Вот место — мертвый иль живой
Он здесь... вот дуб — к нему спиной
Прижавшись, бешеный старик
Рубился — видел я хоть миг,
Как, окружен со всех сторон,
С пятью рабами бился он,
И дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова!..
Здесь, сквозь толпу, издалека
Я видел, как его рука
Три раза с саблей поднялась
И опустилась — каждый раз,
Когда она являлась вновь,
По ней ручьем бежала кровь...

Четвертый взмах я долго ждал!
Но с поля он не побежал,
Не мог бежать, хотя б желал!..»
И вдруг он внемлет слабый стон,
Подходит, смотрит: «Это он!»
Главу, омытую в крови,
Боярин приподнял с земли
И слабым голосом сказал:
«И я узнал тебя! узнал!
Ни время, ни чужой наряд
Не изменят зловещий взгляд
И это бледное чело,
Где преступление и зло
Печать оставили свою.
Арсений! Так, я узнаю,
Хотя могилы на краю,
Улыбку прежнюю твою
И в ней шипящую змею!
Я узнаю и голос твой
Меж звуков стороны чужой,
Которыми ты, может быть,
Его желаешь изменить.
Твой умысел постиг я весь,
Я знаю, для чего ты здесь.
Но, верный родине моей,
Не отверну теперь очей,
Хоть ты б желал, изменник-лях,
Прочесть в них близкой смерти страх,
И сожаленье, и печаль...
Но знай, что жизни мне не жаль,
А жаль лишь то, что час мой бил,
Покуда я не отомстил;
Что не могу поднять меча,
Что на руках моих, с плеча
Отмытых кровью до локтей
Злодеев родины моей,
Ни капли крови нет твоей!..»

«Старик! о прежнем позабудь..,
Взгляни сюда, на эту грудь,
Она не в ранах, как твоя,
Но в ней живет тоска-змея!
Ты отомщен вполне, давно,
А кем и как — не все ль равно?

Но лучше мне скажи, молю,
Где отыщу я дочь твою?
От рук врагов земли твоей,
Их поцелуев и мечей,
Хоть сам теперь меж ними я,
Ее спасти я поклялся!»

«Скачи скорей в мой старый дом,
Там дочь моя; ни ночь, ни днем
Не ест, не спит, все ждет да ждет,
Покуда милый не придет!
Спеши... уж близок мой конец,
Теперь обиженный отец
Для вас лишь страшен как мертвец!»
Он дальше говорить хотел,
Но вдруг язык оцепенел;
Он сделать знак хотел рукой,
Но пальцы сжались меж собой.
Тень смерти мрачной полосой
Промчалась на его челе;
Он обернул лицо к земле,
Вдруг протянулся, захрипел,
И дух от тела отлетел!

К нему Арсений подошел,
И руки сжатые развел,
И поднял голову с земли:
Две яркие слезы текли
Из побелевших мутных глаз,
Собой лишь светлы, как алмаз.
Спокойны были все черты,
Исполнены той красоты,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама,

И долго юноша над ним
Стоял, раскаяньем томим,
Невольно мысля о былом,
Прощая — не прощен ни в чем!
И на груди его потом
Он тихо распахнул кафтан:
Старинных и последних ран
На ней кровавые следы
Вились, чернели, как бразды.

Он руку к сердцу приложил,
И трепет замиравших жил
Ему неясно возвестил,
Что в буйном сердце мертвеца
Кипели страсти до конца,
Что блеск печальный этих глаз
Гораздо прежде их погас!..

Уж время шло к закату дня.
И сел Арсений на коня,
Стальные шпоры он в бока
Ему вонзил — и в два прыжка
От места битвы роковой
Он был далеко. Пеленой
Широкою за ним луга
Тянулись: яркие снега
При свете косвенных лучей
Сверкали тысячью огней.
Пред ним стеной знакомый лес
Чернеет на краю небес;
Под сень деревьев въезжает он:
Все тихо, всюду мертвый сон,
Лишь иногда с седого пня,
Послыша близкий храп коня,
Тяжелый ворон, царь степной,
Слетит и сядет на другой,
Свой кровожадный чистя клев
О сучья жесткие дерев;
Лишь отдаленный вой волков,
Бегущих жадною толпой
На место битвы роковой,
Терялся в тишине степей...
Сыпучий иней вокруг ветвей
Берез и сосен, над путем
Прозрачным свившихся шатром,
Висел косматой бахромой;
И часто шапкой иль рукой
Когда за них он задевал,
Прах серебрястый осыпал
Его лицо... и быстро он
Скакал, в раздумье погружен.
Измучил непривычный бег
Его коня — в глубокий снег
Он вязнет часто... труден путь!

Как печь, его дымится грудь,
От нетерпенья седока
В крови и пене все бока.
Но близко, близко... вот и дом
На берегу Днепра крутом
Пред ним встает из-за горы,
Заборы, избы и дворы
Приветливо между собой
Теснятся пестрою толпой,
Лишь дом боярский между них,
Как призрак, сумрачен и тих!..

Он въехал на широкий двор.
Все пусто... будто глад иль мор
Недавно пировали в нем.
Он слез с коня, идет пешком...
Толпа играющих детей,
Испуганных огнем очей,
Одеждой чуждой пришлеца
И бледностью его лица,
Его встречает у крыльца
И с криком убегает прочь...
Он входит в дом — в покоях ночь,
Закреты ставни, пол скрипит,
Пустая утварь дребезжит
На старых полках; лишь порой
Широкой, белой полосой
Рисуясь на печи большой,
Проходит в трещину ставней
Холодный свет дневных лучей!

И лестницу Арсений зрит
Сквозь сумрак; он бежит, летит
Наверх, по шатким ступеням,
Вот свет блеснул его очам,
Пред ним замерзшее окно:
Оно давно растворено,
Сугробом собрался большим
Снег, не растаявший под ним.
Увы! знакомые места!
Налево дверь — но заперта.
Как кровью, ржавчиной покрыт,
Большой замок на ней висит,
И, вынув нож из кушака,

Он всунул в скважину замка,
И, затрещав, распался тот...
И тихо дверь толкнул вперед,
Он входит робкою стопой
В светлицу девы молодой.

Он руку с трепетом простер,
Он ищет взором милый взор,
И слабый шепчет он привет:
На взгляд, на речь ответа пет!
Однако смято ложе сна,
Как будто бы на нем она
Тому назад лишь день, лишь час
Главу покоила не раз,
Младенческий вкушая сон.
Но, приближаясь, видит он
На тонких белых кружевах
Чернеющий слоями прах,
И ткани паутин седых
Вкруг занавесок парчевых.

Тогда в окно светлицы той
Упал заката луч златой,
Играя, на ковер цветной;
Арсений голову склонил...
Но вдруг затрясся, отскочил
И вскрикнул, будто на змею
Поставил он пяту свою...
Увы! теперь он был бы рад,
Когда б быстрее, чем мысль иль взгляд,
В него проник смертельный яд!..

Громаду белую костей
И желтый череп без очей
С улыбкой вечной и немой —
Вот что узрел он пред собой.
Густая, длинная коса,
Плеч бedomраморных краса,
Рассыпавшись, к сухим костям
Кой-где прилипнула... и там,
Где сердце чистое такой
Любовью билось огневой,
Давно без пищи уж бродил
Кровавый червь — жилец могил!

.

«Так вот все то, что я любил!
Холодный и бездушный прах,
Горевший на моих устах,
Теперь без чувства, без любви
Сожмут объятия земли.
Душа прекрасная ее,
Приняв другое бытие,
Теперь парит в стране святой.
И как укор передо мной
Ее минутной жизни след!
Она погибла в цвете лет
Средь тайных мук иль без тревог,
Когда и как, то знает бог.
Он был отец — но был мой враг:
Тому свидетель этот прах,
Лишенный сени гробовой,
На свете признанный лишь мной!

Да, я преступник; я злодей —
Но казнь равна ль вине моей?
Ни на земле, ни в свете том
Нам не сойтись одним путем...
Разлуки первый грозный час
Стал веком, вечностью для нас;
О, если б рай передо мной
Открыт был властью неземной,
Клянусь, я прежде, чем вступил,
У врат священных бы спросил,
Найду ли там среди святых
Погибший рай надежд моих.
Творец! отдай ты мне назад
Ее улыбку, нежный взгляд,
Отдай мне свежие уста
И голос сладкий, как мечта,
Один лишь слабый звук отдай...
Что без нее земля и рай?
Одни лишь звучные слова,
Блестящий храм — без божества!..

Теперь осталось мне одно:
Иду! — куда? не все ль равно,
Та иль другая сторона?
Здесь прах ее, но не она!
Иду отсюда навсегда

Без дум, без цели и труда,
Один с тоской во тьме ночной,
И вьюга след завает мой!..»

1835—1836

САШКА

Правственная поэма

1

Наш век смешон и жалок, — все пиши
Ему про казни, цепи да изгпанья,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страданья.
Такие вещи очень хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто дни свои в воспоминаньях губит.
Впадал я прежде в эту слабость сам
И видел от нее лишь вред глазам;
Но нынче я не тот уж, как бывало, —
Пою, смеюсь. Герой мой добрый малый.

2

Он был мой друг. С ним я не знал хлопот,
С ним чувствами и деньгами делился;
Он брал на месяц, отдавал чрез год,
Но я за то нимало не сердился
И поступал не лучше в свой черед;
Печален ли, бывало, тотчас скажет,
Когда же весел, счастлив — глаз не кажет.
Не раз от скуки он свои мечты
Мне поверял и говорил мне «ты»;
Хвалил во мне, что прочие хвалили,
И был мой вечный визави в кадрили,

3

Он был мой друг. Уж нет таких друзей...
 Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
 Пусть спит оно в земле чужих полей,
 Не тронута никем, как дружба наша
 В немом кладбище памяти моей.
 Ты умер, как и многие, без шума,
 Но с твердостью. Таинственная дума
 Еще блуждала на челе твоём,
 Когда глаза сомкнулись вечным сном;
 И то, что ты сказал перед кончиной,
 Из слушавших не понял ни единый.

4

И было ль то привет стране родной,
 Название ли оставленного друга,
 Или тоска по жизни молодой,
 Иль просто крик последнего недуга —
 Как разгадать? Что может в час такой
 Наполнить сердце, жившее так много
 И так недолго с смутною тревогой?
 Один лишь друг умел тебя понять
 И ныне может, должен рассказать
 Твои мечты, дела и приключения —
 Глупцам в забаву, мудрым в поученье.

5

Будь терпелив, читатель милый мой!
 Кто б ни был ты: внук Евы или Адама,
 Разумник ли, шалун ли молодой, —
 Картина будет; это — только рама!
 От правил, утвержденных стариной,
 Не отступлю, — я уважаю строго
 Всех стариков, а их теперь так много...
 Не правда ль, кто не стар в осьмнадцать лет,
 Тот, верно, не видал людей и свет,
 О наслажденьях знает лишь по слухам
 И предан был учителям да мукам,

6

Герой наш был москвич, и потому
 Я враг Неве и невскому туману.
 Там (я весь мир в свидетели возьму)
 Веселье вредно русскому карману,
 Заняття вредны русскому уму.
 Там жизнь грязна, пуста и молчалива,
 Как плоский берег Финского залива.
 Москва — не то: покуда я живу,
 Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.
 Там я впервые в дни надежд и счастья
 Был болен от любви и любострастья.

7

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
 Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
 Люблю священный блеск твоих седин
 И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
 Напрасно думал чуждый властелин
 С тобой, столетним русским великаном,
 Померяться главою и обманом
 Тебя низвергнуть. Тщетцо поражал
 Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
 Вселенная замолкла... Величавый,
 Один ты жив, наследник нашей славы.

8

Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой —
 Заветное преданье поколений.
 Бывало, я у башни угловой
 Сижу в тени, и солнца луч осенний
 Играет с мохом в трещине сырой,
 И из гнезда, прикрытого карнизом,
 Касатки вылетают, верхом, низом
 Кружатся, вьются, чуждые людей.
 И я, так полный волею страстей,
 Завидовал их жизни безызвестной,
 Как упованье вольной поднебесной.

Я не философ — боже сохрани! —
 И не мечтатель. За полетом пташки
 Я не гонюсь, хотя в былые дни
 Не вовсе чужд был глупой сей замашки.
 Ну, муза,— ну, скорее,— разверни
 Запачканный листок свой подорожный!..
 Не завирайся,— тут зоил безбожный...
 Куда теперь нам ехать из Кремля?
 Ворот ведь много, велика земля!
 Куда? «На Пресню погоняй, извозчик!»
 «Старуха, прочь!.. Сворачивай, разносчик!»

10

Луна катится в зимних облаках,
 Как щит варяжский или сыр голландской.
 Сравненье дерзко, но люблю я страх
 Все дерзости, по вольности дворянской.
 Спокойствия рачитель на часах
 У будки пробудился, восклицая:
 «Кто едет?» — «Муза!» — «Что за черт! Какая?»
 Ответа нет. Но вот уже пруды...
 Белеет мост, по сторонам сады
 Под инеем пушистым спят унылы;
 Луна сребрит железные перилы,

11

Гуляка праздный, пьяный молодец,
 С осанкой важной, в фризовой шинели,
 Держась за них, бредет — и вот конец
 Перилам. «Всё направо!» Заскрипели
 Полозья по сугробам, как резец
 По мрамору... Лачуги, цепью длинной
 Мелькая мимо, кланяются чинно...
 Вдали мелькнул знакомый огонек...
 «Держи к воротам... Стой,— сугроб глубок!..
 Пойдем по снегу, муза, только тише
 И платье подними как можно выше».

Калитка — скрип... Двор темен. По доскам
 Идти неловко... Вот насилиу сени
 И лестница; но снегом по местам
 Занесена. Дрожащие ступени
 Грозят мгновенно изменить ногам.
 Взошли. Толкнули дверь — и свет огарка
 Ударил в очи. Толстая кухарка,
 Прищурясь, заграждает путь гостям
 И вопрошает: «Что угодно вам?» —
 И, услышав ответ красноречивый,
 Захлопнув дверь, бранится неучтиво...

Но, несмотря на это, мы взойдем:
 Вы знаете, для музы и поэта,
 Как для хромого беса, каждый дом
 Имеет вход особый; ни секрета,
 Ни запрещенья нет для нас ни в чем...
 У столика, в одном углу светлицы,
 Сидели две... девицы — не девицы...
 Красавицы... название тут как раз!..
 Чем выгодней, узнать прошу я вас
 От наших дам, в деревне и столице
 Красавицею быть или девицей?

Красавицы сидели за столом,
 Раскладывая карты, и гадали
 О будущем. И ум их видел в нем
 Надежды (то, что мы и все видали).
 Свеча горела трепетным огнем,
 И часто, вспыхнув, луч ее мгновенный
 Вдруг обливал и потолок и стены,
 В углу переднем фольга образов
 Тогда меняла тысячу цветов,
 И верба, наклоненная над ними,
 Блистала вдруг листьями золотыми.

Одна из них (красавица) не вполне
 Была прекрасна, но зато другая..,
 О, мы таких видали лишь во сне,
 И то заснув — о небесах мечтая!
 Слегка головку приклонив к стене
 И устремив на столик взор прилежный,
 Она сидела несколько небрежно.
 В ответ на речь подруги иногда
 Из уст ее пустое «нет» иль «да»
 Едва скользило, если предсказанья
 Премудрой карты стоили вниманья.

Она была затейливо мила,
 Как польская затейливая панна;
 Но вместе с этим гордый вид чела
 Казался ей приличен. Как Сусанна,
 Она б на суд неправедный пошла
 С лицом холодным и спокойным взором;
 Такая смесь не может быть укором.
 В том вы должны поверить мне в кредит,
 Тем боле что отец ее был жид,
 А мать (как помню) полька из-под Праги..
 И лжи тут нет, как в том, что мы — варяги.

Когда Суворов Прагу осаждал,
 Ее отец служил у нас шпионом,
 И раз, как он украдкою гулял
 В мундире польском вдоль по бастионам,
 Неловкий выстрел в лоб ему попал.
 И многие, вздохнув, сказали: «Жалкой,
 Несчастный жид, — он умер не под палкой!»
 Его жена пять месяцев спустя
 Произвела на божий свет дитя,
 Хорошенькую Тирзу. Имя это
 Дано по воле одного корнета,

Под рубищем простым она росла
 В невежестве, как травка полевая
 Проходим не замечена, — ни зла,
 Ни гордой добродетели не зная.
 Но час настал — пора любви пришла.
 Какой-то смертный ей сказал два слова!
 Она в объятия божества земного
 Упала; но увы, прошло дней шесть,
 Уж полубог успел ей надоесть;
 И с этих пор, чтоб избежать ошибки,
 Она дарила всем свои улыбки...

Мечты любви умчались, как туман.
 Свобода стала ей всего дороже.
 Обманом сердце платит за обман
 (Я так слышал, и вы слышали тоже).
 В ее лице характер южных стран
 Изображался резко. Не наемный
 Огонь горел в очах; без цели, томно,
 Покрыты светлой влагой, иногда
 Они блуждали, как порой звезда
 По небесам блуждает, — и, конечно,
 Был это знак тоски немой, сердечной.

Безвестная печаль сменялась вдруг
 Какою-то веселостью недужной...
 (Дай бог, чтоб всех томил такой недуг!)
 Волной вставала грудь, и пламень южный
 В ланитах рделся, белый полукруг
 Зубов жемчужных быстро открывался;
 Головка поднималась, развивался
 Душистый локон, и на лик молодой
 Катился, лоснясь, черною струей;
 И ножка, разрезваясь, не зная плена,
 Бесстыдно обнажалась до колена,

Когда шалунья навзничь на кровать,
 Шутя, смеясь, роскошно упадала,
 Не спору, мудроно ее понять, —
 Она сама себя не понимала, —
 Ей было трудно сердцу приказать,
 Как баловню-ребенку. Надо было
 Кому-нибудь с неведомою силой
 Явиться и приветливой душой
 Его согреть... Явился ли герой,
 Или вотще остался ожидаем,
 Все это мы со временем узнаем.

Теперь к ее подруге перейдем,
 Чтоб выполнить начатую картину.
 Они недавно жили тут вдвоем,
 Но души их сливались во едину
 И мысли их встречались во всем.
 О, если б знали, сколько в этом званье
 Сердце отличных, добрых! Но вниманье
 Увлечено блистаньем модных дам.
 Вздыхая, мы бежим по их следам...
 Увы, друзья, а павайте справки,
 Вся прелесть их... в кредит из модной лавки!

Она была свежа, бела, кругла,
 Как снежный шарик; щеки, грудь и шея,
 Когда она смеялась или плала,
 Дрожали сладострастно; не краснея,
 Она на жертву прихоти несла
 Свои красы. Широко и неловко
 На ней сидела юбка; но плутовка
 Поднять умела грудь, открыть плечо,
 Ласкать умела буйно, горячо
 И, хитро передразнивая чувства,
 Слыла царицей своего искусства...

Она звалась Варюшею. Но я
 Желал бы ей другое дать название:
 Скажу ль, при этом имени, друзья,
 В груди моей шипит воспоминаье,
 Как под ногой прижатая змея;
 И ползает, как та среди развалин,
 По жилам сердца. Я тогда печален,
 Сердит, — молчу или браню весь дом,
 И рад прибить за слово чубуком.
 Итак, для избежанья зла, мы нашу
 Варюшу здесь перекрестим в Парашу.

Увы, минувших лет безумный сон
 Со смехом повторить не смеет лира!
 Живой водою печали окроплен,
 Как труп давно застывшего вампира,
 Грозя перстом, поднялся молча он,
 И мысль к нему прикована... Ужели
 В моей груди изгладить не успели
 Столь много лет и столько мук иных —
 Волшебный стан и пару глаз больших?
 (Хоть, признаюсь вам, разбирая строго,
 Получше их видал я после много.)

Да, много лет и много горьких мук
 С тех пор отяготело надо мною;
 Но первого восторга чудный звук
 В груди не умирает, — и порою,
 Сквозь облако забот, когда недуг
 Мой слабый ум томит неугомонно,
 Ее глаза мне светят благосклонно.
 Так в час ночной, когда гроза шумит
 И бродят облака, — звезда горит
 В дали эфирной, не боясь их злости,
 И шлет свои лучи на землю в гости.

Пред нагоревшей сальной свечой
 Красавицы, раздумавшись, сидели,
 И заставлял их вздрагивать порой
 Унылый свист играющей метели,
 И как и вам, читатель милый мой,
 Им стало скучно... Вот, вместо знака
 Условного, залаяла собака,
 И у калиткибрякнуло кольцо.
 Вот чей-то голос... Идут на крыльцо...
 Параша потянулась и зевнула
 Так, что едва не бухнулась со стула,

А Тирза быстро выбежала вон,
 Открылась дверь. В плаще, закидан снегом,
 Явился гость. Насмешливый поклон
 Отвесил и, как будто долгим бегом
 Или волненьем был он утомлен,
 Упал на стул... Заботливой рукою
 Сняла Параша плащ, потом другою
 Страхнула иней с шелковых кудрей
 Пришельца. Видно, нравился он ей...
 Все нравится, что молодо, красиво
 И в чем мы видим прибыль особливо.

Он ловок был, со вкусом был одет,
 Изящно был причесан и так дале.
 На пальцах перстни изливали свет,
 И галстук надушен был, как на бале.
 Ему едва ли было двадцать лет,
 Но бледностью казались покрыты
 Его чело и нежные лавиты, —
 Не знаю, мук ли то последних след,
 Но мне давно знаком был этот цвет, —
 И на устах его, опасней жала
 Змеи, насмешка вечная блуждала,

Заметно было в нем, что с ранних дней
 В кругу хорошем, то есть в модном свете,
 Он обжился, что часть своих ночей
 Он убивал бесплодно на паркете
 И что другую тратил не умней...
 В глазах его открытых, но печальных,
 Нашли бы вы без наблюдений дальних
 Презренье, гордость; хоть он не был горд,
 Как глупый турок иль богатый лорд,
 Но все-таки себя в числе двуногих
 Он почитал умнее очень многих.

Борьба рождает гордость. Воевать
 С людскими предрассудками труднее,
 Чем тигров и медведей поражать
 Иль со штыком на вражьей батарее
 За белый крестик жизнью рисковать...
 Клянусь, иметь великий надо гений,
 Чтоб разом сбросить цепь предубеждений,
 Как сбросил бы я платье, если б вдруг
 Из севера всевышний сделал юг.
 Но ныне нас противное пугает:
 Неаполь мерзнет, а Нева не тает.

Да кто же этот гость?.. Pardon, сейчас!..
 Рассеянность... Monsieur, рекомендую:
 Герой мой, друг мой — Сашка!.. Жаль для вас,
 Что случай свел в минуту вас такую
 И в этом месте... Верьте, я не раз
 Ему твердил, что эти посещения
 О нем дадут весьма дурное мнение.
 Я говорил, — он слушал, он был весь
 Вниманье... Глядь, а вечером уж здесь!..
 И я нашел, что мне его исправить
 Труднее в прозе, чем в стихах прославить.

Герой мой Сашка тихо развязал
 Свой галстук... «Сашка» — старое названье!
 Но «Сашка» тот печати не видал,
 И, нездоровый, он угас в изгнание.
 Мой Сашка меж друзей своих не знал
 Другого и́мя, — дурно ль, хорошо ли,
 Разуверять друзей не в нашей воле.
 Он галстук снял, рассеянно перстом
 Провел по лбу, поморщился, потом
 Спросил: «Где Тирза?» — «Дома». — «Что ж
 не видно
 Ее?» — «Уснула». — «Как ей спать не стыдно!»

И он поспешно входит в тот покой,
 Где часто с Тирзой пламенные ночи
 Он проводил... Все полно тишиной
 И сумраком волшебным; прямо в очи
 Недвижно смотрит месяц золотой
 И на стекле в узоры ледяные
 Кидает искры, блески огневые,
 И голубым сиянием стена
 Игриво и светло озарена.
 И он (не месяц, но мой Сашка) слышит,
 В углу на ложе кто-то слабо дышит.

Он руку протянул, — его рука
 Попала в стену; протянул другую —
 Ощупал тихо кончик башмачка.
 Схватил потом и ножку, но какую?!
 Так миньятюрна, так нежна, мягка
 Кажалась эта ножка, что невольно
 Подумал он, не сделал ли ей больно.
 Меж тем рука все далее ползет,
 Вот круглая коленочка... и вот,
 Вот — для чего смеетесь вы заране? —
 Вот очутилась на двойном кургане...

Блаженная минута!.. Закипел
 Мой Александр, склонившись к деве спящей.
 Он поцелуй на грудь напечатлел
 И стан ее обвил рукой дрожащей.
 В самозабвенье пылком он не смел
 Дохнуть... Он думал: «Тирза дорогая!
 И жизнью и чувствами играя,
 Как ты, я чужд общественных связей,—
 Как ты, один с свободой моей,
 Не знаю в людях ни врага, ни друга,—
 Живу, чтоб жить как ты, моя подруга!

Судьба вчера свела случайно нас,
 Случайно завтра разведет навечно,—
 Не все ль равно, что год, что день, что час,
 Лишь только б я провел его беспечно?..»
 И не сводил он ярких черных глаз
 С своей жидовки и не знал, казалось,
 Что резвое создание притворялось.
 Меж тем почла за нужное она
 Проснуться и была удивлена,
 Как надлежало... (Страх и удивленье
 Для женщин в важных случаях спасенье.)

И, прежде потеряв глаза рукой,
 Она спросила: «Кто вы?» — «Я, твой Саша!»
 «Неужто?.. Видишь, баловник какой!
 Ступай, давно там ждет тебя Параша!..-
 Нет, надо разбудить меня... Постой.
 Я отомщу». И за руку схватила
 Его проворно и... и укусила,
 Хоть это был скорее поцелуй.
 Да, мерзкий критик, что ты ни толкуй,
 А есть уста, которые украдкой
 Кусать умеют сладко, очень сладко!..

Когда бы Тирзу видел Соломон,
 То, верно б, свой престол украсил ею, —
 У ног ее и царство, и закон,
 И славу позабыл бы... Но не смею
 Вас уверять, затем, что не рожден
 Владыкой, и не знаю, в низкой доле,
 Как люди ценят вещи на престоле;
 Но знаю только то, что Сашка мой
 За целый мир не отдал бы порой
 Ее улыбку, щечки, брови, глазки,
 Достойные любой восточной сказки.

«Откуда ты?» — «Не спрашивай, мой друг!
 Я был на бале!» — «Бал! а что такое?»
 «Невежда! это — говор, шум и стук,
 Толпа глупцов, веселье городское, —
 Наружный блеск, обманчивый недуг;
 Кружатся девы, чванятся нарядом,
 Притворствуют и голосом и взглядом.
 Кто ловит душу, кто пять тысяч душ...
 Все так невинны, но я им не муж.
 И как ни уважаю добродетель,
 А здесь мне лучше, в том луна свидетель».

Каким-то новым чувством смущена,
 Его слова еврейка поглощала.
 Сначала показалась ей смешна
 Жизнь городских красавиц, но... сначала.
 Потом пришло ей в мысль, что и она
 Могла б кружиться ловко пред толпою,
 Терзать мужчин надменной красотой,
 В высокие смотреться зеркала
 И уязвлять, но не желая зла,
 Соперниц гордой жалостью, и в свете
 Блестать и ездить четверней в карете.

Она прижалась к юноше. Листок
 Так жметя к ветке, бурю ожидая.
 Стучало сердце в ней, как молоток,
 Уста полураскрытые, пылая,
 Шептали что-то. С головы до ног
 Она горела. Груды молодые
 Как персики являлись наливные
 Из-под сорочки... Сашкина рука
 По ним бродила медленно, слегка...
 Но... есть во мне к стыдливости вниманье —
 И целый час я пропущу в молчанье.

Все было тихо в доме. Облака
 Нескромный месяц дымкою одели,
 И только раздавались изредка
 Сверчка ночного жалобные трели;
 И мышь в тени родного уголка
 Скреблась в обои старые прилежно.
 Моя чета, раскинувшись небрежно,
 Покоилась, не думая о том,
 Что небеса грозили близким днем,
 Что ночь... Вы на веку своем едва ли
 Таких ночей десяток насчитали...

Но Тирза вдруг молчанье прервала
 И молвила: «Послушай, прочь все шутки!
 Какая мысль мне странная пришла:
 Что если б ты, откинув предрассудки
 (Она его тут крепко обняла),
 Что если б ты, мой милый, мой бесценный,
 Хотел меня утешить совершенно,
 То завтра или даже в день иной
 Меня в театр повез бы ты с собой.
 Известно мне, все для тебя возможно,
 А отказать в безделице безбожно».

«Пожалуй!» — отвечал ей Саша. Он
 Из слов ее расслушал половину, —
 Его клонил к подушке сладкий сон,
 Как птица клонит слабую тростину.
 Блажен, кто может спать! Я был рожден
 С бессонницей. В течение долгой ночи,
 Бывало, беспокойно бродят очи
 И жжет подушка влажное чело.
 Душа грустит о том, что уж прошло,
 Блуждая в мире вымысла без пищи,
 Как лазарони или русский нищий...

И жадный червь ее грызет, грызет, —
 Я думаю, тот самый, что когда-то
 Терзал Саула; но порой и тот
 Имел отраду: арфы звук крылатый,
 Как ангела таинственный полет,
 В нем воскрешал и слезы и надежды;
 И опускались пламенные вежды,
 С гармонией сливалась мечта,
 И злобный дух бежал, как от креста.
 Но этих звуков нет уж в поднебесной, —
 Они исчезли с арфою чудесной...

И все исчезнет. Верить я готов,
 Что наш безлучный мир — лишь прах
могильный
 Другого, — горсть земли, в борьбе веков
 Случайно уцелевшая и сильно
 Зброшенная в вечный круг миров.
 Светилы ей двоюродные братья,
 Хоть носят шлейфы огненного платья,
 И по сродству имеют в добрый час
 Влиянье благотворное на нас...
 А дай сойтись, так заварится каша, —
 В кулачки, и... прощай планета наша.

И пусть они блестят до той поры,
 Как ангелов вечерние лампы.
 Придет конец воздушной их игры,
 Печальная разгадка сей шарады...
 Любил я с колокольни иль с горы,
 Когда земля молчит и небо чисто,
 Теряться взором в их цепи огнистой,—
 И мнится, что меж ними и землей
 Есть путь, давно измеренный душой,—
 И мнится, будто на главу поэта
 Стремятся вместе все лучи их света.

Итак, герой наш спит, приятный сон,
 Покойна ночь, а вы, читатель милый,
 Пожалуйте, — иначе принужден
 Я буду удержать вас силой...
 Роман, вперед!.. Не идет? Ну, так он
 Пойдет назад. Герой наш спит покуда,
 Хочу я рассказать, кто он, откуда,
 Кто мать его была, и кто отец,
 Как он на свет родился, наконец,
 Как он попал в позорную обитель,
 Кто был его лакей и кто учитель.

Его отец — симбирский дворянин,
 Иван Ильич NN — ов, муж дородный,
 Богатого отца любимый сын.
 Был сам богат; имел он ум природный
 И, что ума полезней, важный чин;
 С четырнадцати лет служил и с миром
 Уволен был в отставку бригадиром;
 А бригадир блаженный тех времен
 Был человек и, следственно, умен.
 Иван Ильич наш слыл, по крайней мере,
 Любезником в своей симбирской сфере,

Он был врагом писателей и книг,
 В делах судебных почерпнул познания,
 Спал очень долго, ел за четверых;
 Ни на кого не обращал вниманья
 И не носил приличия вериг.
 Однако же пред знатью горделивой
 Умел он гнуться скромно и учтиво.
 Но в этот век учтивости закон
 Для исполненья требовал поклон;
 А кланяться закону иль вельможе
 Считалось тогда одно и то же.

Он старших уважал, зато и сам
 Почтительность вознаграждал улыбкой
 И, ревностный хотя угодник дам,
 Женился, по словам его, ошибкой.
 В чем он ошибся, не могу я вам
 Открыть, а знаю только (не соврать бы),
 Что был он грустен на другой день свадьбы
 И что печаль его была одна
 Из тех, какими жизнь мужей полна.
 По мне они большие эгоисты —
 Всё жен винят, как будто сами чисты.

Благодари меня, о женский пол!
 Я — Демосфен твой: за твою свободу
 Я рад шуметь; я непомерно зол
 На всю, на всю рогатую породу!
 Кто власть им дал?.. Восстаньте, — час пришел!
 Я поднимаю знамя возмущенья.
 Ура! Сюда все девы! Прочь терпенье!
 Конец всему есть! Беззаботно, явно
 Идите вслед за Марьей Николавной!
 Понять меня, я знаю, вам легко,
 Ведь в ваших жилах — кровь, не молоко,
 И вы краснеть умеете уж кстаги
 От взоров и намеков нашей братьи.

Иван Ильич стерег жену свою
 По старому обычаю. Без лести
 Сказать, он вел себя, как я люблю,
 По правилам тогдашней старой чести.
 Проказница ж жена (не утаю)
 Читать любила жалкие романы
 Или смотреть на светлый шар Дианы,
 В беседке темной сидя до утра.
 А месяц и романы до добра
 Не доведут,— от них мечты родятся...
 А искушенью только бы добратся!

Она была прелакомый кусок
 И многих дум и взоров стала целью.
 Как быть: пчела садится на цветок,
 А не на камень; чувствам и веселью
 Казенных не назначено дорог.
 На брачном ложе Марья Николавна
 Была, как надо, ласкова, исправна.
 Но, говорят (хоть, может быть, и лгут),
 Что долг супруги — только лишний труд.
 Мужья у жен подобных (не в обиду
 Будь сказано), как вывеска, для виду.

Иван Ильич имел в Симбирске дом
 На самой на горе, против собора.
 При мне давно никто уж не жил в нем,
 И он дряхлел, заброшен без надзора,
 Как инвалид, с Георгьевским крестом.
 Но некогда, с кудрявыми главами,
 Вдоль стен колонны высились рядами.
 Прозрачною решеткой окружен,
 Как клетка, между них висел балкон,
 И над дверьми стеклянными в порядке
 Виднелися гардин прозрачных складки.

Внутри все было пышно; на столах
 Пестрели разноцветные клеенки,
 И люстры отражались в зеркалах,
 Как звезды в луже; моськи и болонки
 Встречали шумно каждого в дверях,
 Одна другой несноснее, а дале
 Зеленый попугай, порхая в зале,
 Кричал бесстыдно: «Кто пришел?.. Дурак!»
 А гость с улыбкой думал: «Как не так!»
 И, ласково хозяйкой принимаем,
 Через пять минут мирился с попугаем.

Из окон был прекрасный вид кругом:
 Налево, то есть к западу, рядами
 Блестали кровли, трубы и потом
 Меж ними церковь с круглыми главами,
 И кое-где в тени — отрада днем —
 Уютный сад, обсаженный рябиной,
 С беседкою, цветами и малиной,
 Как детская игрушка, если вам
 Угодно, или как меж знатных дам
 Румяная крестьянка — дочь природы,
 Испуганная блеском гордой моды.

Под глинистой утесистой горой,
 Унизанной лачужками, направо,
 Катилася широкой пеленой
 Родная Волга, ровно, величаво...
 У пристани двойною чередой
 Плоты и барки, как табун, теснились,
 И флюгера на длинных мачтах бились,
 Жужжа на ветре, и скрипел канат
 Натянутый; и, серой мглой объят,
 Виднелся дальний берег, и белели
 Вкруг острова края песчаной мели,

Нестройный говор грубых голосов
 Между судов перебегал порою;
 Смех, песни, брань, протяжный крик пловцов —
 Все в гул один сливалось над водою.
 И Марья Николаевна, хоть суров
 Казался ветер и день был на закате,
 Накинув шаль или капот на вате,
 С французской книжкой, часто, сев к окну,
 Следила взором сизую волну,
 Прибрежных струй приливы и отливы,
 Их мерный бег, их золотые гривы.

Два года жил Иван Ильич с женой,
 И всё не тесны были ей корсеты.
 Ее ль сложенье было в том виной
 Или его немолодые леты?..
 Не мне в делах семейных быть судьей!
 Иван Ильич иметь желал бы сына
 Законного: хоть правом дворянина
 Он пользовался часто, но детей,
 Вне брака прижитых, злодей,
 Раскидывал по свету, где случится,
 Страшась с своей деревней породниться.

Какая сладость в мысли: я отец!
 И в той же мысли сколько муки тайной —
 Оставить в мире след и, наконец,
 Исчезнуть! Быть злодеем, и случайно, —
 Злодеем потому, что жизнь — венец
 Терновый, тяжкий, — так, по крайней мере,
 Должны мы рассуждать по нашей вере...
 К чему, куда ведет нас жизнь, о том
 Не с нашим бедным толковать умом;
 Но исключая два-три дня да детство,
 Она, бесспорно, скверное наследство.

Бывало, этой думой удручен,
 Я прежде много плакал, и слезами
 Я жег бумагу. Детский глупый сон
 Прошел давно, как туча над степями;
 Но пылкий дух мой не был освежен,
 В нем родилися бури, как в пустыне,
 Но скоро улеглись они, и ныне
 Осталось сердцу вместо слез, бурь тех,
 Один лишь отзыв — звучный, горький смех...
 Там, где весной белел поток игривый,
 Лежат кремни — и блещут, но не живы!

Прилично б было мне молчать о том,
 Но я привык идти против приличий
 И, говоря всеобщим языком,
 Не жду похвал. Поэт породы птичьей,
 Любовник роз, над розовым кустом
 Урчит и свищет меж листов душистых.
 Об чем? Какая цель тех звуков чистых?
 Прошу хоть раз спросить у соловья.
 Он вам ответит песнью... Так и я
 Пишу, что мыслю, мыслю, что придется,
 И потому мой стих так плавно льется.

Прошло два года. Третий год
 Обрадовал супругов безнадежных:
 Желанный сын, любви взаимной плод,
 Предмет забот мучительных и нежных,
 У них родился. В доме весь народ
 Был восхищен, и три дня были пьяны
 Все на подбор, от кучера до няни.
 А между тем печально у ворот
 Всю ночь собаки выли напролет,
 И, что страшнее этого, ребенок
 Весь в волосах был, точно медвежонок.

Старухи говорили: это знак,
 Который много счастья обещает.
 И про меня сказали точно так,
 А правда ль это вышло? — небо знает!
 К тому ж полночный вой собак
 И страшный шум на чердаке высоком —
 Приметы злые, но, не быв пророком,
 Я только покачаю головой.
 Гамлет сказал: «Есть тайны под луной
 И для премудрых», — как же мне, поэту,
 Не верить можно тайнам и Гамлету?..

Младенец рос милее с каждым днем:
 Живые глазки, белые ручонки
 И русый волос, вьющийся кольцом, —
 Пленяли всех знакомых; уж пеленки
 Рубашечкой сменились на нем;
 И, первые проказы начиная,
 Уж он дразнил собак и попугая...
 Года неслись, а Саша рос, и в пять
 Добро и зло он начал понимать;
 Но, верно, по врожденному влечению,
 Имел большую склонность к разрушенью.

Он рос... Отец его бранил и сек —
 Затем, что сам был с детства часто сечен,
 А, слава богу, вышел человек,
 Не стыд семьи, не туп, не изувечен.
 Понятья были низки в старый век...
 Но Саша с гордой был рожден душою
 И желчного сложенья, — пред судьбою,
 Перед бичом язвительной молвы
 Он не склонял и после головы.
 Умел он помнить, кто его обидел,
 И потому отца возненавидел.

Великий грех!.. Но чем теплее кровь,
 Тем раньше зреют в сердце беспокойном
 Все чувства — злоба, гордость и любовь,
 Как деревья под небом юга знойным.
 Шалун мой хмурил маленькую бровь,
 Встречаясь с нежным папенькой; от взгляда
 Он вздрагивал, как будто б капля яда
 Лилась по жилам. Это, может быть,
 Смешно, — что ж делать! — он не мог любить,
 Как любят все гостинные собачки
 За лакомства, побои и подачки.

Он был дитя, когда в тесовый гроб
 Его родную с пеньем уложили.
 Он помнил, что над нею черный поп
 Читал большую книгу, что кадили,
 И прочее... и что, закрыв весь лоб
 Большим платком, отец стоял в молчанье.
 И что когда последнее лобзанье
 Ему велели матери отдать,
 То стал он громко плакать и кричать,
 И что отец, немного с ним поспоря,
 Велел его посечь... (конечно, с горя).

Он не имел ни брата, ни сестры,
 И тайных мук его никто не ведал.
 До времени отвыкнув от игры,
 Он жадному сомнению сердце предал,
 И, презрев детства милые дары,
 Он начал думать строить мир воздушный
 И в нем терялся мыслию послушной.
 Таков средь океана островок:
 Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
 Ладьи к нему с гостями не пристанут,
 Цветы на нем от зноя все увянут...

Он был рожден под гибельной звездой,
 С желаньями безбрежными, как вечность.
 Они так часто спорили с душой
 И отравили лучших дней беспечность,
 Они летали над его главой,
 Как царская корона; но без власти
 Венец казался бременем, и страсти,
 Впервые пробудясь, живым огнем
 Прожгли алтарь свой, не найдя кругом
 Достойной жертвы,— и в пустыне света
 На дружный зов не встретил он ответа.

О, если б мог он, как бесплотный дух,
 В вечерний час сливаться с облаками,
 Склонять к волнам кипучим жадный слух,
 И долго упиваться их речами,
 И обнимать их перси, как супруг!
 В глуши степей дышать со всей природой!
 Одним дыханьем, жить ее свободой!
 О, если б мог он, в молнию одет,
 Одним ударом весь разрушить свет!..
 (Но, к счастью для вас, читатель милый,
 Он не был одарен подобной силой.)

Я не берусь вполне, как психолог,
 Характер Саши выставить наружу
 И вскрыть его, как с трюфлями пирог.
 Скорей судьей молчаньем я принужу
 К решению... Пусть суд их будет строг!
 Пусть журналист всеведущий хлопочет,
 Зачем тот плачет, а другой хохочет!..
 Пусть скажет он, что бесом одержим
 Был Саша,— я и тут согласен с ним,
 Хотя, боюсь, приятель мой, повеса,
 Взбесил бы иногда любого беса.

Его учитель чистый был француз,
 Marquis de Tess ¹. Педант полузабавный
 Имел он длинный нос и тонкий вкус
 И потому брал деньги преисправно.
 Покорный раб губернских дам и муз,
 Он сочинял сонеты, хоть порою
 По часу бился с рифмою одною;
 Но каламбуров полный лексикон,
 Как талисман, носил в карманах он
 И, быв уверен в дамской благодати,
 Не размышлял, что кстати, что некстати.

Его отец богатый был маркиз,
 Но жертвой стал народного волнения:
 На фонаре однажды он повис,
 Как было в моде, вместо украшения.
 Приятель наш, парижский Адонис,
 Оставив прах родителя судьбине,
 Не поклонился гордой гильотине:
 Он молча проклял вольность и народ,
 И натошак отправился в поход,
 И наконец, едва живой от муки,
 Пришел в Россию поощрять науки.

И Саша мой любил его рассказ
 Про сборища народные, про шумный
 Напор страстей и про последний час
 Венчанного страдальца... Над безумной
 Парижскою толпою много раз
 Ношилося его воображенье:
 Там слышал он святых голов паденье,
 Меж тем как нищих буйный миллион
 Кричал, смеясь: «Да здравствует закон!» —
 И, в недостатке хлеба или злата,
 Просил одной лишь крови у Марата.

¹ Маркиз де Тесс (*франц.*).

Там видел он высокий эшафот;
 Прелестная на звучные ступени
 Входила женщина... Следы забот,
 Следы живых, но тайных угрызений
 Виднелись на лице ее. Народ
 Рукоплескал... Вот кудри золотые
 Посыпались на плечи молодой;
 Вот голова, носившая венец,
 Склонилась на плаху... О, творец!
 Одумайтесь! Еще момент, злодеи!..
 И голова оторвана от шеи...

И кровь с тех пор рекою потекла,
 И загремела жадная секира...
 И ты, поэт, высокого чела
 Не уберег! Твоя живая лира
 Напрасно по вселенной разнесла
 Все, все, что ты считал своей душою, —
 Слова, мечты с надеждой и тоскою...
 Напрасно!.. Ты прошел кровавый путь,
 Не отомстив, и творческую грудь
 Ни стих язвительный, ни смех холодный
 Не посетил — и ты погиб бесплодно...

И Франция упала за тобой
 К ногам убийц бездушных и ничтожных.
 Никто не смел возвысить голос свой;
 Из мрака мыслей гибельных и ложных
 Никто не вышел с твердою душой, —
 Меж тем как втайне взор Наполеона
 Уж зреи ступени будущего трона...
 Я в этом тоне мог бы продолжать,
 Но истина — не в моде, а писать
 О том, что было двести раз в газетах,
 Смешно, тем боле об таких предметах.

К тому же я совсем не моралист, —
 Ни блага в зле, ни зла в добре не вижу,
 Я палачу не дам похвальный лист,
 Но клеветой героя не унижу, —
 Ни плеск восторга, ни насмешки свист
 Не созданы для мертвых. Царь иль воин,
 Хоть он отличья иногда достоин,
 Но, верно, нам за тяжкий мавзолей
 Не благодарен в комнатке своей
 И, длинным одам внемля поневоле,
 Зевая вспоминает о престоле.

Я прикажу, кончая дни мои,
 Отнести свой труп в пустыню, и высокий
 Курган над ним насыпать, — и любви
 Символ ненарушимый — одинокий
 Поставить крест: быть может, издали,
 Когда туман протянется в долине
 Иль свод небес взбунтуется, к вершине
 Гостеприимной нищий пешеход,
 Его заметив, медленно придет,
 И, отряхнувши посох, безнадежней
 Вздохнет о жизни будущей и прежней —

И проклянет, склонясь на крест святой,
 Людей и небо, время и природу, —
 И проклянет грозы бессильный вой
 И пылких мыслей тщетную свободу...
 Но нет, к чему мне слушать плач людской?
 На что мне черный крест, курган, гробница?
 Пусть отдадут меня стихиям! Птица,
 И зверь, огонь, и ветер, и земля
 Разделят прах мой, и душа моя
 С душой вселенной, как эфир с эфиром,
 Соляется и развеется пад миром!..

Пускай от сердца, полного тоской
 И желчью тайных тщетных сожалений,
 Подобно чаше, ядом налитой,
 Следов не остается... Без волнений
 Я выпил яд по капле, ни одной
 Не уронил; но люди не видали
 В лице моем ни страха, ни печали
 И говорили хладно: он привык.
 И с той поры я облил свой язык
 Тем самым ядом и по праву мести
 Стал унижать толпу под видом лести...

Но кончим этот скучный эпизод
 И обратимся к нашему герою.
 До этих пор он не имел забот
 Житейских и невинною душою
 Искал страстей, как пищи. Длинный год
 Провёл он средь тетрадей, книг, историй,
 Грамматик, географий и теорий
 Всех философий мира. Пять систем
 Имел маркиз, а на вопрос: зачем? —
 Он отвечал вам гордо и свободно:
 «Monsieur, c'est mon affaire»¹ — так мне угодно!

Но Саша не внимал его словам, —
 Рассеянно в тетради над строками
 Его рука чертила здесь и там
 Какой-то женский профиль, и очами,
 Горящими, подобно двум звездам,
 Он долго на него взирал, и нежно
 Вдыхал, и хоронил его прилежно
 Между листов, как тайный милый клад,
 Залог надежд и будущих наград,
 Как прячут иногда сухую травку,
 Перо, записку, ленту иль булавку...

¹ Сударь, это мое дело (*франц.*).

Но кто ж она? Что пользы ей вскружить
 Неопытную голову, впервые
 Сердечный мир дыханьем возмутить
 И взволновать надежды огневые?
 К чему?.. Он слишком молод, чтоб любить.
 Со всем искусством древнего Фоблаза.
 Его любовь, как снег вершин Кавказа,
 Чиста,— тепла, как небо южных стран..
 Ему ль платить обманом за обман?..
 Но кто ж она? Не модная вертушка,
 А просто дочь буфетчика, Маврушка...

И Саша был четырнадцати лет.
 Он привыкал (скажу вам под секретом,
 Хоть важности большой во всем том нет)
 Толкаться меж служанок. Часто летом,
 Когда луна бросала томный свет
 На тихий сад, на свод густых акаций,
 И с шепотом толпа домашних граций
 В аллее кралась,— легкою стопой
 Он догонял их; и, шутя, порой
 Его невинность (вы поймете сами)
 Они дразнили дерзкими перстами.

Но между них он отличал одну:
 В ней было все, что увлекает душу,
 Волнует мысли и мешает сну.
 Но я, друзья, покой ваш не нарушу
 И на портрет накину пелену.
 Ее любил мой Саша той любовью,
 Которая по жилам с юной кровью
 Течет огнем, клокочет и кипит.
 Боролись в нем желание и стыд;
 Он долго думал, как в любви открыться,—
 Но надобно ж на что-нибудь решиться.

И мудрено ль? Четырнадцать лет
 Я сам страдал от каждой женской рожи
 И простодушно уверял весь свет,
 Что друг на дружку все они похожи.
 Волнующихся персей нежный цвет
 И алых уст горячее дыханье
 Во мне рождали чудные желанья;
 Я трепетал, когда моя рука
 Атласных плеч касалась слегка,
 Но лишь в мечтах я видел без покрова
 Все, что для вас, конечно, уж не ново...

Он потерял и сон и аппетит,
 Молчит весь день и часто бредит ночь,
 По коридору бродит и грустит,
 И ждет, чтоб показалась Евы дочь,
 Чтоб ясный взор мелькнул... Суровый в
 Приняв, он иногда улыбкой хладной
 Ответствовал на взор ее отрадный...
 Любовь же неизбежна, как судьба,
 А с сердцем страх невыгодна борьба!
 Итак, мой Саша кончил с ним возиться
 И положил с Маврушей объясниться.

Случилось это летом, в знойный день.
 По мостовой широкими клубами
 Вилась пыль. От труб высоких тень
 Ложилась на крышах полосами,
 И пар с камней струился. Сон и лень
 Вполне Симбирском овладели; даже
 Катилась Волга медленней и глаже.
 В саду, в беседке темной и сырой,
 Лежал полураздетый наш герой
 И размышлял о тайне съединенья
 Двух душ — предмет, достойный размышленья.

Вдруг слышит он направо, за кустом
 Сирени, шорох платья и дыханье
 Волнующейся груди, и потом
 Чуть внятный звук, похожий на лобзанье.
 Как Саше быть? Забилося сердце в нем,
 Запрыгало... Без дальних опасений
 Он сквозь кусты пустился легче тени.
 Трещат и гнутся ветви под рукой.
 И вдруг пред ним, с Маврушкой молодой
 Обнявшись в тени цветущей вишни,
 Иван Ильич... (Прости ему всевышний!)

Увы! покоясь на траве густой,
 Проказник старый обнимал бесстыдно
 Упругий стан под юбкою простой
 И не жалел ни ножки миловидной,
 Ни круглых персей, дышащих весной!
 И долго, долго вился, но напрасно!
 Огня и сил лишен уж был несчастный.
 Он встал, вздохнул (нельзя же не вздохнуть),
 Поправил брюки и пустился в путь,
 Оставив тут обманутую деву,
 Как Арпадну, преданную гневу.

И есть за что, не спорю... Между тем
 Что делал Саша? С неподвижным взглядом,
 Как белый мрамор холоден и нем,
 Как Аббадона грозный, новым адом
 Испуганный, но помнящий эдем,
 С поникшею стоял он головою,
 И на челе, наморщенном тоскою,
 Качались тени трепетных ветвей...
 Но вдруг удар проснувшихся страстей
 Перевернул неопытную душу,
 И он упал как с неба на Маврушу.

Упал! (Прости невинность!) Как змея,
 Маврушу крепко обнял он руками,
 То холодея, то как жар горя,
 Неистово впился в нее устами
 И — обезумел... Небо и земля
 Слились в туман. Мавруша простонала
 И улыбнулась; как волна, вставала
 И упала грудь, и томный взор,
 Как над рекой безлучный метеор,
 Блуждал вокруг без цели, без предмета,
 Боясь всего: людей, дерев и света...

Теперь, друзья, скажите напрямик,
 Кого винить?.. По мне всего прекрасней
 Сложить весь грех на черта, — он привык
 К напраслине; к тому же безопасней
 Рога и когти, чем иной язык...
 Итак, заметим мы, что дух незримый,
 Но гордый, мрачный, злой, неотразимый
 Ни ладаном, ни бранью, ни крестом,
 Играл судьбою Саши, как мячом,
 И, следуя пустейшему капризу,
 Кидал его то вкось, то вверх, то книзу.

Два месяца прошло. Во тьме ночной,
 На цыпочках по лестнице ступая,
 В чепце, платок накинув шерстяной,
 Являлась к Саше дева молодая;
 Задув лампаду, трепетной рукой
 Держась за спинку шаткую кровати,
 Она искала жарких там объятий.
 Потом, на мягкий пух привлечена,
 Под одеяло пряталась она;
 Тяжелый вздох из груди вырывался,
 И в жарких поцелуях он сливался.

Казалось, рок забыл о них. Но раз
 (Не помню я, в который день недели), —
 Уж пролетел давно свиданья час,
 А Саша все один был на постели.
 Он сел к окну в раздумье. Тихо гас
 На бледном своде месяц серебристый,
 И неподвижно бахромой волнистой
 Вокруг его висели облака.
 Дремало все, лишь в окнах изредка
 Являлась свечка, силуэт рубчатый
 Старухи, из картин Рембрандта взятый,

100

Мелькая, рисовался на стекле
 И исчезал. На площади пустынной,
 Как чудный путь к неведомой земле,
 Лежала тень от колокольни длинной,
 И даль сливалась в синеватой мгле.
 Задумчив Саша... Вдруг скрипнули двери,
 И вы б сказали — постушь райской пери
 Послышалась. Невольно наш герой
 Вдрогнул. Пред ним, озарена луной,
 Стояла дева, опустивши очи,
 Бледнее той луны — дарицы ночи...

101

И он узнал Маврушу. Но — творец! —
 Как изменилось нежное созданье!
 Казалось, тело изваял резец,
 А бог вдохнул не душу, но страданье,
 Она стоит, вздыхает, наконец
 Подходит и холодными руками
 Хватает руку Саши, и устами
 Прижалась к ней, и слезы потекли
 Все больше, больше и, казалось, жгли
 Ее лицо... Но кто не зрел картины
 Раскаянья преступной Магдалины?

И кто бы смел изобразить в словах,
 Что дышит жизнью в красках Гвидо-Репи?
 Гляжу на дивный холст: душа в очах,
 И мысль одна в душе, — и на колени
 Готов упасть, и непонятный страх,
 Как струны лютни, потрясает жилы;
 И слышишь близость чудной тайной силы,
 Который в мире верует лишь тот,
 Кто как в гробу в душе своей живет,
 Кто терпит все упреки, все печали,
 Чтоб гением глупцы его назвали.

И долго молча плакала она.
 Рассыпавшись на кругленькие плечи,
 Ее волосы бежали, как волна.
 Лишь иногда отрывистые речи,
 Отзыв того, чем грудь была полна,
 Блуждали на губах ее; но звуки
 Яснее были слов... И голос муки
 Мой Саша понял, как язык родной;
 К себе на грудь привлек ее рукой
 И не щадил ни нежностей, ни ласки,
 Чтоб поскорей добраться до развязки.

Он говорил: «К чему печаль твоя?
 Ты молода, любима, — где ж страданье?
 В твоих глазах — мой мир, вся жизнь моя,
 И рай земной в одном твоём лобзанье...
 Быть может, злобу хитрую тая,
 Какой-нибудь... Но нет! И кто же смеет
 Тебя обидеть? Мой отец дряхлеет,
 Француз давно не годен никуда...
 Ну, полно! слезы прочь, и ляг сюда!»
 Мавруша, крепко Сашу обнимая,
 Так отвечала, медленно вздыхая:

«Послушайте, я здесь в последний раз.
 Пренебрегла опасность, наказание,
 Стыд, совесть — все, чтоб только видеть вас,
 Поцеловать вам руки па прощанье
 И выманить слезу из ваших глаз.
 Не отвергайте бедную, — довольно
 Уж я терплю, — но что же?.. Сердце вольно...
 Иван Ильич проведаль от людей
 Завистливых... Все Ванька ваш, злодей, —
 Через него я гибну... Все готово!
 Молю!.. о, киньте мне хоть взгляд, хоть слово!

Для вашего отца впервые я
 Забыла стыд, — где у рабы защита?
 Грозил он ссылкой, бог ему судья!
 Прошла неделя, — бедная забыта...
 А все любить другого ей нельзя.
 Вчера меня обидными словами
 Он разобрал... Но что же перед вами?
 Раба? игрушка!.. Точно: день, два, три
 Мила, а там? — пожалуй, хоть умри!..»
 Тут начались слезы, восклицанья,
 Но Саша их оставил без вниманья.

«Ах, барин, барин! Вижу я, понять
 Не хочешь ты тоски моей сердечной!..
 Прощай, — тебя мне больше не видеть,
 Зато уж помнить буду вечно, вечно...
 Виновны оба, мне ж должно страдать.
 Но, так и быть, целуй меня в грудь, в очи, —
 Целуй, где хочешь, для последней ночи!..
 Чем свет меня в кибитке увезут
 На дальний хутор, где Маврушу ждуд
 Страданья и мужик с косматой бородою...
 А ты? — вздохнешь и слюбишься с другою!»

Она заплакала. Так или нет
 Изгнанница младая говорила,
 Я утверждать не смею; двух, трех лет
 Достаточно губительная сила,
 Чтобы святейших слов загладить след.
 А тот, кто рассказал мне повесть эту,—
 Его уж нет... Но что за нужда свету?
 Не веры я ищу,— я не пророк,
 Хоть и стремлюсь душою на Восток,
 Где свиньи и вино так ныне редки
 И где, как пишут, жили наши предки!

Она замолкла, но не Саша: он
 Кипел против отца негодовашьем:
 «Злодей! тиран!» — и тысячу имен,
 Таких же милых, с истинным вниманьем,
 Он расточал ему. Но счастья сон,
 Как ни бранись, умчался невозвратно...
 Уже готов был юноша развратный
 В последний раз на ложе пуховом
 Вкусить восторг, в забытии немом
 Уж и она, пылая в расслабенье
 Раскинулась, как вдруг — о, PROVIDENCE! —

Удар ногою с треском растворил
 Стеклою двери обе половины,
 И ночника луч бледный озарил
 Живой скелет вошедшего мужчины.
 Казалось, в страхе с ложа он вскочил,—
 Растрепан, босиком, в одной рубашке,—
 Вошел и строго обратился к Сашке:
 «Eh bien, monsieur, que vois-je?» — «Ah, c'est
 vous!»
 «Pourquoi ce bruit? Que faites-vous donc?»
 «Je f <...>!»¹

¹ «Ну, сударь, что я вижу?» — «Ах, это вы!»
 «Что это за шум? Что вы делаете?» — «Я <...>!» (франц.)

И, молвив так (пускай простит мне муза),
Одним тузом он выгнал вон француза.

111

И вслед за ним, как лань кавказских гор,
Из комнаты пустилася бедняжка,
Не распростясь, но кинув нежный взор,
Закрыв лицо руками... Долго Сашка
Не мог унять волнение сердца. «Вздор, —
Шептал он, — вздор: любовь не жизнь!» Но утро,
Подернув тучки блеском перламутра,
Уж начало заглядывать в окно,
Как милый гость, ожидаемый давно,
А на дворе, унылый и докучный,
Раздался колокольчик однозвучный,

112

К окну с волнением Сашка подбежал:
Разгонных тройка у крыльца большого.
Вот сел ямщик и вожжи подобрал;
Вот чей-то голос: «Что же, все готово?» —
«Готово». Вот садится... Он узнал:
Она!.. В чепце, платком окутав шею,
С обычной улыбкою своею,
Ему кивнула тихо головой
И спряталась в кибитку. Бил лихой
Взвился. «Пошел!»... Колесы застучали...
И вмиг... Но что нам до чужой печали?

113

Давно ль?.. Но детство Саши протекло.
Я рассказал, что знать вам было нужно...
Он стал с отцом браниться: не могло
И быть иначе, — нежностью наружной.
Обманывать он почитал за зло,
За низость, — но правдивой мести знаки
Он не щадил (хотя б дошло до драки).

И потому родитель, рассчитав,
Что укрощать не стоит этот прав,
Сынка, рыдая, как мы все умеем,
Послал в Москву с Французом и лакеем.

114

И там проказник был препоручен
Старухе тетке самых строгих правил.
Свет утверждал, что резвый Купидон
Ее краснеть ни разу не заставил.
Она была одна из тех княжон,
Которые, страшась святого брака,
Не смеют дать решительного знака
И потому в сомненье ждут да ждут,
Покуда их на вист не позовут,
Потом остаток жизни, как умеют, —
За картами клеветцут и желтеют.

115

Но иногда какой-нибудь лакей,
Усердный, честный, верный, осторожный,
Имея вход к владычице своей
Во всякий час, с покорностью возможной,
В уютной спальне заменяет ей
Служанку, то есть греет одеяло,
Подушки, руки, ноги... Разве мало
Под мраком ночи делается дел,
Которых знать и черт бы не хотел,
И если бы хогь раз он был свидетель,
Как сладко спит седая добродетель.

116

Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон —

444

Двусмысленная вещь; что добрый малый —
Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Чуть умный — и забавней и сносней,
Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)
Он нажил в месяц сто врагов забавных.

117

И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилично,
С стальным замком и розовой каймой.
Любил он заговоры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань — насмешкой отвечать
Иль, притворясь рассеянным невеждой,
Ласкать их долго тщетною надеждой.

118

Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча все твердить азы да буки,
И, наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

119

Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов

Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно,—
Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят;
Уходит,— втрое хуже. Суший ад!..
По сердцу Сашке жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.

120

Пропустим года два... Я не хочу
В один прием свою закончить повесть.
Читатель знает, что я с ним шучу,
И потому моя спокойна совесть,
Хоть, признаюсь, много пропущу
Событий важных, новых и чудесных.
Но час придет, когда, в пределах тесных
Не заключен и не спеша вперед,
Чтоб сократить унылый эпизод,
Я снова обращаю внимаенье ваше
На те года, потраченные Сашей...

121

Теперь героев разбудить пора,
Пора привести в порядок их одежды.
Вы вспомните, как сладостно вчера
В объятьях неги и живой надежды
Уснула Тирза? Резвый бег пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась поздно...
Растрепанные волосы назад
Рукой откинув и на свой наряд
Взглянув с улыбкой сонною, сначала
Она довольно долго позевала.

122

На ней измято было все, и грудь
Хранила знаки пламенных лобзаний.
Она спешит лицо водой сплеснуть
И кудри без особенных стараний
На голове гребенкою заткнуть;

Потом сорочку скинула, небрежно
Водою обмывает стан свой нежный...
Опять свежа, как персик молодой.
И на плеча капот накинув свой,
Пленительна бесстыдной наготою,
Она подходит к нашему герою,

123

Садится в изголовье и потом
На сонного студеной влагой плещет.
Он поднялся, кидает взор кругом
И видит, что пора: светелка блещет,
Озарена роскошным зимним днем;
Замерзших окон стекла серебрятся;
В лучах пылинки светлые вертятся;
Упругий снег на улице хрустит,
Под тяжестью полозьев и копыт,
И в городе (что мне всегда досадно)
Колокола трезвонят беспощадно..

124

Прелестный день! Как пышен божий свет!
Как небеса лазурны!.. Торопливо
Вскочил мой Саша. Вот уж он одет,
Атласный галстук повязал лениво,
С кудрей ночных восторгов сгладил след;
Лишь синеватый венчик под глазами
Изобличал его... Но (между нами,
Сказать тихонько) это не порок.
У наших дам найти я то же б мог,
Хоть между тем ручаюсь головою,
Что их невинней нету под луною.

125

Из комнаты выходит наш герой.
И, пробираясь длинным коридором,
Он видит Катерину пред собой,
Приветствует ее холодным взором —
И мимо. Вот он в комнате другой:

Вот стул с дрожащей ножкою и рядом
Кровать; на ней, закрыта, кверху задом
Храпит Параша, отвернув лицо.
Он плащ надел и вышел на крыльцо,
И вслед за ним несутся восклицанья,
Чтобы не смел забыть он обещанья:

126

Чтоб приготовил модный он наряд
Для бедной, милой Тирзы, и так далё.
Сказать ли, этой выдумке был рад
Проказник мой: в театре, в пестрой зале
Заметят ли невинный маскарад?
Зачем еврейку не утешить тайно,
Зачем толпу не наказать случайно
Презреньем гордым всех ее причуд?
И что молва? Глупцов крикливый суд,
Коварный шепот злой старухи или
Два-три намека в польском иль в кадрили!

127

Уж Саша дома. К тетке входит он,
Небрежно у нее целует руку.
«Чем кончился вчерашний ваш бостон?
Я б не решился на такую скуку,
Хотя бы мне давали миллион.
Как ваши зубы?.. А Фиделька где жё?
Она являться стала что-то реже.
Ей надоел наш модный круг, — увы,
Какая жалость!.. Знаете ли вы,
На этих днях мы ждем к себе комету,
Которая несет погибель свету?..

128

И поделом, ведь новый магазин
Открылся на Кузнецком, — не угодно ль
Вам посмотреть?.. Там есть мамзель Aline,
Monsieur Dupré, Dupand, француз природный,
Теперь купец, а бывший дворянин;

Там есть мадам Armand; там есть субретка
Fanchaux — плутовка, смуглая кокетка!
Вся молодежь вокруг ее вертится.
Мне ж все равно, ей-богу, что случится!
И по одной значительной причине
Я только зритель в этом магазине.

129

Причина эта вот — мой кошелек:
Он пуст, как голова француза, — малость
Истратил я; но это мне урок —
Ценить дешевле ветреную шалость!» —
И, притворясь печальным сколько мог,
Шалун склонился к тетке, два-три раза
Вздыхнул, чтоб удалась его проказа.
Тихонько ларчик отперев, она
Заботливо дорылась до дна
И вынула три беленьких бумажки.
И... вы легко поймете радость Сашки.

130

Когда же он пришел в свой кабинет,
То у дверей с недвижностью примерной,
В чалме пунцовой, щегольски одет,
Стоял арап, его служитель верный.
Покрыт, как лаком, был чугунный цвет
Его лица, и ряд зубов перловых,
И блеск очей открытых, но суровых,
Когда смеялся он иль говорил,
Невольный страх на душу наводил;
И в голосе его, иным казалось,
Надменностью безумной отзывалось.

131

Союз довольно странный заключен
Меж им и Сашей был давно. Их разговоры
Казались таинственны, как сон;
Вдвоем, бывало, ночью, точно воры,
Уйдут и пропадают. Одарен

Соображеньем бойким, наш приятель
Восточных слов был страшный обожатель,
И потому «Зафиром» наречен
Его арап. За ним повсюду он,
Как мрачный призрак, следовал, и что же? —
Все восхищались этой скверной рожей!

132

Зафиру Сашка что-то прошептал.
Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег взял
Из белой ручки черною рукою;
Он долго у дверей еще стоял
И говорил все время, по несчастью,
На языке чужом, и тайной страстью
Одушевлен казался. Между тем,
Облокотясь на стол, задумчив, нем,
Герой печальный моего рассказа
Глядел на африканца в оба глаза.

133

И наконец он подал знак рукой,
И тот исчез быстрее китайской тени.
Проворный, хитрый, с смелой душой,
Он жил у Саши как служебный гений,
Домашний дух (по-русски домовый);
Как Мефистофель, быстрый и послушный,
Он исполнял безмолвно, равнодушно
Добро и зло. Ему была закон
Лишь воля господина. Ведал он,
Что, кроме Саши, в целом божьем мире
Никто, никто не думал о Зафире.

134

Однако были дни давным-давно,
Когда и он на берегу Гвинеи
Имел родной шалаш, жену, пшено
И ожерелье красное на шее,
И мало ли?.. О, там он был звено

В цепи семей счастливых!.. Там пустыня
Осталась неприступна, как святыня.
И пальмы там растут до облаков,
И пена вод белее жемчугов.
Там жгут лобзанья, и пронзают очи,
И перси дев черней роскошной ночи.

135

Но родина и вольность, будто сон,
В тумане дальнем скрылись невозвратно..
В цепях железных пробудился он.
Для дикаря все стало непонятно —
Блестящих городов и шум и звон.
Так облачко, оторвано грозой,
Бродя одно под твердью голубою,
Куда пристать не знает; для него
Все чуждо — солнце, мир и шум его;
Ему обидно общее веселье,—
Оно, нахмурилась, прячется в ущелье.

136

О, я люблю густые облака,
Когда они толпятся над горою,
Как на хребте стального шишака
Колеблемые перья! Пред грозой,
В одеждах золотых, издалека
Они текут безмолвным караваном,
И наконец, одетые туманом,
Обнявшись, свившись, будто куча змей,
Беспечно дремлют на скале своей.
Настанет день,— их ветер вновь унесит:
Куда, зачем, откуда? — кто их спросит?

137

И после них на свете нет следа,
Как от любви поэта безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не открыл вниманью дружбы нежной.
И ты, чья жизнь, как беглая звезда,

Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразишь словами;
Ты не хотел насмешки выпить яд,
С улыбкою притворной, как Сократ;
И, не разгадан глупою толпою,
Ты умер, чуждый жизни... Мир с тобою!

138

И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной..
И сумрачен и тесен твой приют,
И ты забыт, как часовой бессменный.
Но что же делать? Жди, авось придут,
Быть может, кто-нибудь из прежних братий.
Как знать? — земля до молодых объятий
Охотница... Ответствуй мне, певец,
Куда умчался ты?.. Какой венец
На голове твоей? И все ль, как прежде,
Ты любишь нас и веруешь надежде?

139

И вы, вы все, которым столько раз
Я подносил приятельскую чашу, —
Какая буря вдаль умчала вас?
Какая цель убила юность вашу?
Я здесь один. Святой огонь погас
На алтаре моем. Желанье славы,
Как призрак, разлетелось. Вы правы:
Я не рожден для дружбы и пиров...
Я в мыслях вечный странник, сын дубров,
Ущелий и свободы, и, не зная
Гнезда, живу, как птичка кочевая.

140

Я для добра был прежде гибнуть рад,
Но за добро платили мне презреньем;
Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким наслаждением...
Тогда я хладно посмотрел назад:

452

Как с свежего рисунка, сгладил краску
С картины прошлых дней, вздохнул и маску
Надел, и буйным смехом заглушил
Слова глупцов, и дерзко их казнил,
И, грубо пробуждая их беспечность,
Насмешливо указывал на вечность.

141

О вечность, вечность! Что найдем мы там
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа; где неприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь природы,
Который, верно, создал всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей,
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)
Ужасно сам похож на обезьяну.

142

О суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завладевший
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить три дня не евши.
Но полно! злобный бес меня завлек
В такие толки. Век наш — век безбожный;
Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный,
Мои слова прославит, и тогда
Нельзя креститься будет без стыда;
И поневоле станешь лицемерить,
Смеясь над тем, чему желал бы верить.

143

Блажен, кто верит счастьем и любви,
Блажен, кто верит небу и пророкам, —
Он долголетен будет на земли
И для сынов останется уроком.
Блажен, кто думы гордые свои

Умел смирить пред гордою толпою,
И кто грехов тяжелою ценою
Не покушал пурпурных уст и глаз,
Живых, как жизнь, и светлых, как алмаз!
Блажен, кто не склонял чела младого,
Как бедный раб, пред идолом другого!

144

Блажен, кто вырос в сумраке лесов,
Как тополь дик и свеж, в тени зеленой
Играющих и шепчущих листов,
Под кровом скал, откуда ключ студеный
По дну из камней радужных цветов
Струей гремячей прыгает, сверкая,
И где над ним береза вековая
Стоит, как призрак позднею порой,
Когда едва кой-где сучок гнилой
Трещит вдали, и мрак между ветвями
Отвсюду смотрит черными очами!

145

Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться; кто, главой припав на гриву,
Летал, подобно сумрачному диву,
Через пустыню, чувствовал, считал,
Как мерно конь о землю ударял
Копытом звучным, и вперед землею
Упругой был кидаем с быстротою.

146

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых;
Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина;

454

Он, в двадцать лет желающий чего-то,
Не будет вечной одержим зевотой,
И в тридцать лет не кинет край родной
С больною грудью и больной душой,
И не решится от одной лишь скуки
Писать стихи, марать в чернилах руки, —

147

Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства, с рабским униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подлеца, —
Искать чинов, мирясь с людским презреньем,
И поклоняться немцам до конца...
И чем же немец лучше славянина?
Не тем ли, что куда его судьбина
Ни кинет, он везде себе найдет
Отчизну и картофель?.. Вот народ:
И без таланта правит, и за деньги служит,
Всех давит сам, а бьют его — не тужит!

148

Вот племя: всякий черт у них барон!
И уж профессор — каждый их сапожник!
И смело здесь и вслух глаголет он,
Как Пифия, воссев на свой треножник!
Кричит, шумит... Но что ж? Он не рожден
Под нашим небом; наша степь святая
В его глазах бездушных — степь простая,
Без памятников славных, без следов,
Где б мог прочесть он повесть тех веков,
Которые, с их грозными делами,
Унесены забвения волнами...

149

Кто недоволен выходкой моей,
Тот пусть идет в журнальную контору,
С листком в руках, с оравой друзей,
И, веруя их опытному взору,
Печатает анафему, злодей!..

455

Я кончил... Так! дописана страница.
Лампада гаснет... Есть всему граница —
Наполеонам, бурям и войнам,
Тем более терпению и... стихам,
Которые давно уж не звучали
И вдруг с пера бог знает как упали!..

1835—1836

**ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА,
МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА
И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА**

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твою любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслирный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолица
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое,
Угощали нас три дни, три ночи
И всё слушали — не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любятся им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;

И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднести его опричникам.
И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь —
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого, —
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное —
И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднёбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушаться;
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малютиной!..»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!
А прогневал я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая;
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.

Как я сяду поеду на лихом коне
За Москву-реку покатайся,
Кушачком подтянуса шелковым,
Заломлю набочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную, —
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодухи
И любятся, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любится,
Полосатой фатой закрывается...

На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка;
Смотрит сладко — как голубушка;

Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божем;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.

Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачатся очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удалство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сырые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюсь.
Возьми перстенок ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленной поклоняйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитревне:
Как полюбишься — празднуй свадьбку,
Не полюбишься — не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Вавильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому.

*

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная;
Набегают тучки на небо, —
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостинный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,

Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилась
В такой поздний час Алена Дмитриевна?
А что детки мои любезные —
Чай, забегались, заигрались,
Спозаранку спать уложились?»

«Господин ты мой, Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитриевна;
Вот уж поп прошел с молодой пощадьей,
Засветили свечу, сели ужинать, —
А по сю пору твоя хозяйюшка
Из приходской церкви не вернулась.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Замечает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит, — сила крестная! —
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена, паталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежда твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пиновала ты,
Чай, с сынками все боярскими!..

Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручались,
Золотыми кольцами менялись!..
Как запру я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»

И, услышав то, Алена Дмитриевна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи — будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюсь смерти лютой,
Не боюсь я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

От вечерни я домой шла нонече
Вдоль по улице одинешенька.
И слышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шепотом:
«Что пужаёшься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...»
Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать
И, цалуя, все приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,

Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною;
Полюби меня, обними меня
Хоть единственный раз на прощание!»

И ласкал он меня, цаловал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали...

Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня, честную, непорочную, —
И что скажут злые соседушки,
И кому на глаза покажусь теперь?

Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести,
А меньшей мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алена Дмитриевна,
Горючьими слезами заливалась.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонились
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилось,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду насмерть биться, до последних сил;
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежэй силою,
На вас меньше грехов накопилось,
Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

*

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;

Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалась?
На какой ты радости разыгралась?

Как сходились, собирались
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.

И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотничьего бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, тому бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершился в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе прогивника...
Трижды громкий клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели небойсь, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,

Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Пармонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему;
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смешить
Ї тебе вышел я теперь, бусурманский сын,—
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И, услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...

Вот молча оба расходятся,—
Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,—
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привести его пред лицо свое.

Как возгворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью...»

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспоплибно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором наостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается,—
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуетесь да обниметесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать;
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатила.

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили,
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гуслиры — споют песенку,

✱

Гей вы, ребята удалые,
Гуслиры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША

Играй, да не отыгрывайся,
Пословица

ПОСВЯЩЕНИЕ

Пускай слыву я старовером,
Мне все равно — я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу послушать эту сказку!
Ее нежданную развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы.
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие зашьем,
И пробегут они, хромя,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

I

Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда;
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда.
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые,
Там два трактира есть, один

«Московский», а другой «Берлин».
Там есть еще четыре будки,
При них два будочника есть;
По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;
.
Короче, славный городок.

II

Но скука, скука, боже правый,
Гостит и там, как над Невой,
Поит вас пресною отравой,
Ласкает черствою рукой.
И там есть чопорные франты,
Неумолимые педанты,
И там нет средства от глушцов
И музыкальных вечеров;
И там есть дамы — просто чудо!
Дианы строгие в чепцах,
С отказом вечным на устах.
При них нельзя подумать худо:
В глазах греховное прочтут
И вас осудят, проклянут.

III

Вдруг оживился круг дворянский;
Губернских дев нельзя узнать;
Пришло известье: полк уланский
В Тамбове будет зимовать.
Уланы, ах! такие хваты...
Полковник, верно, неженатый —
А уж бригадный генерал,
Конечно, даст блестящий бал.
У матушек сверкнули взоры;
Зато, несносные скупцы,
Неумолимые отцы
Пришли в раздумье: сабли, шпоры
Беда для крашенных полов...
Так волновался весь Тамбов,

IV

И вот однажды утром рано,
В час лучший девственного сна,
Когда сквозь пелену тумана
Едва проглядывает Цна,
Когда лишь куполы собора
Роскошно золотит Аврора
И, тишины известный враг,
Еще безмолвствовал кабак,

.

Уланы справа по шести
Вступили в город; музыканты,
Дремля на лошадях своих,
Играли марш из «Двух слепых».

V

Услыша ласковое ржанье
Желанных вороных копей,
Чье сердце, полное вниманья,
Тут не запрыгало сильнее?
Забыта жаркая перина...
«Малашка, дура, Катерина,
Скорее туфли и платок!
Да где Иван? Какой мешок!
Два года ставни отворяют...»
Вот ставни настезь. Целый дом
Трет стекла тусклые сукном —
И любопытно пробегают
Глаза опухшие девиц
Ряды суровых, пыльных лиц.

VI

«Ах, посмотри сюда, кухня,
Вот этот!» — «Где? майор?» — «О нет!
Как он хорош, а конь — картина,
Да жаль, он, кажется, корнет...
Как ловко, смело избочился...
Поверишь ли, он мне приснился...»

Я после не могла уснуть...»
И тут девическая грудь
Косынку тихо поднимает —
И разыгравшейся мечтой
Слегка темнится взор живой.
Но полк прошел. За ним мелькает
Толпа мальчишек городских,
Немытых, шумных и босых.

VII

Против гостиницы «Московской»,
Притона буйных усачей,
Жил некто господин Бобковской,
Губернский старый казначей.
Давно был дом его построен;
Хотя невзрачен, но спокоен;
Меж двух облупленных колонн
Держался кое-как балкон.
На кровле треснувшие доски
Зеленым мохом поросли;
Зато пред окнами цвели
Четыре стриженных березки
Взамен гардин и пышных стор,
Невинной роскоши убор.

VIII

Хозяин был старик угрюмый
С огромной лысой головой.
От юных лет с казенной суммой
Он жил как с собственной казной.
В пучинах сумрачных расчета
Блуждать была ему охота,
И потому он был игрок
(Его единственный порок).
Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть,
Четвертый куш перечеркнуть,
Рутёркой понтирнуть со славой,
И талью скверную порой
Запить цимлянского струей.

IX

Он был врагом трудов полезных,
Трибун тамбовских удалцов,
Гроза всех матушек уездных
И воспитатель их сынков.
Его краплёные колоды
Не раз невинные доходы
С индеек, масла и овса
Вдруг пожирали в полчаса.
Губернский врач, судья, исправник —
Таков его всегдашний круг;
Последний был делец и друг
И за столом такой забавник,
Что казначейша иногда
Сгорит, бывало, от стыда.

X

Я не поведал вам, читатель,
Что казначей мой был женат.
Благословил его создатель,
Послав ему в супруге клад.
Ее ценил он тысяч во сто,
Хотя держал довольно просто
И не выписывал чепцов
Ей из столичных городов.
Предав ей таинства науки,
Как бросить вздох иль томный взор,
Чтоб легче влюбчивый понтер
Не разглядел проворной штуки,
Меж тем догадливый старик
С глаз не спускал ее на миг.

XI

И впрямь Авдотья Николавна
Была прелакомый кусок.
Идет, бывало, гордо, плавно —
Чуть тронет землю башмачок;
В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой, полной груди:

Бела как сахар, так нежна,
Что жилка каждая видна.
Казалось, для нежной страсти
Она родилась. А глаза...
Ну, что такое бирюза?
Что небо? Впрочем, я отчасти
Поклонник голубых очей
И не гожусь в число судей.

XII

А этот носик! эти губки,
Два свежих розовых листка!
А перламутровые зубки,
А голос сладкий, как мечта!
Она картавя говорила,
Нечисто «р» произносила;
Но этот маленький порок
Кто извинить бы в ней не мог?
Любил трепать ее ланиты,
Разнежась, старый казначей.
Как жаль, что не было детей
У них!
.
.

XIII

Для большей ясности романа
Здесь объявить мне вам пора,
Что страстно влюблена в улана
Была одна ее сестра.
Она, как должно, тайну эту
Открыла Дуне по секрету.
Вам не случалось двух сестер
Замужних слышать разговор?
О-чем тут, боже справедливый,
Не судят милые уста!
О, русских нравов простота!
Я, право, человек неживой —
А из-за ширмов раза два
Такие слышал я слова...

XIV

Итак, тамбовская красotka
Ценить умела уж усы

.

Что ж? знание ее сгубило!
Один улан, повеса милый
(Я вместе часто с ним бывал),
В трактире номер занимал
Окно в окно с ее уборной.
Он был мужчина в тридцать лет;
Штаб-ротмистр, строев, как корнет;
Взор пылкий, ус довольно черный;
Короче, идеал девиц,
Одно из славных русских лиц.

XV

Он все отцовское именье
Еще корнетом прокутил;
С тех пор дарами провиденья,
Как птица божия, он жил.
Он спать, лежать привык; не ведать,
Чем будет завтра пообедать.
Шатаясь по Руси кругом,
То на курьерских, то верхом,
То полупьяным ремонтёром,
То волокитой отпускным,
Привык он к случаям таким,
Что я бы сам почел их вздором,
Когда бы все его слова
Хоть тень имели хвастовства.

XVI

Страстями земными не смущаем,
Он не терялся никогда.

.

Бывало, в деле, под картечью

Всех рассмешит надутой речью,
Гримасой, фарсой площадной
Иль неподдельной остротой.
Шутя однажды после спора
Всадил он другу пулю в лоб;
Шутя и сам он лег бы в гроб —

Порой незлобен, как дитя,
Был добр и честен, но шутя.

XVII

Он не был тем, что волокитой
У нас привыкли называть;
Он не ходил тропой избитой,
Свой путь умея пролагать;
Не делал страстных изъяснений,
Не становился на колени;
А несмотря на то, друзья,
Счастливей был, чем вы и я.

.
.
.

Таков-то был штаб-ротмистр Гарин;
По крайней мере, мой портрет
Был схож тому назад пять лет,

XVIII

Спешил о редкостях Тамбова
Он у трактирщика узнать.
Узнал немало он смешного —
Интриг секретных шесть иль пять;
Узнал, невесты как богаты,
Где свахи водятся иль сваты;
Но занял более всего
Мысль беспокойную его
Рассказ о молодой соседке.
«Бедняжка! — думает улан, —
Такой безжизненный болван
Имеет право в этой клетке
Тебя стеречь — и я, злодей,
Не тронусь участью твоей?»

ХІХ

К окну поспешно он садится,
Надев персидский архалук;
В устах его едва дымится
Узорный бисерный чубук.
На кудри мягкие надета
Ермолка вишневого цвета
С каймой и кистью золотой,
Дар молдаванки молодой.
Сидит и смотрит он прилежно...
Вот, промелькнувши как во мгле,
Обрисовался на стекле
Головки милой профиль нежный;
Вот будто стукнуло окно...
Вот открывается оно.

ХХ

Еще безмолвен город сонный;
На окнах блещет утра свет;
Еще по улице мощеной
Не раздаётся стук карет...
Что ж казначейшу молодую
Так рано подняло? Какую
Назвать причину поверней?
Уж не бессонница ль у ней?
На ручку опершись головкой,
Она вздыхает, а в руке
Чулок; но дело не в чулке —
Заняться этим нам неловко...
И если правду уж сказать —
Ну кстати ль было б ей вязать!

ХХІ

Сначала взор ее прелестный
Бродил по синим небесам,
Потом склонился к поднебесной
И вдруг... какой позор и срам!
Напротив, у окна трактира,
Сидит мужчина без мундира.

Скорей, штаб-ротмистр! ваш сюртук!
И поделом... окошко стук...
И скрылось милое виденье.
Конечно, добрые друзья,
Такая грустная статья
На вас навеяла б смущенье;
Но я отдам улану честь —
Он молвил: «Что ж? начало есть».

XXII

Два дня окно не отворялось.
Он терпелив. На третий день
На стеклах снова показалась
Ее пленительная тень;
Тихонько рама заскрипела.
Она с чулком к окну подседа.
Но опытный заметил взгляд
Ее заботливый наряд.
Своей удачею довольный,
Он встал и вышел со двора —
И не вернулся до утра.
Потом, хоть было очень больно,
Собрав запас душевных сил,
Три дня к окну не подходил.

XXIII

Но эта маленькая ссора
Имела участь нежных ссор:
Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятный разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,
Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты языком родным?
В минуту страстного волнения
Кому хоть раз ты не помог
Близ милых уст, у милых ног?
Кого под игом принужденья,
В толпе завистливой и злой,
Не спас ты, чудный и живой?

XXIV

Скажу короче: в две недели
Наш Гарин твердо мог узнать,
Когда она встает с постели,
Пьет с мужем чай, идет гулять.
Отправится ль она к обедне —
Он в церкви, верно, не последний;
К сырой колонне прислонясь,
Стоит все время не крестясь.
Лучом краснеющей лампы
Его лицо озарено:
Как мрачно, холодно оно!
А испытующие взгляды
То вдруг померкнут, то блещут —
Проникнуть в грудь ее хотят.

XXV

Давно разрешено сомненье,
Что любопытен нежный пол.
Улан большое впечатленье
На казначейшу произвел
Своею странностью. Конечно,
Не надо было б мысли грешной
Дорогу в сердце пролагать,
Ее бояться и ласкать!

.
.
.

Жизнь без любви такая скверность;
А что, скажите, за предмет
Для страсти муж, который сед?

XXVI

Но время шло. «Пора к развязке! —
Так говорил любовник мой. —
Вздыхают молча только в сказке,
А я не сказочный герой».
Раз входит, кланяясь пренизко,
Лакей. «Что это?» — «Вот-с записка;

Вам барин кланяться велел-с;
Сам не присхал — много дел-с;
Да приказал вас звать к обеду,
А вечерком потанцевать.
Он сам изволил так сказать».
«Ступай, скажи, что я приеду».
И в три часа, надев колет,
Легит штаб-ротмистр на обед.

XXVII

Амфитрион был предводитель —
И в день рождения жены,
Порядка ревностный блюститель
Созвал губернские чины
И целый полк. Хотя бригадный
Заставил ждать себя изрядно
И после целый день зевал,
Но праздник в том не потерял.
Он был устроен очень мило:
В огромных вазах по столам
Стояли яблоки для дам;
А для мужчин в буфете было
Еще с утра принесено
В больших трех ящиках вино.

XXVIII

Вперед под ручку с генеральшей
Пошел хозяин. Вот за стол
Уселся от мужчин подальше
Прекрасный, но стыдливый пол —
И дружно загремел с балкона,
Средь утешительного звона
Тарелок, ложек и ножей,
Весь хор уланских трубачей:
Обычай древний, но прекрасный;
Он возбуждает аппетит,
Порою кстати заглушит
Меж двух соседей говор страстный —
Но в наше время решено,
Что все старинное смешно.

XXIX

Родов, обычаев боярских
Теперь и следу не ищи,
И только на пирах гусарских
Гремят, как прежде, трубачи.
О, скоро ль мне придется снова
Сидеть среди кружка родного
С бокалом влаги золотой
При звуках песни полковой!
И скоро ль ментиков червонных
Приветный блеск увижу я,
В тот серый час, когда заря
На строй гусаров полусонных
И на бивак их у леска
Бросает луч исподтишка!

XXX

С Авдотьей Николавной рядом
Сидел штаб-ротмистр удалой —
Впился в нее упрямым взглядом,
Крутя усы одной рукой.
Он видел, как в ней сердце билось...
И вдруг — не знаю, как случилось, —
Ноги ее иль башмачка
Коснулся шпорой он слегка.
Тут начались извиненья
И завязался разговор;
Два комплимента, нежный взор —
И уж дошло до изъясненья...
Да, да — как честный офицер!
Но казначейша — не пример.

XXXI

Она, в ответ на нежный шепот,
Немой восторг спеша сокрыть,
Невинной дружбы тяжкий опыт
Ему решила предложить —
Таков обычай деревенский!
Помучить — способ самый женский.

Но уж давно известна нам
Любовь друзей и дружба дам!
Какое адское мученье
Сидеть весь вечер tête-à-tête
С красавицей в осьмнадцать лет

.
.
.

XXXII

Вобщем я мог в году последнем
В девицах наших городских
Заметить страсть к воздушным бредням
И мистицизму. Бойтесь их!
Такая мудрая супруга,
В часы любовного досуга,
Вам вдруг захочет доказать,
Что два и три совсем не пять;
Иль вместо пламенных лобзаний
Магнетизировать начнет —
И счастлив муж, коли заснет!..
Плоды подобных замечаний,
Конечно б, мог не ведать мир,
Но польза, польза мой кумир.

XXXIII

Я бал описывать не стану,
Хоть это был блестящий бал.
Весь вечер моему улану
Амур прилежно помогал.
Увы
Не веруют амуру ныне;
Забыв любви волшебный царь;
Давно остыл его алтарь!
Но за столичным просвещеньем
Провинциалы не спешат;

.
.
.
.

XXXIV

И сердце Дуни покорилось;
Его сковал могучий взор...
Ей дома целу ночь все снилось
Бряцанье сабли или шпор.
Поутру, встав часу в девятом,
Садится в шляфоре измятом
Она за вечную канву —
Все тот же сон и наяву.
По службе занят муж ревнивый,
Она одна — разгул мечтам!
Вдруг дверью стукнули. «Кто там?
Андрюшка! Ах, тюлень ленивый!..»
Вот чей-то шаг — и перед ней
Явился... только не Андрей.

XXXV

Вы отгадаете, конечно,
Кто этот гость неожиданный был.
Немного, может быть, поспешно
Любовник смелый поступил;
Но, впрочем, взявши в рассмотренье
Его минувшее терпенье
И рассудив, легко поймешь,
Зачем рискует молодежь.
Кивнув легонько головою,
Он к Дуне молча подошел
И на лицо ее навел
Взор, отуманенный тоскою;
Потом стал длинный ус крутить,
Вздохнул и начал говорить:

XXXVI

«Я вижу, вы меня не ждали —
Прочсть легко из ваших глаз;
Ах, вы еще не испытали,
Что в страсти значит день, что час!
Среди сердечного волненья
Нет сил, нет власти, нет терпенья!

Я здесь — на все решился я...
Тебе я предан... ты моя!
Ни мелочные толки света,
Ничто, ничто не страшно мне;
Презренье светской болтовне —
Иль я умру от пистолета...
О, не пугайся, не дрожи;
Ведь я любим — скажи, скажи!..»

XXXVII

И взор его притворно скромный,
Склоняясь к ней, то угасал,
То, разгораясь страстью томной,
Огнем сверкающим пылал.
Бледна, в смущенье оставалась
Она пред ним... Ему казалось,
Что чрез минуту для него
Любви наступит торжество...
Как вдруг внезапный и невольный
Стыд овладел ее душой —
И, вспыхнув вся, она рукой
Толкнула прочь его: «Довольно,
Молчите — слышать не хочу!
Оставьте ль? я закричу!..»

XXXVIII

Он смотрит: это не притворство,
Не штуки — как ни говори, —
А просто женское упорство,
Капризы — черт их побори!
И вот — о, верх всех унижений! —
Штаб-ротмистр преклонил колени
И молит жалобно; как вдруг
Дверь настезь — и в дверях супруг.
Красотка: «Ах!» Они взглянули
Друг другу сумрачно в глаза;
Но молча разнеслась гроза,
И Гарин вышел. Дома пули
И пистолеты снарядил,
Присел — и трубку закурил.

И через час ему приносит
 Записку грязную лакей.
 Что это? чудо! Нынче просит
 К себе на вистик казначей,
 Он именинник — будут гости...
 От удивления и злости
 Чуть не задохся наш герой.
 Уж не обман ли тут какой?
 Весь день проводит он в волнение.
 Настал и вечер наконец.
 Глядит в окно: каков хитрец —
 Дом полон, что за освещенье!
 А все засунуть — или нет? —
 В карман на случай пистолет.

XL

Он входит в дом. Его встречает
 Она сама, потупя взор.
 Вздох полновесный прерывает
 Едва начатый разговор.
 О сцене утренней ни слова.
 Они друг другу чужды снова.
 Он о погоде говорит;
 Она «да-с, нет-с» — и замолчит.
 Измучен тайною досадой,
 Идет он дальше в кабинет...
 Но здесь спешить нам нужды нет,
 Притом спешить нигде не надо.
 Итак, позвольте отдохнуть,
 А там докончим как-нибудь.

XLI

Я жить спешил в былые годы,
 Искал волнений и тревог,
 Законы мудрые природы
 Я безрассудно пренебрег.
 Что ж вышло? Право, смех и жалость!
 Сквала душу мне усталость,

А сожаленье день и ночь
Твердит о прошлом. Чем помочь?
Назад не возвратят усилия.
Так в клетке молодой орел,
Глядя на горы и на дол,
Напрасно не подьмет крылья —
Кровавой пищи не клюет,
Сидит, молчит и смерти ждет.

XLII

Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда все сердцу говорит,
И бьется сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит?
Не все ж томиться бесполезно
Орлу за клеткою железной:
Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скалы,
Где гнезда вьют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

XLIII

Но есть всему конец на свете,
И даже выпреним мечтам.
Ну, к делу. Гарин в кабинете.
О, чудеса! Хозяин сам
Его встречает с восхищеньем,
Сажает, потчует вареньем,
Несет шампанского стакан.
«Иуда!» — мыслит мой улан.
Толпа гостей теснилась шумно
Вокруг зеленого стола;
Игра уж дельная была,
И банк притом благоразумный.
Его держал сам казначей
Для облегчения друзей.

XLIV

И так как господин Бобковский
Великим делом занят сам,
То здесь блестящий круг тамбовский
Позвольте мне представить вам.
Во-первых, господин советник,
Блюститель нравов, мирный сплетник,
.
А вот уездный предводитель,
Весь спрятан в галстук, фрак до пят,
Дискант, усы и мутный взгляд.
А вот, спокойствия рачитель,
Сидит и сам исправник — но
Об нем уж я сказал давно.

XLV

Вот, в полуфрачке, раздушенный,
Времен новейших Митрофан,
Нетесанный, недоученый,
А уж безнравственный болван.
Доверье полнос имея
К игре и знанью казначея,
Он понтирует, как велят, —
И этой чести очень рад.
Еще тут были... но довольно,
Читатель милый, будет с вас.
И так несвязный мой рассказ,
Перу покорствуя невольпо
И своеправию чернил,
Бог знает чем я испестрил.

XLVI

Пошла игра. Один, бледнея,
Рвал карты, вскрикивал; другой,
Поверить проигрыш не смея,
Сидел с поникшей головой.
Иные, при удачной талье,
Стаканы шумно наливали

И чокались. Но банкOMET
Был нем и мрачен. Хладный пот
По гладкой лысине струился.
Он все проигрывал дотла.
В ушах его «дана», «взяла»
Так и звучали. Он взбесился —
И проиграл свой старый дом
И все, что в нем или при нем.

XLVII

Он проиграл коляску, дрожки,
Трех лошадей, два хомута,
Всю мебель, женины сережки,
Короче — все, все дочиста.
Отчаянья и злости полный,
Сидел он бледный и безмолвный.
Уж было за полночь. Треща,
Одна погасла уж свеча.
Свет утра синевато-бледный
Вдоль по туманным небесам
Скользил. Уж многим игрокам
Сон прогулять казалось вредно,
Как вдруг, очнувшись, казначей
Вниманья просит у гостей.

XLVIII

И просит важно позволения
Лишь талью прометнуть одну,
Но с тем, чтоб отыграть именье
Иль «проиграть уж и жену».
О страх! о ужас! о злодейство!
И как донныне казначейство
Еще терпеть его могло!
Всех будто варом обожгло.
Улан один прехладнокровно
К нему подходит. «Очень рад,—
Он говорит,— пускай шумят,
Мы дело кончим полюбовно,
Но только чур не плутовать —
Иначе вам несдобровать!»

XLIX

Теперь кружок понтеров праздных
Вообразить прошу я вас,
Цвета их лиц разнообразных,
Блестянье их очков и глаз,
Потом усастого героя,
Который понтирует стоя;
Против него меж двух свечей
Огромный лоб, седых кудрей
Покрытый редкими клочками,
Улыбкой вытянутый рот
И две руки с колодой — вот
И вся картина перед вами,
Когда прибавим вдалеке
Жену на креслах в уголке.

L

Что в ней тогда происходило —
Я не берусь вам объяснить:
Ее лицо изобразило
Так много мук, что, может быть,
Когда бы вы их разгадали,
Вы поневоле б зарыдали.
Но пусть участия слеза
Не отуманит вам глаза:
Смешно участие в человеке,
Который жил и знает свет.
Рассказы вымышленных бед
В чувствительном прошедшем веке
Не мало проливали слез...
Кто ж в этом выиграл — вопрос?

LI

Недолго битва продолжалась;
Улан отчаянно играл;
Над стариком судьба смеялась —
И жребий выпал... час настал...
Тогда Авдотья Николавна,
Встав с кресел, медленно и плавно

К столу в молчанье подошла —
Но только цвет ее чела
Был страшно бледен. Обомлела
Толпа, — все ждут чего-нибудь —
Упреков, жалоб, слез... Ничуть!
Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчальное кольцо —

ЛII

И в обморок. Ее в охалку
Схватив — с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.
Поутру вестью забавной
Смущен был город благонравный.
Неделю целую спустя,
Кто очень важно, кто шутя,
Об этом все распространялись.
Старик защитников нашел.
Улана проклял милый пол —
За что, мы, право, не дознались.
Не зависть ли?.. Но нет, нет, нет!
Ух! я не выношу клевет.

ЛIII

И вот конец печальной были,
Иль сказки — выражусь прямой.
Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали действия? страстей?
Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови — даже дамы.
А я, как робкий ученик,
Остановился в лучший миг;
Простым нервическим припадком
Неловко сцену заключил,
Соперников не помирил
И не поссорил их порядком...
Что ж делать! Вот вам мой рассказ,
Друзья; покамест будет с вас.

БЕГЛЕЦ

(Горская легенда)

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрее, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Витовку, шашку — и бежит!

И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой!..

Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он никем не зримый...
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.

И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил черёз порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе мучимый недугом, —
Один, — он молча умирал...
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
«Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы бились в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь, преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков;
Черкесы гибнут — враг повсюду...
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев урек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.

И саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело;
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,

Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним;
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит...
И хочет он взойти — и слышит,
И слышит песню старины...
И стал Гарун бледней луны:

Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароят.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.

Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь...

Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..

«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!» — «Один?» — «Один!»
«А где отец и братья?» — «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли.
«Ты отомстил?» — «Не отомстил...
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою...»
«Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И все кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор...
И мать поутру увидала...
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

ДЕМОН

Восточная повесть

ЧАСТЬ I

I

Печальный демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

II

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:

Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

III

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

IV

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени
Густым венчаные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматную росой
Всегда увлажненные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

V

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил..
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,

Покрыта белою чадрой ¹,
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

VI

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна ², и льются вины —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берст невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

VII

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,

¹ Покрывало. (Прим. Лермонтова.)

² Вроде волынки. (Прим. Лермонтова.)

Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росой
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

VIII

В последний раз она плясала.
Увы! завтра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так подны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул...

IX

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..

И долго сладостной картиной
Он любовался — и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог...
Забуть? — забвенья не дал бог:
Да он и не взял бы забвенья!..

.

Х

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжелой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи¹, — кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой

¹ Верхняя одежда с откидными рукавами. (Прим. Лермонтова.)

Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман...
Прибавил шагу караван.

XI

И вот часовня на дороге...
Тут с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под noctную тьмою,
Уста невесты целовал.
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! — что такое?..
Привстав на звонких ¹ стременах,
Надвинув на брови папах ²,
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк — и, как орел,
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик и стон глухой

¹ Стремена у грузин вроде башмаков из звонкого металла.
(Прим. Лермонтова.)

² Шапка, вроде ериванки. (Прим. Лермонтова.)

Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

XII

Затихло все; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет...

XIII

Несется копь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушивается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.

На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремяна,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

XIV

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ;
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал...
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

XV

На беззаботную семью
Как гром слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой: >
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!»

Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участия
И беспечна, как они!

Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травюю,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,

Росу небес глотая жадно,
Цветок распухнет ночью;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...»

XVI

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг...
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!..

ЧАСТЬ II

I

«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимую мечтой;
Я гибну, сжался надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня...»

II

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билось, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма

Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он... но — куда?..

III

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был — и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной,
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

IV

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной

На чистом небе рисовались,
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

V

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И все ей в нем предлог мученью —
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: «То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

VI

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждет...
Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами полными печали
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;

Святым захочет ли молиться —
А сердце молится *ему*;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах...

.
.

VII

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура ¹ стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..

¹ Чингур — род гитары. (Прим. Лермонтова.)

Тоску любви, ее волнение
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезой жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

VIII

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожидания,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

IX

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»

Ему в ответ

Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностью взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! — сказал он грозно, —
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святости,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.

.

Х

Т а м а р а

О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..

Д е м о н

Ты прекрасна!

Т а м а р а

Но молви, кто ты? отвечай...

Д е м о н

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познания и свободы,
Я враг небес, я зло природы,

И, видишь, — я у ног твоих!
Тебе принес я в умиление
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай — из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю, —
Я раб твой, — я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно — розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!

Т а м а р а

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу...
Творец... Увы! я не могу
Молиться... губительной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова — огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь!

Д е м о н

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,

Я все бывшее бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленья
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно...
Они текли в венцах из золота;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю... прежними друзьями

Я был отвергнут; как эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго... пламень чистой веры
Легко навек я залил в них...
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой...
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне...
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравились мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молнией и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спасть от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризванных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?

Они прошли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

Т а м а р а

Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Д е м о н

Против тебя ли?

Т а м а р а

Нас могут слышать!..

Д е м о н

Мы одни.

Т а м а р а

А бог!

Д е м о н

На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей!

Т а м а р а

А наказание, муки ада?

Д е м о н

Так что ж? Ты будешь там со мной!

Т а м а р а

Кто б ни был ты, мой друг случайный,—
Покой навеки погубя,
Невольню я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.

Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая...
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой...
Нет! дай мне клятву роковую...
Скажи, — ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь...
Но ты все понял, ты все знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне... от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..

Д е м о н

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовью моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести

Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое, —
Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,

Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

XI

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи

Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой.

XII

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугуною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугуной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика...
Но пронеслось еще мгновенье,
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб навеждыне духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.

.

XIII

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали...
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

XIV

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженья,

Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраняя,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!..

XV

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня,
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться!
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На высоте гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоились там;
И превратилась в кладбище
Скала, родная облакам:

Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится..
Напрасно! мертвым не приснится
Ни грусть, ни радость прошлых дней.

XVI

В прострапстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упования
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносились — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, боже! — кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.

«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал. —
Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал —

И благо божие решение!
Дни испытания прошли;
С одеждой брэнною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновение
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»

И ангел строгими очами
На искушителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упования и любви!..

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,

И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Года во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг сошьется в три кольца,
То ляжет длинной полосой
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властью святой,
Видна меж туч еще поныне,
И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,
Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады

С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит,
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит,

1829—1838

ПОСВЯЩЕНИЯ К ПОЭМЕ «ДЕМОН»

<I>

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной,
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере, в стране тебе чужой,—
Я сердцем твой, всегда и всюду твой.

Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников аллы.
Там ветер машет вольными крылами,
Там ночевать слетаются орлы;
Я в гости к ним летал мечтой послушной
И сердцем был товарищ их послушный.

С тех пор прошло тяжелых много лет,
И вновь меня меж скал своих ты встретил,
Как некогда ребенку, твой привет
Изгнаннику был радостен и светел,
Он пролил в грудь мою забвенье бед
И дружески на дружний зов ответил.
И ныне здесь, в полуночном краю,
Все о тебе мечтаю и пою.

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
Еще ребенком, чуждый и любви,
И дум честолюбивых, я беспечно
Бродил в твоих ущельях, грозный, вечный
Угрюмый великан, меня носил
Ты бережно, как пестун, юных сил
Хранитель верный,—
И мысль моя, свободна и легка,
Бродила по утесам, где, блистая
Лучом зари, сбিরались облака,
Туманные вершины омрачая,
Косматые, как перья шишака;
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений
Зубчатую тянулись полосой,
Таинственной, синей одна другой,
Все горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.

МЦЫРИ¹

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю,
1-я Книга Царств

1

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертью забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

¹ М ц ы р и — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». (*Прим. Лермонтова.*)

И божья благодать сошла
На Грузию! она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов,
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем

Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, —
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

Старик! я слышал много раз,
 Что ты меня от смерти спас —
 Зачем?.. Угрюм и одинок,
 Грозой оторванный листок,
 Я вырос в сумрачных стенах,
 Душой дитя, судьбой монах.
 Я никому не мог сказать
 Священных слов «отец» и «мать».
 Конечно, ты хотел, старик,
 Чтоб я в обители отвык
 От этих сладостных имей,—
 Напрасно: звук их был рожден
 Со мной. Я видел у других
 Отчизну, дом, друзей, родных,
 А у себя не находил
 Не только милых душ — могил!
 Тогда, пустых не тратя слез,
 В душе я клятву произнес:
 Хотя на миг когда-нибудь
 Мою пылающую грудь
 Прижать с тоской к груди другой,
 Хоть незнакомой, но родной.
 Увы! теперь мечтанья те
 Погибли в полной красоте,
 И я, как жил, в земле чужой
 Умру рабом и сиротой.

Меня могила не страшит:
 Там, говорят, страданье спит
 В холодной вечной тишине;
 Но с жизнью жаль расстаться мне.
 Я молод, молод... Знал ли ты
 Разгульной юности мечты?
 Или не знал, или забыл,
 Как ненавидел и любил;
 Как сердце билось живею
 При виде солнца и полей
 С высокой башни угловой,
 Где воздух свеж и где порой

В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, — я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежую толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курились, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой, незывлемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.

Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше, и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножен
Кинжалов длинных... и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробежало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер...
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей...
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касались крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

Ты хочешь знать, что делал я
 На воле? Жил — и жизнь моя
 Без этих трех блаженных дней
 Была б печальней и мрачней
 Бессильной старости твоей.
 Давным-давно задумал я
 Взглянуть на дальние поля,
 Узнать, прекрасна ли земля,
 Узнать, для воли иль тюрьмы
 На этот свет родимся мы.
 И в час ночной, ужасный час,
 Когда гроза пугала вас,
 Когда, столпясь при алтаре,
 Вы ниц лежали на земле,
 Я убежал. О, я как брат
 Обняться с бурей был бы рад!
 Глазами тучи я следил,
 Рукою молнию ловил...
 Скажи мне, что средь этих стен
 Могли бы дать вы мне взамен
 Той дружбы краткой, но живой,
 Меж бурным сердцем и грозой?..

Бежал я долго — где, куда?
 Не знаю! ни одна звезда
 Не озаряла трудный путь.
 Мне было весело вдохнуть
 В мою измученную грудь
 Ночную свежесть тех лесов,
 И только! Много я часов
 Бежал и, наконец, устав,
 Прилег между высоких трав;
 Прислушался: погони нет.
 Гроза утихла. Бледный свет
 Тянулся длинной полосой
 Меж темным небом и землей,
 И различал я, как узор,
 На ней зубцы далеких гор;
 Недвижим, молча я лежал.

Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудю камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз

Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,

И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг — голос — легкий шум шагов...
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пыльные мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон, — когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь

И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише, — но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь...
И затворилась опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог, — мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тепл. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне...
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятя жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!

Хотелось мне... но я туда
Взойти не смел. Я цель одну —
Пройти в родимую страну —
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшной и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в иступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал... Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.

Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, — и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертью грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,

И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружие... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли

543

И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной...
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал...
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унести в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне...
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз

Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь,
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила... Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия...
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок..

И как его, палил меня
 Огонь безжалостного дня.
 Напрасно прятал я в траву
 Мою усталую главу:
 Иссохший лист ее венцом
 Терновым над моим челом
 Свивался, и в лицо огнем
 Сама земля дышала мне.
 Сверкая быстро в вышине,
 Кружились искры; с белых скал
 Струился пар. Мир божий спал
 В оцепенении глухом
 Отчаянья тяжелым сном.
 Хотя бы крикнул коростель,
 Иль стрекозы живая трель
 Послышалась, или ручья
 Ребятчий лепет... Лишь змея,
 Сухим бурьяном шелестя,
 Сверкая желтою спиной,
 Как будто надписью золотой
 Покрытый донизу клинок,
 Браздя рассыпчатый песок,
 Скользила бережно; потом,
 Играя, нежася на нем,
 Тройным свивалася кольцом;
 То, будто вдруг обожжена,
 Металась, прыгала она
 И в дальних пряталась кустах...

И было все на небесах
 Светло и тихо. Сквозь пары
 Вдали чернели две горы.
 Наш монастырь из-за одной
 Сверкал зубчатую стеной.
 Внизу Арагва и Кура,
 Оббив каймой из серебра
 Подошвы свежих островов,
 По корням шепчущих кустов
 Бежали дружно и легко...

До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был...
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред. Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла,
И, жажду вечную поя,
Как лед, холодная струя,
Журча, вливалась мне в грудь...
И я боялся лишь заснуть,—
Так было сладко, любо мне...
'А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И ломню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок...
И надивиться я не мог:
Ее серебристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: «Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
И холод и покой.

✽

Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой

Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.

✽

Усни, постель твоа мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

*

О милый мой! не угаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, как вольную струю,
Люблю, как жизнь мою...»

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливалась тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...

24

Так я найден и поднят был...
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

Прощай, отец.. дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;

548

Но ныне пищи нет ему,
И он прожест свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...
Но что мне в том? — пускай в рай,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

26

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенести меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1

Умчался век эпических поэм,
И повести в стихах пришли в упадок;
Поэты в том виновны не совсем
(Хотя у многих стих не вовсе гладок),
И публика не права между тем;
Кто виноват, кто прав — уж я не знаю,
А сам стихов давно я не читаю —
Не потому, чтоб не любил стихов,
А так: смешно ж терять для звучных строф
Златое время... в нашем веке зрелом,
Известно вам, все заняты мы делом.

2

Стихов я не читаю — но люблю
Марать шутя бумаги лист летучий;
Свой стих за хвост отважно я ловлю;
Я без ума от тройственных созвучий
И влажных рифм — как, например, на ю.
Вот почему пишу я эту сказку.
Ее волшебна темную завязку
Не стану я подробно объяснять,
Чтоб кой-каких допросов избежать;
Зато конец не будет без морали,
Чтобы ее хоть дети прочитали.

Герой известен, и не пов предмет;
 Тем лучше: устарело все, что ново!
 Кипя огнем и силой юных лет,
 Я прежде пел про демона иного:
 То был безумный, страстный, детский бред.
 Бог знает где заветная тетрадка?
 Касается ль душистая перчатка
 Ее листов — и слышно: *c'est joli?*¹
 Иль мышь над ней старается в пыли?..
 Но этот черт совсем иного сорта —
 Аристократ и не похож на черта.

Перенестись теперь прошу сейчас
 За мною в спальню: розовые шторы
 Опущены — с трудом лишь может глаз
 Следить ковра восточные узоры.
 Приятный трепет вдруг объемлет вас,
 И, девственным дыханьем напоенный,
 Огнем в лицо вам пышет воздух сонный;
 Вот ручка, вот плечо, и возле них
 На кисее подушек кружевных
 Рисуетя младой, но строгий профиль...
 И на него взирает Мефистофель.

То был ли сам великий Сатана,
 Иль мелкий бес из самых нечиновных,
 Которых дружба людям так нужна
 Для тайных дел, семейных и любовных?
 Не знаю! Если б им была дана
 Земная форма, по рогам и платью
 Я мог бы сволочь различить со знатю;
 Но дух — известно, что такое дух:
 Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
 И мысль — без тела — часто в видах разных;
 (Бесов вообще рисуют безобразных).

¹ прелестно?.. (*франц.*)

Но я не так всегда воображал
 Врага святых и чистых побуждений.
 Мой юный ум, бывало, возмущал
 Могучий образ; меж иных видений,
 Как царь, немой и гордый, он сиял
 Такой волшебной сладкой красотой,
 Что было страшно... и душа тоскою
 Сжималась — и этот дикий бред
 Преследовал мой разум много лет.
 Но я, расставшись с прочими мечтами,
 И от него отделался — стихами!

Оружие отличное: врагам
 Кидаете в лицо вы эпиграммой...
 Вам насолить захочется ль друзьям?
 Пустите в них поэмой или драмой!
 Но полно, к делу. Я сказал уж вам,
 Что в спальне той таился хитрый демон.
 Невинным сном был тронут не совсем он.
 Не мудрено: кипела в нем не кровь,
 И понимал иначе он любовь;
 И речь его коварных искушений
 Была полна — ведь он недаром гений!

«Не знаешь ты, кто я, но уж давно
 Читаю я в душе твоей, незримо,
 Неслышно; говорю с тобою — но
 Слова мои как тень проходят мимо
 Ребяческого сердца — и оно
 Дивится им спокойно и в молчанье.
 Пускай. Зачем тебе мое названье?
 Ты с ужасом отвергнула б мою
 Безумную любовь — по я люблю
 По-своему... терпеть и ждать могу я,
 Не надо мне ни ласк, ни поцелуя.

Когда ты спишь, о ангел мой земной,
 И шибко бьется девственною кровью
 Младая грудь под грезюю ночной,
 Знай, это я, склонившись к изголовью,
 Любуюся — и говорю с тобой.
 И в тишине, наставник твой случайный,
 Чудесные рассказываю тайны...
 А много было взору моему
 Доступно и понятно, потому
 Что узами земными я не связан
 И вечностью и знанием наказан...

Тому назад еще немного лет
 Я пролетал над сонною столицей.
 Кидала ночь свой странный полусвет,
 Румяный запад с новою денницей
 На севере сливались, как привет
 Свидания с молением разлуки;
 Над городом таинственные звуки,
 Как грешных снов нескромные слова,
 Неясно раздавались — и Нева,
 Меж кораблей сверкая на просторе,
 Журча, с волной их уносила в море.

Задумчиво столбы дворцов немых
 По берегам теснились как тени,
 И в пене вод гранитных крылец их
 Купались широкие ступени;
 Минувших лет событий роковых
 Волна следы смывала роковые;
 И улыбались звезды голубые,
 Глядя с высот на гордый прах земли,
 Как будто мир достоин их любви,
 Как будто им земля небес дороже...
 И я тогда.., я улыбнулся тоже,

И я кругом глубокий кинул взгляд
 И увидал с невольною отрадой
 Преступный сон под сению палат,
 Корыстный труд пред тощею лампадой,
 И страшных тайн везде печальный ряд;
 Я стал ловить блуждающие звуки,
 Веселый смех — и крик последней муки:
 То ликовал иль мучился порок!
 В молитвах я подслушивал упрек,
 В бреду любви — бесстыдное желанье!
 Везде обман, безумство иль страданье.

Но близ Невы один старинный дом
 Казался полн священной тишиною;
 Все важностью наследственной в нем
 И роскошью дышало вековою;
 Украшен был он княжеским гербом;
 Из мрамора волнистого колонны
 Кругом теснились чинно, и балконы
 Чугунные воздушною семьей
 Меж них гордились дивною резьбой;
 И окон ряд, всегда прозрачно-темных,
 Манил, пугая, взор очей нескромных.

Пора была, боярская пора!
 Теснилась знать в роскошные покои —
 Былая знать минувшего двора,
 Забытых дел померкшие герои!
 Музыкай тут гремели вечера,
 В Неве дробился блеск высоких окон,
 Напудренный мелькал и вился локоп;
 И часто ножка с красным каблучком
 Давала знак условный под столом;
 И старики в звездах и бриллиантах
 Судили резко о тогдашних франтах.

Тот век прошел, и люди те прошли;
 Сменили их другие; род старинный
 Переверлся; в готической пыли
 Портреты гордых бар, краса гостиной,
 Забытые, тускнели; поросли
 Дворы травой, и, блеск сменив бывалый,
 Сырая мгла и сумрак длинной залой
 Спокойно завладели... тихий дом
 Казался пуст; но жил хозяин в нем,
 Старик худой и с виду величавый,
 Озлобленный на новый век и нравы,

Он ростом был двенадцати вершков,
 С домашними был строг неумолимо;
 Всегда молчал; ходил до двух часов,
 Обедал, спал... да иногда, томимый
 Бессонницей, собранье острых слов
 Перебирал или читал Вольтера;
 Как быть? Сильна к преданьям в людях вера;
 Имел он дочь четырнадцати лет,
 Но с ней видался редко; за обед
 Она являлась в фартучке, с мадамой;
 Сидела чинно и держалась прямо.

Всегда одна, запугана отцом
 И англичанки строгостью небрежной,
 Она росла, — как ландыш за стеклом
 Или скорей как бледный цвет подснежный.
 Она была стройна, но с каждым днем
 С ее лица сбегали жизни краски,
 Задумчивей большие стали глазки;
 Покинув книжку скучную, она
 Охотнее садилась у окна,
 И вдалеке мечты ее блуждали,
 Пока ее играть не посылали.

Тогда она сходила в длинный зал,
 Но бегать в нем ей как-то страшно было;
 И как-то странно детский шаг звучал
 Между колонн; разрытою могилой
 Над юной жизнью воздух там дышал.
 И в зеркалах являлись предметы
 Длиннее и бесцветнее, одеты
 Какой-то мертвой дымкою; и вдруг
 Неясный шорох слышался вокруг:
 То загремит, то снова тише, тише...
 (То были тени предков — или мыши!)

И что ж? — она привыкла толковать
 По-своему развалин говор странный,
 И стала мысль горячая летать
 Над бледною головкой и туманный,
 Воздушный рой видений навевать.
 Я с ней не разлучался. Детский лепет
 Подслушивать, невинной груди трепет
 Следить, ее дыханием с пемой,
 Мучительной и жадною тоской
 Как жизнью упиваться... это было
 Смешно! — но мне так ново и так мило!

Влюбился я. И точно хороша
 Была не в шутку маленькая Нина.
 Нет, никогда свинец карандаша
 Рафаэля иль кисти Перуджина
 Не начертали, пламенем дыша,
 Подобный профиль... все ее движенья
 Особого казались выраженья
 Исполнены — но с самых детских дней
 Ее глаза не изменяли ей,
 Тая равно надежду, радость, горе,
 И было темно в них, как в синем море.

Я понял, что душа ее была
 Из тех, которым рано все понятно.
 Для мук и счастья, для добра и зла
 В них пища много — только невозвратно
 Они идут, куда их повела
 Случайность, без раскаянья, упреков
 И жалобы — им в жизни нет уроков:
 Их чувствам повторяться не дано...
 Такие души я любил давно
 Отыскивать по свету на свободе:
 Я сам ведь был немножко в этом роде.

Ее смущали странные мечты;
 Порой она среди пустого зала
 Сиянье, роскошь, музыку, цветы,
 Толпу гостей и шум воображала;
 Кипела кровь от душной тесноты,
 На платье чудесные узоры
 Виднелись ей — и вот гремели шпоры,
 К ней кавалер незримый подходил
 И в мнимый вальс с собою уносил;
 И вот она кружилась в вихре бала
 И, утомясь, на кресло упала...

И тут она, склонив лукавый взор
 И выставив едва приметно ножку,
 Двусмысленный и темный разговор
 С ним завести старалась понемножку;
 Сначала был он весел и остер,
 А иногда и чересчур небрежен;
 Но под конец зато как мил и нежен!
 Что делать ей? — притворно строгий взгляд
 Его как гром отталкивал назад,
 А сердце билось в ней так шибко, шибко,
 И по устам змеилась улыбка.

Пред зеркалом, бывало, целый час
 То волосы пригладит, то красивый
 Цветок прищипит к ним; движенью глаз,
 Головке наклоненной вид ленивый
 Придав, стоит... и учится; не раз
 Хотелось мне совет ей дать лукавый,
 Но ум ее и сметливый и здравый
 Отгадывал все мигом сам собой;
 Так годы шли безмолвной чередой;
 И вот настал тот возраст, о котором
 Так полны ваши книги всяким вздором.

То был великий день: семнадцать лет!
 Все, что досель таилось за решеткой,
 Теперь надменно явится на свет!
 Старик отец послал за старой теткой,
 И съехались родные на совет;
 Их затруднял удачный выбор бала:
 Что, будет двор иль нет? Иных пугала
 Застенчивость дикарки молодой,
 Но очень тонко замечал другой,
 Что это вид ей даст оригинальный;
 Потом наряд осматривали бальный.

Но вот настал и вечер роковой.
 Она с утра была как в лихорадке;
 Поплакала немножко, золотой
 Браслет сломала, в суетах перчатки
 Разорвала... со страхом и тоской
 Она в карету села и дорогой
 Была полна мучительной тревогой
 И, выходя, споткнулась на крыльце...
 И с бледностью печальной на лице
 Вступила в залу... Странный шепот встретил
 Ее явленье — свет ее заметил,

Кипел, сиял уж в полном блеске бал;
Тут было все, что называют *светом*;
Не я ему название это дал,
Хоть смысл глубокий есть в названье этом;
Моих друзей я тут бы не узнал;
Улыбки, лица лгали так искусно,
Что даже мне чуть-чуть не стало грустно,
Прислушаться хотел я — но едва
Ловил мой слух летучие слова,
Отрывки безыменных чувств и мнений —
Эпиграфы неведомых творений!..»

.

1840

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1828

Поэт («Когда Рафаэль вдохновенный...») (стр. 23).— Тема стихотворения предложена поэтом С. Е. Раичем, руководившим пансионным литературным кружком. В альманахе «Цефей» (1829), составленном из сочинений участников пансионского «литературного общества», напечатано стихотворение «Видение Рафаэля», принадлежащее другому воспитаннику (подписано «К»).

1829

К Д...ву («Я пробежал страны России...») (стр. 24).— Дмитрий Дурнов — одноклассник Лермонтова, самый близкий из его пансионских друзей. В этом стихотворении поэт подражает Рылеву — посвящению к поэме «Войнаровский», обращенному к поэту-декабристу А. А. Бестужеву.

Веселый час (стр. 25).— Написано, видимо, в связи с известием о заключении в тюрьму французского поэта Пьера-Жана Беранже, привлеченного за свободолюбивые песни к судебной ответственности. Приговор был вынесен в конце 1828 года. Об этом широко писалось в иностранных и русских газетах.

Романс («Коварной жизнью недовольный...») (стр. 28).— Написано по случаю отъезда в Италию поэта и критика С. П. Шевырева, принимавшего близкое участие в издании журнала «Московский вестник».

В 1829 году в редакции «Московского вестника» произошел раскол, причиной которого послужила полемика Шевырева с Ф. Булгариным. Шевыреву пришлось оставить работу в жур

нале и уехать в Италию. Подробности этой истории Лермонтов мог знать от С. Е. Раича, который был близок к редакции «Московского вестника».

Гельвеция — Швейцария.

Портреты (стр. 29).— В автографе возле первого портрета имеется позднейшая приписка Лермонтова: «(Этот портрет был доставлен одной девушке: она в нем думала узнать меня: вот за какого эгоиста принимают обыкновенно поэта)».

Второй портрет, как можно судить, относится к кому-то из участников пансионского «общества любителей отечественной словесности» («Он добр, член нашего Парнаса»). Очевидно, и остальные портреты представляют собою эпиграммы на пансионских товарищей поэта.

Русская мелодия (стр. 32).— В автографе — позднейшая (зачеркнутая) приписка Лермонтова: «(Эту пьесу подавал за свою Раичу Дурнов — друг, — которого поныне люблю и уважаю за его открытую и добрую душу — он мой первый и последний)».

Приписка в автографе означает, что Лермонтов сочинил это стихотворение по просьбе Дурнова, который представил его Раичу как свое.

Романс («Невинный нежною душою...») (стр. 33).— В автографе — позднейшая приписка Лермонтова: «(Дурнову)», означающая, что стихотворение обращено к Дмитрию Дурнову.

Наполеон («Где бьет волна о брег высокой...») (стр. 34).— В стихотворениях «Поле Бородина», «Два великана», «Бородино», в VII строфе поэмы «Сашка» Лермонтов трактует Наполеона как узурпатора, посягнувшего на честь и свободу России; в стихотворениях «Наполеон» («Где бьет волна о брег высокой...»), «Наполеон (Дума)», «Эпитафия Наполеона», «Св. Елена», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье» поэт изображает величие и падение французского императора, образ которого олицетворяет, в его представлении, и романтического героя, и наследника французской свободы, завоеванной в 1789 году.

Жалобы турка (стр. 36).— В стихотворении иносказательно говорится о политической жизни России после разгрома декабристского движения. Условное изображение деспотических порядков в царской России под видом Турции было в литературе первой трети XIX столетия широко распространенным явлением.

Черкешенка (стр. 37).— В основу стихотворения легли воспоминания о поездке на Кавказ в 1825 году и о пребывании в имении «Шелковое» на Тереке.

Мой демон (стр. 39).— Написано в связи с началом работы

над поэмой «Демон», задуманной в 1829 году. Образ демона возник у Лермонтова под влиянием пушкинского стихотворения «Демон» (1823):

Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

В 1824 году стихотворение Пушкина было напечатано в «Мнемозине», где озаглавлено «Мой демон».

К другу («Взлелеянный на лопе вдохновенья...») (стр. 40).— Первоначально было озаглавлено «Эпилог к Д...ву».

Молитва («Не обвиняй меня, всеильный...») (стр. 43).— В основу этой иронической молитвы положена мысль, что вера в бога, «тесный путь спасенья», и свободное творчество — несовместимы.

1830

«Один среди людского шума...» (стр. 44).— Стихотворение впервые обнаружено в 1962 году среди бумаг из архива А. М. Верещагиной, хранившихся у профессора М. Винклера (ФРГ). Рядом с текстом стихотворения в автографе имеется позднейшая помета Лермонтова: «1830 года в начале».

Кавказ (стр. 46).— Летом 1825 года Лермонтов познакомился на кавказских водах с десятилетней девочкой. «Кто мне поверит,— записал он 8 июля 1830 года,— что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских...» и т. д.

Об этой привязанности он и вспоминает в третьей строфе. Стихотворение написано весной 1830 года, пять лет спустя после встречи («Пять лет пронеслось: все тоскую по вас...»).

Н. Ф. И...вой (стр. 48).— Обращено к Наталье Федоровне Ивановой, с которой Лермонтов познакомился в 1830 году. История отношений с ней отразилась в драме «Станный человек» (1831) и в обширном цикле стихотворений 1830—1832 годов, объединенных темой любви и измены.

Н. Ф. Иванова (род. в 1813 г.) — была дочерью московского поэта и драматурга Ф. Ф. Иванова (1777—1816).

Весна (стр. 50).— Это — первое стихотворение Лермонтова, появившееся в печати (с подписью «L») («Атеней», 1830, ч. IV).

В альбом («Нет! — я не требую вниманья...») (стр. 52).— Попытка передать стихотворение Байрона «Lines written in an Album at Malta» («Строки, написанные в альбом на Мальте»).

В 1836 году Лермонтов сделал новый перевод, приблизив его к оригиналу: «В альбом» («Как одинокая гробница...»).

На поле он («В неверный час, меж днем и темнотою ...») (стр. 56).— В строках: «Сей острый взгляд с возвышенным челом // И две руки, сложенные крестом», «Под шляпою, с нахмуренным челом, // И две руки, сложенные крестом» — перефразированы стихи из VII главы «Евгения Онегина» Пушкина, появившейся в свет в марте 1830 года.

Эпитафия («Простосердечный сын свободы...») (стр. 64).— «Эпитафия», как устанавливает Э. Э. Найдич, посвящена памяти поэта Д. В. Веневитинова, погибшего в 1827 году в 22-летнем возрасте; в строчках: «Он верил темным предсказаниям, и талисманам, и любви» — подразумевается цикл стихотворений Веневитинова, адресованных к Зинаиде Волконской и обращенных к подаренному ему перстню-талисману. Это предположение поддерживается тем, что вторая строка лермонтовского стихотворения представляет собою цитату из предсмертного стихотворения Веневитинова «Поэт и друг»: «Кто жизни не щадил для чувства».

Посвящение (стр. 65).— На одном листе с этим стихотворением в тетради лермонтовских автографов находится список действующих лиц трагедии «Испанцы». К ней, очевидно, и относится «Посвящение».

К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...») (стр. 66).— В автографе — позднейшая приписка Лермонтова. «(Прочитай жизнь Байрона <написанную> Муром)». Под текстом дата: «1830».

В 1830 году в Лондоне вышла книга «Письма и дневники Дж. Г. Байрона, составленная его другом — поэтом Томасом Муром» («Letters and journals of Byron, with notices on his life»), Сравнивая себя с Байроном («У нас одна душа, одни и те же муки»), шестнадцатилетний Лермонтов завидует «уделу» британского поэта, который погиб в Греции, куда приехал, чтобы сражаться за свободу и независимость греческого народа (1824).

Предсказание (стр. 67).— В автографе заглавие заключено в скобки. Рядом с заглавием сделана приписка (позднейшая): «(Это мечта)».

Написано под впечатлением крестьянских восстаний, участвовавших в 1830 году в связи с эпидемией холеры.

В русской литературе и в бытовой речи привилегированных классов выражение «черный год» было общепринятым обозначением пугачевщины.

10 июля (1830) (стр. 71).— Конец стихотворения неизвестен: следующий лист тетради, на котором было написано про-

должение,—вырван. По поводу уцелевшей части высказывались четыре гипотезы:

1. Что стихотворение представляет собой отклик на известие об июльской революции в Париже;
2. Что оно написано в связи с польским восстанием 1830 года;
3. Что это — обращение к кавказским горцам — и, наконец,
4. Что в стихотворении идет речь о восстании албанских патриотов.

Однако дата «10 июля», приписанная позже в виде заглавия, мешает отнести стихотворение к французским или польским событиям: революция во Франции началась 27 июля 1830 года (15 июля по старому стилю, принятому в то время в России), а восстание в Польше — только в ноябре. Не объясняет даты Лермонтова ни «кавказская», ни «албанская» гипотезы (последняя, кроме того, находится в резком противоречии с текстом стихотворения). Поэтому, к какому народу обращены эти строки Лермонтова, решить пока что не удастся. Следует отметить, однако, что дата «10 июля» не означает дня создания стихотворения. В лермонтовской тетради оно написано после стихотворения, озаглавленного: «1830 год. Июля 15-го. (Москва)», и еще двух других — следовательно, во второй половине июля.

Н и щ и й (стр. 72).— В своих «Записках» Е. А. Сушкова рассказывает, как в августе 1830 года большая компания молодежи отправилась пешком из Середникова в Троице-Сергиеву лавру. На паперти Лавры стоял слепой нищий. Услыхав звон монет, брошенных в его чашечку, он стал благодарить за подаяние: «Пошли вам бог счастье, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: паложили полную чашечку камушков».

В тот же день Лермонтов написал стихотворение, в последней строфе которого обращается к Сушковой, посмеявшейся над его чувством.

30 июля.— (П а р и ж) 1830 года (стр. 73).— Написано при известии о том, что во Франции произошла революция и король Карл X отрекся от престола.

С т а н с ы («Взгляни, как мой спокоеп взор...») (стр. 75).— В автографе под заглавием — пометы Лермонтова: «(1830 года)» и «(26 августа)», а рядом с текстом — рисунок поэта, изображающий девушку в профиль: считается, что это — Е. А. Сушкова. Но следует иметь в виду, что 26 августа — дата написания стихотворения — это Натальин день, и возможно, что стихотворение обращено к Наталье Ивановой.

Н о ч ь («Один я в тишине ночной...») (стр. 77).— В автографе рядом с заглавием — дата: «(1830 года почью. Августа 28)»

Новгород (стр. 81).— Обращено, очевидно, к сосланным декабристам. В таком случае под словом «тиран» Лермонтов подразумевает Николая I. В представлении декабристов и людей последекабрьского поколения, к которому принадлежал Лермонтов, общественный строй Новгорода был символом национально-русского общественного и политического строя.

Могила бойца (стр. 82).— В автографе под стихотворением — дата: «1830 год — 5 октября. Во время холеры-morbus».

Смерть («Закат горит огнистой полосой...») (стр. 84).— В копии обозначена дата: «1830. Октября 9». Стихотворение написано в связи с холерой.

Пир Асмодея (стр. 85).— Стихотворение представляет собою острую политическую сатиру. Во второй строфе упоминается «приезжий», имя которого Лермонтов даже в своей тетради заменил звездочками. Так как оно должно рифмоваться со словом «правил», то было высказано предположение (И. И. Власовым), что поэт имел в виду императора Павла I. Это вполне убедительно: в русской революционной поэзии Павел I был символом тирана-злодея. Пушкин проклинал его в оде «Вольность», Рылеев и Бестужев высмеивали в сатирической песне «Ты скажи-говори». Тем самым Лермонтов продолжал традиции революционной поэзии.

Вино свободы — намек на французскую революцию 1830 года и на революционное движение в Европе (народы «начали в куски короны бить»).

Последняя строфа — отклик на холерную эпидемию, разразившуюся в России осенью 1830 года.

На картину Рембрандта (стр. 88).— В этом стихотворении Лермонтов говорит о картине Рембрандта «Портрет молодого человека в одежде францисканца», которая в 30-х годах прошлого века хранилась в Москве, в художественной галерее Строгановых.

К*** («О, полно извинять разврат!..») (стр. 89).— В мае 1830 года в «Литературной газете» появилось послание Пушкина «К вельможе», в котором поэт обращался к князю Н. Б. Юсупову — сановнику екатерининского времени, доживавшему свой век в своем подмосковном имении Архангельском. Будучи смолоду дипломатом, Юсупов побывал во многих странах, встречался с Вольтером, Дидро, Бомарше, в 1789 году находился в Париже и был свидетелем французской революции. Именно этим и привлекла Пушкина фигура Юсупова.

Между тем многими современниками послание к нему было воспринято как измена традициям гражданской поэзии, клеймившей тиранов и вельмож. Летом 1830 года в «Московском теле-

графе» появилась пародия Н. Полевого, который обвинял Пушкина в том, что тот позволил себе обратиться с почтительными стихами к известному всей Москве бездушному, развратному вельможе. Еще раньше некоторые читатели восприняли стихотворения «Стансы» («В надежде славы и добра...»), «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»), «Чернь» («Поэт на лире вдохновенной...») как попытку Пушкина помириться с правительством Николая I.

Слухи о «смирении» Пушкина, об отказе его от прежних взглядов побудили шестнадцатилетнего Лермонтова обратиться к великому поэту с призывом оставаться певцом вольности и гражданского мужества, гордиться судьбою изгнанника. Под «изгнанием из страны родной» Лермонтов разумеет, конечно, бессарабскую ссылку Пушкина.

Словарь лермонтовского стихотворения — «злодеи», «глупцы», «щит», «порфира» — восходит к стихотворениям Пушкина «Деревня» («Не завидовать судьбе злодея иль глупца...»), к оде «Вольность» («твердый щит», «злодейская порфира») и помогает уяснить, что в последней строфе речь идет о вольнолюбивых стихах Пушкина. Возможно, что Лермонтов имеет в виду стихотворения «Арион», «Андрей Шенья», отрывок из которого после декабрьских событий 1825 года распространялся в списках под заглавием «На 14 декабря».

Лермонтов глубоко воспринял эти призывы Пушкина к вольности: «В этом есть краю // Один, кто понял песнь твою» («Один» употреблено здесь не в смысле «единственный», а как «один человек»).

Предположение, что в этом стихотворении Лермонтов обращается к Пушкину, впервые было высказано Алексеем Максимовичем Горьким («История русской литературы», М., 1939, стр. 162).

З в у к и (стр. 94).— Стихотворение навеяно игрой известного гитариста, сочинителя музыки для семиструнной гитары, М. Т. Высоцкого (1791—1837). В студенческие годы Лермонтов бывал у Высоцкого, который играл ему переложения русских народных песен.

Поле Бородина (стр. 95).— Это первое у Лермонтова обращение к теме Отечественной войны и к Бородинскому сражению. Хотя образ рассказчика и описание боя еще лишены исторической конкретности, в этом стихотворении уже появились афористические строки («И клятву верности сдержали // Мы в бородинский бой», «И ядрам пролетать мешала // Гора кровавых тел»), которые в 1837 году Лермонтов использовал в стихотворении «Бородино».

К*** («Не ты, но судьба виновата была...») (стр. 103).— Обращено, очевидно, к Н. Ф. Ивановой. См. прим. к стихотворению «Н. Ф. И...вой» (стр. 563).

Ночь («В чугуп печальный сторож бьет...») (стр. 104).— Стихотворение связано с лирическим циклом, обращенным к Н. Ф. Ивановой. Написано, по всем признакам, весной или летом 1831 года. В строках 1—9 угадывается пейзаж Середникова.

Из Андрея Шенье (стр. 112).— Судя по заглавию, это перевод из Андре Шенье. Однако такого стихотворения у Шенье обнаружить не удалось. Лермонтов приписал его французскому поэту, видимо, для того, чтобы зашифровать его откровенный политический смысл. В то время в списках распространялся отрывок из стихотворения Пушкина «Андрей Шенье» под заглавием «На 14 декабря». Многие воспринимали его как отклик на декабрьские события 1825 года. Очевидно, Лермонтов выставил имя Шенье, следуя пушкинской традиции.

Интересно при этом, что в первой строке использован распространенный в декабристских кругах термин «дело общее» (по-латыни «дело общее» звучит как «res publica»).

Тему изгнания и гибели Лермонтов развивает в целом ряде стихотворений 1830—1837 годов. Это характерно для настроений передовой молодежи его поколения. «Почти все наши грезы,— вспоминал Герцен,— оканчивались Сибирью или казнью и почти пикогда — торжеством» («Былое и думы», ч. I, гл. IV).

Стансы («Не могу на родине томиться...») (стр. 114).— Обращено к Н. Ф. Ивановой.

Мой демон (стр. 116).— В 1829 году, одновременно с первым наброском поэмы «Демон», Лермонтов написал стихотворение «Мой демон». Работая над новыми редакциями поэмы, он вернулся к этому стихотворению и переработал его.

1831-го июня 11 дня (стр. 118).— В строфе 5-й поэт обращается к Н. Ф. Ивановой, которой посвящен обширный цикл стихотворений 1830—1832 годов.

Романс к И... (стр. 127).— Обращено к Наталье Федоровне Ивановой.

К*** («Всевышний произнес свой приговор...») (стр. 128).— Стихотворение обращено к Н. Ф. Ивановой.

Желание («Зачем я не птица, не ворон степной...») (стр. 130).— В автографе рядом с заглавием — приписки Лермонтова «(Средниково. Вечер на бельведере)», «(29 июля)».

В стихотворении использованы сведения из родословной,

в которой говорится о шотландском происхождении родоначальника фамилии Лермонтовых — Джоржа (Георга) Лермонта.

С в. Е л е н а (стр. 131).— *Св. Елена* — остров в Атлантическом океане, на котором сосланный Наполеон Бонапарт умер в 1821 году.

А т а м а н (стр. 132).— В стихотворении использованы мотивы народных песен о Степане Разине.

К. Л. (стр. 136).— Считается, что буква «Л» означает фамилию Варвары Александровны Лопухиной. Для этого нет достаточных оснований.

Стихотворение напоминает стихотворение Байрона, озаглавленное «Стансы к*****, написанные при отплытии из Англии» («Stanzas to *****, on leaving England»).

К Н. И..... (стр. 138).— Н. И.— Наталья Иванова.

В о л я (стр. 139).— Написано в подражание народным песням.

С е н т я б р я 28 (стр. 141).— Относится к циклу лирических стихотворений, обращенных к Н. Ф. Ивановой.

И мне былое, взятое могилей, напомнил голос твой...— воспоминание о матери.

«Зови надежду сновиденьем...» (стр. 143).— Посвящено Е. А. Сушковой.

«П р е к р а с н ы в ы, поля земли родной...» (стр. 144).— «Могильная гряда» и «позабитый прах», о котором говорится в заключительных строках,— могила отца, Ю. П. Лермонтова, умершего 1 октября 1831 года в своем сельце Кропотковке, Ефремовского уезда, Тульской губернии. Памяти отца Лермонтов посвятил стихотворения «Ужасная судьба отца и сына...», «Эпитафия» и строфу стихотворения «Я видел тень блаженства...».

К кн. Л. Г.— ой (стр. 146).— Высказывалось предположение, что стихотворение это обращено к княжне Л. Горчаковой, двоюродной сестре Н. Ф. Ивановой.

А н г е л (стр. 149).— В 1839 году это стихотворение появилось в «Одесском альманахе на 1840 год», который составлял возвратившийся из ссылки Н. И. Надеждин — профессор Московского университета, критик, историк искусства, редактор журнала «Телескоп», пострадавший за опубликование «Философического письма» Чаадаева. Желая принять участие в альманахе, Лермонтов отдал Надеждину, лекции которого он слушал в годы студенчества, юношеское стихотворение «Ангел». Это — единственное из юношеских произведений, которое он опубликовал при жизни с подписью своего имени. Однако, составляя в 1840 году сборник своих стихотворений, Лермонтов «Ангела» в него не включил. Вероятнее всего, что это решение созрело в связи с отзывом Бе-

линского, который в рецензии на «Одесский альманах» дал «Ангелу» отрицательную оценку. Замысел стихотворения возник в связи с воспоминанием о песне, которую певала Лермонтову покойная мать.

«Ужасная судьба отца и сына...» (стр. 150).—В этом стихотворении Лермонтов говорит о смерти отца. Биография Юрия Петровича Лермонтова не изучена из-за полного отсутствия материалов. Поэтому некоторые выражения здесь не поддаются истолкованию.

Свершил свой подвиг — торжественно-книжное архаическое выражение, означающее завершение жизненного пути.

«Пусть я кого-нибудь люблю...» (стр. 152).—В автографе имеются вычеркнутый заголовок «(Стансы)» и вычеркнутые строфы — 1-я и 3-я.

Строфа 1-я:

Гляжу вперед сквозь сумрак лет,
Сквозь луч надежд, которым нет
Определенья, и они
Мне обещают годы, дни,
Подобные минувшим дням,
Ни мук, ни радостей, а там
Конец — ожидаемый конец:
Какая будущность, творец!

Строфа 3-я:

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя:
От них остался только я,
Неужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом;
В ней соку нет, хоть зелена,—
Дочь смерти — смерть ей суждена!

Судьба родителей Лермонтова была несчастной. Вскоре после брака они разъехались. Мать поэта — Мария Михайловна — умерла в 1817 году, в возрасте 21 года. Юрий Петрович Лермонтов переехал ее на 14 лет; умер в одиночестве, вдали от сына.

Из Паткуля (стр. 155).— Летом 1831 года вышел роман И. Лажечникова «Последний Новик» (части I—II), в котором большое внимание уделено личности Иоганна Рейнгольда Паткуля (1660—1707), лифляндского политического деятеля, возглавлявшего борьбу за освобождение Прибалтики от шведской оккупации. Рассчитывая, что борьба России со Швецией приведет к освобождению его родины, Паткуль в 1702 году перешел на службу к Петру I. Петр оценил Паткуля и назначил русским посланником в Польше. Польский король выдал его шведам. В 1707 году,

по приговору короля Карла XII, Паткуль был колесован и четвертован. Лермонтов был знаком не только с романом Лажечникова, но и с книгой «Письма несчастного графа Иоганна Рейнгольда Паткуля, полководца и посланника российского императора Петра Великого» (М., 1806). Этим объясняется и заглавие стихотворения.

«Я не для ангелов и ра я...» (стр. 156).— Стихотворение написано по окончании работы над второй редакцией «Демона» (это видно по расположению его в тетради) и представляет собою своего рода послесловие к поэме.

«Настанет день — и миром осужденный...» (стр. 157).— В своих стихотворениях: «1831-го июня 11 дня» (строфы 30 и 31), «Романс к И...», «Из Андрея Шенье», «Не смейся пад моей пророческой тоскою...», «Когда твой друг с пророческой тоскою...» — Лермонтов постоянно возвращается к мысли о том, что ему суждено совершить какой-то подвиг в борьбе за «дело общее», что его ожидает гибель на плахе или изгнание и смерть на чужбине.

К Д. (стр. 159).— К кому обращено стихотворение — не установлено.

Отрывок («Три ночи я провел без сна — в тоске...») (стр. 160).— К 1831 году относятся две записи, в которых намечен сюжет исторической поэмы или стиховой драмы о Мстиславе Черном. Действие ее должно было происходить в Киевской Руси во времена татарского нашествия. Сохранился план, в котором записано: «Мстислав три ночи молится на кургане, чтоб не погибло любезное имя России».

«Отрывок» представляет собою монолог Мстислава из этого неосуществленного сочинения. Первоначально так и был озаглавлен: «Монолог».

Баллада («В избушке поздней порою...») (стр. 162).— Как и «Отрывок» («Три ночи я провел без сна — в тоске...»), «Баллада» возникла в связи с замыслом исторической поэмы или драмы о Мстиславе. В сохранившемся плане сказано: «Мстислав проходит мимо деревни; одна женщина поет, баюкая ребенка (*Что за пыль... Злы татаровья*) — он радуется тому, что эта песня вдохнет ребенку ненависть против татар...» В другом наброске плана эта песня приурочена к смерти Мстислава: «Он израненный лежит в хищине, хозяйка крестьянка баюкает ребенка песнью: *Что за пыль пылит*. Входит муж ее израненный».

«Я не люблю тебя; страстей...» (стр. 164).— В 1837 году Лермонтов переработал это стихотворение и включил его в сборник, вышедший в свет в 1840 году (см. «Расстались мы, но твой портрет...»),

«Люблю я цепи синих гор...» (стр. 166).— Возможно, что это фрагмент поэмы «Измаил-Бей» — авторское отступление, не использованное в окончательной редакции.

Прощайё («Не уезжай, легионец молодой...») (стр. 168).— Этот отрывок возник в связи с работой Лермонтова над «Измаил-Беем» и представляет собою первоначальный вариант прощания Зары и Измайла (ср. строфу XXXIV 1-й главы поэмы).

К* («Я не унижусь пред тобою...») (стр. 171).— Прощальное послание к Н. Ф. Ивановой.

<В альбом Н. Ф. Ивановой> (стр. 173).— Единственное стихотворение, в котором имя Н. Ф. Ивановой оказалось незашифрованным. Очевидно, здесь идет речь о кратком свидании, состоявшемся после того, как предыдущее стихотворение («...стих безумный, стих прощальный») в альбом Н. Ф. Ивановой было уже вписано. Этим определяется и место данного стихотворения среди лирики 1832 года.

<В альбом Д. Ф. Ивановой> (стр. 174).— *Иванова* Дарья Федоровна — сестра Н. Ф. Ивановой.

«Как луч зарц, как розы Леля...» (стр. 175).— Лермонтов говорит здесь об Н. Ф. Ивановой.

«Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» (стр. 176).— Ритмическая проза, переходящая в стих (дактиль). Высказывалось предположение, что это черновая запись, заготовка, конспект для будущего стихотворного текста.

Действительно, многие образы этой записи почти дословно повторены во вступительных строфах поэмы «Измаил-Бей», над которой Лермонтов работал именно в это время.

Последний абзац в автографе вычеркнут.

Романс («Стояла серая скала на берегу морском...») (стр. 178).— Обращено к Н. Ф. Ивановой.

Прелестнице (стр. 179).— В 1841 году Лермонтов переделал это стихотворение и назвал его «Договор».

Эпитафия («Прости! увидимся ль мы снова!..») (стр. 180).— Обращено к Н. Ф. Ивановой

«Нет, я не Байрон, я другой...» (стр. 182).— В узком кругу читателей Лермонтова его поэзия пользовалась признанием уже в начале 1830-х годов. Видимо, кто-то из них сравнил его с Байроном. Первая строка — отрицание: «Нет, я не Байрон, я другой» — позволяет предполагать, что кто-то вел разговор с ним на эту тему.

Сонет («Я память живу с увядшими мечтами...») (стр. 185).— Обращено к Н. Ф. Ивановой.

К* («Мы случайно сведены судьбою...») (стр. 186).— Первое стихотворение, обращенное к Варваре Александровне Лопухиной (1814—1851).

К* («Оставь напрасные заботы...») (стр. 188).— Обращаясь в этом стихотворении к В. А. Лопухиной, Лермонтов говорит о своей недавней мучительной любви к Н. Ф. Ивановой.

«Я жить хочу! хочу печали...» (стр. 189).— Дошло до нас в тексте письма Лермонтова к С. А. Бахметевой, написанного в августе 1832 года.

«Приветствую тебя, воинственных славян...» (стр. 191).— Новгород до конца XV века управлялся выборным вечем и являлся торговой республикой. Вечевой колокол и самое имя Новгорода в русской революционной поэзии XIX века служили символом свободы.

Желанье («Отворите мне темницу...») (стр. 192).— Это стихотворение дошло до нас и в иной редакции с дополнительными строками 5—8:

Я пущусь по дикой степи,
И надменно сброшу я
Образованности цепи
И вериги бытия.

Есть третья редакция, состоящая всего из восьми строк: 5—8 строки читаются так:

Чтоб я с ней по синю полю
Ускакал на том коне,
Дайте волю — волю, волю,—
И не надо счастья мне!

В 1837 году Лермонтов переделал это стихотворение и назвал его «Узник».

Два великана (стр. 193).— В образе двух великанов в сказочно-аллегорической форме изображена борьба русского народа с Наполеоном и изгнание его из России в 1812 году.

Неведомый гранит — остров Святой Елены в Атлантическом океане, на котором Наполеон находился в ссылке после окончательного своего поражения в 1815 году вплоть до смерти (в 1821 г.)

К* («Прости! — мы не встретимся боле...») (стр. 194).— Относится к Н. Ф. Ивановой.

«Безумец я! вь правы, правы!...» (стр. 196).— В автографе вычеркнуто заглавие: «Толпе». Под этим словом Лермонтов подразумевает светскую толпу, светскую чернь.

«Она не гордой красотою...» (стр. 197).— Построено

на сравнении В. А. Лопухиной с Н. Ф. Ивановой. Это предположение высказал профессор Н. Л. Бродский.

«Примите дивное посланье...» (стр. 198).— В этом стихотворении Лермонтов делится первыми впечатлениями от столицы. Отправлено из Петербурга в письме к С. А. Бахметевой (в августе 1832 г.). В строках 1—4 содержится каламбур: под «Павловым писаньем» Лермонтов разумеет послание апостола Павла (слова «посланье» и «Павлово» подчеркнуты). Павел, который должен доставить письмо,— Павел Евреинов, прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка, родственник Лермонтова.

Челнок (стр. 199).— «Если бы я начал писать к вам за час прежде,— сообщал Лермонтов приятельнице по поводу этого стихотворения,— то, быть может, писал бы вовсе другое; каждый миг у меня новые фантазии».

«Для чего я не родился...» (стр. 200).— Написано 27 августа 1832 года в Петербурге, после небольшого наводнения. Отсылая на следующий день письмо в Москву М. А. Лопухиной, Лермонтов писал ей: «Вода опускалась и подымалась. Ночь была лунная, я был у своего окна, которое выходит на канал. Вот, что я написал». Далее следует текст стихотворения.

Парус (стр. 203).— Написано на берегу Финского залива, вскоре после переезда в Петербург, в августе 1832 года. 2 сентября Лермонтов послал текст «Паруса» в Москву, в письме М. А. Лопухиной.

Первая строка — «Белеет парус одинокой» — совпадает со стихом из анонимно изданной в 1828 году в Москве поэмы декабриста А. А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский» (гл. 1, строфа 19).

Стихотворение было воспринято в русском обществе как выражение передовых гражданских идей того времени.

«Он был рожден для счастья, для надежд...» (стр. 208).— Первая строфа почти без изменений вошла в стихотворение «Памяти А. И. Одоевского» (1839). Вторая использована в «Думе» (1838).

Русалка (стр. 209).— В сборнике стихотворений Лермонтова 1840 года «Русалка» напечатана с датой: «1836». Между тем, как выяснилось после находки так называемой «казанской тетради» автографов, она написана в 1832 году.

Гусар (стр. 211).— Красные доломаны и шитые золотом ментики — форма лейб-гвардии Гусарского полка, в который Лермонтов был зачислен по вступлении в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Коня в этом полку были серые («Когда ты, ментиком блистая, // Торопишь серого коня...»).

Юнкерская молитва (стр. 214).— Автограф неизвестен. Печатается по копии, которая принадлежала родственнику поэта А. П. Шан-Гирею. В этой копии выставлен год: «1833».

Алеза — преподаватель юнкерской школы Алексей Степанович Стунеев.

«В рядах стояли безмолвной толпой...» (стр. 215).— Биограф Лермонтова М. Ф. Николева установила, что в этом стихотворении поэт говорит о похоронах Егора Сиверса — воспитанника школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Сиверс числился юнкером лейб-гвардии Уланского полка, умер 5 декабря 1833 года. Написано в подражание известному стихотворению И. И. Козлова «На погребение английского генерала сира Джона Мура» («Не бил барабан перед смутным полком...»).

Умирающий гладиатор (стр. 217).— Эпиграф — из поэмы Байрона «Чайльд-Гарольд» (песнь IV, строфа CXL): «Я вижу перед собою лежащего гладиатора».

Стихотворение представляет собою вольное переложение той же четвертой песни байроновской поэмы (СXXXIX—СXLI).

Еврейская мелодия («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..») (стр. 219).— Вольный перевод стихотворения Байрона «My soul is dark» («Hebrew melodies»).

В альбом («Как одинокая гробница...») (стр. 220).—Перевод стихотворения Байрона «Lines written in an Album at Malta» («Строки, написанные в альбом на Мальте»).

В 1830 году Лермонтов уже обращался к этому стихотворению и создал два варианта, далекие от оригинала. Перерабатывая перевод, он приблизил его к подлиннику, передав его с определенными отступлениями.

«Великий муж! здесь нет паграды...» (стр. 221).—Верхняя часть рукописи оторвана: первые строфы, в которых, может быть, заключалось имя «великого мужа», утрачены. Догадка о том, что это был П. Я. Чаадаев, подвергшийся преследованиям за «Философическое письмо», опубликованное в «Телескопе» осенью 1836 года, оспорена. Взамен ее высказано предположение, что «великий муж» — М. Б. Барклай-де-Толли, первый главнокомандующий русской армией в 1812 году, несправедливо обвиненный молвой в измене и уступивший место Кутузову. Называются и другие имена — А. Н. Радищева, К. Ф. Рыльева, П. И. Пестеля. Вопрос остается нерешенным.

Смерть Поэта (стр. 222).— Гибель Пушкина вызвала среди широчайших кругов петербургского населения огромное негодование по адресу Дантеса и его приемного отца Геккерна и выражение любви к поэту, небывалое в истории мировой культуры. Десятки тысяч людей перебивали возле дома на Мойке, где умирал Пушкин, нескончаемая вереница шла через квартиру мимо гроба убитого. В эти дни столичное общество резко разделилось на два лагеря: аристократия во всем обвиняла Пушкина и оправдывала Дантеса, демократические круги восприняли гибель поэта как национальное бедствие.

Мощное выражение общественного протеста заставило правительство Николая I принять чрезвычайные меры: дом поэта в час выноса был оцеплен жандармами, панихида в Исаакиевской церкви отменена и отслужена в церкви придворной, куда пускали по специальным билетам, гроб с телом Пушкина отправлен в псковскую деревню почью, тайно и под конвоем. Друзья Пушкина обвинены в намерении устроить из погребения поэта политическую манифестацию.

В этих условиях стихотворение Лермонтова было воспринято в русском обществе как выдающееся по смелости выражения политического протеста. Лермонтов единственный в то время сказал о причинах гибели Пушкина правду, о которой молчали даже пушкинские друзья.

Излагая впоследствии обстоятельства, при которых стихотворение было написано, арестованный Лермонтов показал, что по болезни не выходил из дому в эти дни. Однако имеются основания считать, что показание сделано было с тем, чтобы отклонить нежелательные вопросы о том, где он бывал и с кем в это время встречался. П. П. Семенов-Тянь-Шанский, знаменитый впоследствии географ и путешественник, а в ту пору десятилетний мальчик, приезжал к дому Пушкина вместе с дядей своим, цензором В. Н. Семеновым, чтобы справиться о состоянии здоровья поэта, и там, на Мойке, возле дома, где умирал Пушкин, они видели Лермонтова.

Есть сведения, что стихотворение распространялось в списках уже 30 января — на другой день после смерти поэта. К «Делу о непозволительных стихах...» приложена копия, под которой выставлена дата: «28 Генваря 1837 года» — тогда как Пушкин умер только 29-го. Однако следует иметь в виду, что слух о том, что Пушкин умер, распространялся несколько раз в продолжение двух с половиной дней, в частности, вечером 28-го. Видимо, в этот вечер Лермонтов и написал первую часть «элегии», после горячего

спора с приятелями, павестившими его на квартире, где он жил вместе с другом своим Святославом Раевским. Раевский писал потом, что «элегия» (то есть первоначальный текст стихотворения, кончая словами: «И на устах его печать») была отражением мнений не одного Лермонтова, «но весьма многих». По словам другого очевидца — родственника поэта А. Шан-Гирея, — она была написана в продолжение «нескольких минут». С помощью друзей и сослуживцев Раевского — чиновников департамента государственных имуществ и департамента военных поселений этот текст был размножен и распространился по городу во множестве списков.

Через несколько дней (7 февраля) к Лермонтову приехал его родственник — камер-юнкер Николай Столыпин, один из ближайших сотрудников министра иностранных дел Нессельроде. Возник спор о Пушкине и о Дантесе, в котором Столыпин принял сторону убийцы поэта и, выражая враждебное отношение к Пушкину великосветских кругов и суждения, исходившие из салона злейшего врага Пушкина графини Нессельроде, стал утверждать, что Дантес не мог поступить иначе, чем поступил, что иностранцы не подлежат русскому суду и русским законам. Как бы в ответ на эти слова Лермонтов тут же приписал к стихотворению шестнадцать новых — заключительных — строк, начинающихся словами: «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов». В этом добавлении были названы главные виновники гибели Пушкина — придворные Николая I.

До нас дошел список стихотворения, на котором неизвестный современник Лермонтова, чтобы пояснить, кого имел в виду автор, говоря о «потомках известной подлостью прославленных отцов», выставил фамилии графов Орловых, Бобринских, Воронцовых, Завадовских, князей Барятинских и Васильчиковых, баронов Энгельгардтов и Фредериксов, отцы и деды которых добились положения при дворе путем искательства, любовных связей, закулисных интриг, «поправ» при этом «обломки... обиженных родов» — то есть тех, чьи предки издревле отличались на полях брани или на государственном поприще, а затем — в 1762 году — при воцарении Екатерины II, подобно Пушкиным, ввали в немилость.

Копии с текстом заключительных строк «Смерти Поэта» стали распространяться в тот же вечер, и стихотворение ходило по рукам с «прибавлением» и без «прибавления». Текст с прибавлением, в свою очередь, раздавался в двух вариантах — одном без эпиграфа, другом с эпиграфом, заимствованным из трагедии французского драматурга XVII столетия Жана Ротру «Венцеслав» (в переводе А. Жандра):

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Во многих «полных» копиях эпитафия отсутствует. Из этого вытекает, что он предназначался отнюдь не для всех, а для определенного круга читателей, связанных с «двором». В копии, снятой родственниками поэта для А. М. Верещагиной и, следовательно, достаточно авторитетной, эпитафия нет. Но снабженная эпитафией копия фигурирует в следственном деле. Есть основания думать, что довести до III Отделения полный текст с эпитафией стремился сам Лермонтов. Упоминание о троне, окруженном жадной толпой палачей свободы, напоминание о грядущей расплате касались не только придворных саповников, но и самого императора. Эпитафия должен был смягчить смысл последней строфы: ведь, если поэт обращается к императору с просьбой о наказании убийцы, следовательно, Николаю незачем воспринимать стихотворение по своему адресу. В то же время среди широкой публики стихотворение ходило без эпитафии.

На основании изложенных соображений в последних изданиях Лермонтова эпитафия перед текстом стихотворения не воспроизводится.

Но цели своей поэт не достиг: эпитафия была понята как способ ввести правительство в заблуждение, и это усугубило вину Лермонтова.

После того, как Николай I получил по городской почте список стихотворения с надписью «Воззвание к революции» и заключительные строки были квалифицированы как «вольнодумство, более чем преступное», Лермонтов, а затем и Раевский подверглись аресту. Семидневное расследование дела о «непозволительных стихах» закончилось ссылкой — Лермонтова на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, Раевского, виновного в распространении стихов, — в Олонецкую губернию.

Впервые (без эпитафии) стихотворение было напечатано в 1856 году за границей: Герцен поместил его в своей «Полярной звезде».

Бородино (стр. 225).— Впервые появилось в 1837 году в шестой книжке журнала «Современник», который издавал А. С. Пушкин, а после его смерти продолжали В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, П. А. Плетнев и А. А. Краевский.

Есть основания думать, что стихотворение попало в редакцию «Современника» при жизни Пушкина.

«Бородино» — первое произведение Лермонтова, появившееся в печати с подписью его имени и с его ведома («Хаджи Абрек» напечатан в «Библиотеке для чтения» без разрешения автора). «Бородино» составляет начало литературно-журнальной известности Лермонтова. Причем самая тема стихотворения и появление его на страницах пушкинского журнала сообщали этому выступлению программный характер.

Впервые в русской поэзии рассказывает о великом событии и дает ему историческую оценку солдат, рядовой участник сражения. В стихотворении нет ни одного имени — ни царя, ни полководцев, только один безымянный «полковник-хват». Бородинская битва описана «изнутри», изображена самая гуща боя. Лермонтов описывает сражение очень конкретно и точно: солдат в стихотворении — артиллерист, место сражения — курганная батарея Раевского. Язык рассказчика полон мягких изречений и простонародных словечек. В основу «Бородина» легли рассказы участников исторической битвы, в том числе родственников Лермонтова, отличившихся на Бородинском поле.

При Николае I солдатская служба продолжалась двадцать пять лет. В середине 30-х годов еще не окончили срока многие ветераны Отечественной войны. И Лермонтов воспроизводит характерную для того времени военно-бытовую сцену — разговор поколений о причинах поражения Наполеона. Однако смысл «Бородина» не сводится к точности описаний и верности исторической оценки сражения. Белинский в статье (1841) о стихотворениях Лермонтова отмечал, что вся основная идея «Бородина» выражена во втором куплете, которым начинается ответ старого солдата:

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!

«Эта мысль — жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел», — писал Белинский, указывая, что «тоска по жизни» связывает «Бородино» с целым рядом стихотворений Лермонтова, полных «энергии и благородного негодования». Великий критик раскрыл связь между «Бородином» и «Думой», показал, что, даже обращаясь к истории, Лермонтов откликнулся на самые животрепещущие вопросы современности.

Лев Толстой назвал «Бородино» — «зерном» своей «Войны и мира».

Замысел стихотворения относится к 1831 году (см. «Поле Бородина»).

Ветка Палестины (стр. 228). — Знакомый Лермонтова,

Андрей Николаевич Муравьев — видный сановник и литератор, утверждал, что «Ветка Палестины» была написана в его квартире, когда Лермонтов приезжал к нему с просьбой похлопотать по делу о стихах на смерть Пушкина. «Долго ожидая меня,— говорит Муравьев,— написал он... чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной, при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока».

В копии под заглавием вычеркнуто: «Посвящается А. М — ву», то есть А. Муравьеву.

Узник (стр. 230).— По словам родственника Лермонтова А. П. Шан-Гирея, стихотворение было написано в феврале 1837 года, когда Лермонтов сидел под арестом в здании Главного штаба за сочинение стихов на смерть Пушкина. В это время к нему пускали только его камердинера, приносившего обед. Поэт велел ему завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько стихотворений: «Когда волнуется желтеющая нива...», «Я, мать божия, ныне с молитвою...», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед...» и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу...». Этот рассказ подтверждается дошедшим до нас автографом «Узника» («Отворите мне темницу...»), написанным с помощью спички и сажи.

«Когда волнуется желтеющая нива...» (стр. 232).— А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях утверждал, что стихотворение написано в феврале 1837 года, когда Лермонтов находился под арестом в здании Главного штаба. Это утверждение не расходится с датой, которую Лермонтов выставил в сборнике стихотворений 1840 года: «1837».

Молитва («Я, мать божия, ныне с молитвою...») (стр. 233).— В письме к Марии Лопухиной от 15 февраля 1838 года озаглавлено «Молитва странника». Странником Лермонтов иносказательно называет себя в стихах, написанных в год ссылки. Посылая письмо из Петербурга в Москву, уже после возвращения из ссылки, Лермонтов пишет о том, что случайно нашел стихотворение это в дорожных бумагах и что оно ему «довольно-таки нравится именно потому, что я забыл его — впрочем, это ничего не доказывает». Стихотворение относится, очевидно, к Варваре Лопухиной.

«Расстались мы, но твой портрет...» (стр. 234).— Представляет собою переработку юношеского стихотворения «Я не люблю тебя; страстей // И мук умчался прежний сон...», написанного в 1831 году и обращенного к Е. А. Сушковой.

«Не смейся над моей пророческой тоскою...» (стр. 236).— Стихотворение не окончено. Написано, по некоторым

признакам, в 1837 году, после того как Лермонтов был привлечен к «Делу о непозволительных стихах» за смерть Пушкина.

Терновый венец — символ страданий, мучений — связан у Лермонтова с представлением о судьбе поэта в тогдашних политических условиях. Терновый венец язвит славное чело Пушкина («Смерть Поэта»), «терниями клевет» окружено в свете имя Александра Одоевского («Памяти А. И. Одоевского»). «Венец певца, венец терновый» принадлежит самому Лермонтову.

«Спеша на север из далека» (стр. 237). — Написано в Тифлисе или на Военно-Грузинской дороге, при возвращении из ссылки «на север» — в Россию.

<Эпиграммы на Ф. Булгарина I, II> (стр. 239). — *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный писатель, агент III Отделения, имя которого стало символом продажности и бесчестия. Под непосредственным контролем III Отделения редактировал (вместе с Н. И. Гречем) газету «Северная пчела», где печатал статьи, исполненные ненависти к Пушкину, Гоголю, Белинскому и другим прогрессивным писателям.

В 1837 году вышли в свет три части разрекламированного в «Северной пчеле» издания «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях, ручная книга для русских людей всех сословий, сочинение Фаддея Булгарина, в 8 частях». Эта безграмотная компиляция была составлена даже не Булгариным, а одним из его сотрудников. Несмотря на рекламу, книгу не покупали, хотя продавалась она по очень дешевой цене. Во время Отечественной войны 1812 года Булгарин служил в армии Наполеона. На сопоставлении этих фактов и построены эпиграммы Лермонтова.

1838

К и н ж а л (стр. 241). — В автографе — носит заглавие «Кинжал»; в копии, сохранившейся в одной из лермонтовских тетрадей, первоначально получило другое заглавие — «Подарок», снова замененное на «Кинжал».

В поэзии XVIII—XIX веков образ кинжала являлся символом борьбы за свободу. В лирике Лермонтова он связан с проявлением лучших человеческих качеств, чести, доблести, благородства, стремления к свободе и независимости в самом широком смысле.

Несомненно, Лермонтов знал распространявшееся нелегальным путем стихотворение Пушкина «Кинжал» (1821): «Лемносский бог тебя сковал // Для рук бессмертной Немезиды». Интимный тон лермонтовского стихотворения выглядит как намеренный отказ от пафоса пушкинского «Кинжала».

«Она пост — и звуки тают...» (стр. 243).— Исследователь творчества Лермонтова Э. Э. Найдич высказал предположение, что поэт обращается к известной певице П. А. Бартеневой, с которой он был знаком еще по Москве, а в Петербурге постоянно встречался в салоне Карамзиных.

«Как небеса, твой взор блистает...» (стр. 244).— Как и следующее («Слышу ли голос твой...»), обращено, видимо, к тому же лицу, о котором идет речь в стихотворении «Она поет — и звуки тают...».

Вид гор из степей Козлова (стр. 246).— Это перевод одного из «Крымских сонетов» Адама Мицкевича. Как свидетельствует в своих записках один из сослуживцев Лермонтова, А. И. Арнольди, подстрочный перевод с польского был сделан для поэта его сослуживцем по лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку корнетом Н. А. Краснокутским.

Козлов (Гезлёв) — старинное название Евпатории,

<А. Г. Хомутовой> (стр. 247).— Анна Григорьевна Хомутова (1784—1856) — двоюродная сестра и друг молодости известного поэта Ивана Ивановича Козлова. Жизнь разлучила их, и свиделись они лишь в 1838 году, после двадцатилетней разлуки, когда слепой Козлов лежал разбитый параличом. Встреча с Хомутовой вдохновила его на стихотворение «К другу весны моей после долгой, долгой разлуки».

С Козловым часто встречались родственники Лермонтова Столыпины, жившие в 1838 году в Петербурге. Сохранились свидетельства, что с ним был знаком и сам Лермонтов, а в доме своего полкового командира М. Г. Хомутова встречался с сестрой Козлова — Анной Григорьевной, которая показала ему однажды стихи Козлова. «Он попросил позволения взять их с собой и на другой день возвратил их со своими стихами на имя Хомутовой» («Русский архив», 1886, № 2),

Дума (стр. 248).— Связь этого стихотворения с «Думами» и «Гражданином» Рылеева несомненна. Лермонтов выступил с ним на страницах «Отечественных записок» (1839, № 2). Передовые люди 1830—1840-х годов увидели в «Думе» выражение собственных мыслей и чувств и приводили нередко лермонтовские строки в своих письмах и дневниках. «Эти стихи писаны кровью; они вышли из глубины оскорбленного духа, — писал Белинский, — это вопль, это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!.. И кто же из людей нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?..»

Известный исследователь поэзии Лермонтова, Б. М. Эйхенба-

ум, отмечал, что ораторские обороты «Думы» подготовлены такими стихотворениями, как «Умиравший гладиатор» и «Смерть Поэта», и что «Дума» по жанру и по отдельным мотивам — произведение итоговое, подготовленное всем развитием лермонтовской лирики. Личная трактовка темы обреченности заменена в ней трактовкой исторической: лирическое «я» обобщено и расширено до пределов поколения. С другой стороны, многие обороты, речения и темы «Думы» использованы в последовавших за нею произведениях Лермонтова, в том числе в "Герое нашего времени".

Поэт ("Отделкой золотой блистает мой кинжал...") (стр. 250).— В стихотворении демонстративно воскрешается декабристская тема: Лермонтов, вслед за декабристами и Пушкиным, трактует поэта как неперемного участника политической борьбы. Недаром он сравнивает слово поэта с кинжалом и с вечным колоколом — символами свободы, а в последней строфе искусно сводит воедино образ поэта и образ кинжала. Встречая слова: «кинжал», «вечевой колокол», «пророк», «клинок», «мщенье», читатель того времени без труда угадывал идеи и пафос стихотворения, в котором Лермонтов говорит о состоянии русской поэзии после гибели Пушкина. И в этом смысле «Поэт» представляет собой литературную декларацию.

К а з а ч ь ю к о л ы б е л ь н а я п е с н я (стр. 252).— Сохранилось предание, что Лермонтов написал это стихотворение в столице Червленной, на Тереке. В хате, где ему отвели квартиру, молодая красавица казачка напевала песню над колыбелью сына своей сестры. И казак, переносивший в комнату вещи поэта, рассказывал потом, будто Лермонтов присел тут же к столу, набросал на клочке бумажки свою «Казачью колыбельную песню», а потом прочел ее вслух, чтобы узнать его мнение.

Восторженно отзывался об этом стихотворении Белинский, «Все, что есть святого, беззаветного в любви матери,— писал он,— весь трепет, вся нега, вся страсть, вся бесконечность кроткой нежности, безграничность бескорыстной преданности, какую дышит любовь матери,— все это воспроизведено поэтом во всей полноте».

1839

«Ребенок милого рожденья...» (стр. 254).— Написано при известии о рождении сына у Алексея Александровича Лопухина— друга университетской поры.

Не верь себе (стр. 255).— Эпиграф заимствован из «Пролога» к сборнику «Ялбы» французского поэта Огюста Барбье. В первом стихе эпиграфа Лермонтов изменил одно слово, поставив

вместо «Que me font» («Какое мне дело») — «Que nous font» («Какое нам дело»).

Стихотворение направлено против поэтов, которые живут иллюзиями и ограблены собственным внутренним миром. По мысли Лермонтова, страсти и страдания поэта — не тема поэзии, если сам он стоит в стороне от общественной борьбы, не откликается на злободневные вопросы современности. Стихотворение направлено и против тех, кто профанирует высокое и вдохновенное искусство холодной и трескучей риторикой, избитой формой выражения, натянутостью, неестественностью, попой.

Три пальмы (стр. 257). — «Стихотворение Лермонтова чудесно, божественно, — писал Белинский Краевскому. — Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое...» Анализируя достоинства этого стихотворения, великий критик отмечал, что «пластицизм и рельефность форм и яркий блеск восточных красок сливаются в этой пьесе поэзию с живописью: это картина Брюллова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее...».

Лермонтов, видевший цель жизни в непрестанном действии, в упорном творческом труде, в полезной общественной деятельности, сообщил трем пальмам ту жажду действия, то стремление приносить благо, которые томили его самого и лучших его современников. Но, по мысли Лермонтова, лежащей в основе стихотворения, осуществление этой мечты невозможно.

«Жаль этих прекрасных пальм, не правда ли? — писал Чернышевский, нашедший в этом стихотворении подтверждение новой революционной морали. — Но что ж, ведь не век было расти и цвести им, — не ныне, так завтра, не завтра, так через год, умерли бы они, — ведь уж и листья их начинали вянуть: смерти не избежит никто. Так не лучше ли умереть для пользы людей, нежели бесполезно? Не надобно ли, жалея о прекрасных пальмах, с тем вместе признать, что смерть их была лучшею, прекраснейшею минутою всей их жизни, потому что они умерли для спасения людей от холода и хищных зверей?.. Когда хорошенько подумаешь обо всем этом, невольно скажешь: хороша жизнь, но самое лучшее счастье — не пожалеть, если надобно, и самой жизни своей для блага людей!» («Звенья», т. VIII, 1950, стр. 540—541).

Исследователи Лермонтова отмечали связь «Трех пальм» с «Подражаниями Корану» Пушкина. Однако, по справедливому замечанию Б. М. Эйхенбаума, «у Лермонтова роццут на бога пальмы, а не путник, и стихотворение кончается не восстаповленной гармонией («Минувшее в новой красе оживилось»), а полным диссонансом: пальмы наказаны жестоким богом. Коран отвергнут — и стихотворение кажется возражением Пушкину» (Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М.—Л., 1961, стр. 112).

Фарис — всадник, витязь (арабск.).

Моли тва («В минуту жизни трудную...») (стр. 259).— По словам А. О. Смирновой-Россет, Лермонтов написал «Моли тву» для Марии Алексеевны Щербатовой. См. о ней прим. к стихотворению «<М. А. Щербатовой>» («На светские цепи...») (стр. 587);

Дары Терек а (стр. 260).— В образах этой баллады отражился интерес Лермонтова к гребенским казачьим песням и сказкам, в которых Терек и Каспий предстают в поэтических одушевлениях. Излюбленные образы этих песен — удалой казак, девица «с русою косой», вороной конь, упоминаются кабардинские уздени в кольчугах, с «позлащенными налокотниками».

В статье о стихотворениях Лермонтова Белинский назвал «Дары Терек а» поэтическою апофеозою Кавказа, а в письме к В. Боткину от 9 февраля 1840 года писал: «Итак, о Лермонтове. Каков его «Терек»? Черт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт и что Пушкин умер не без наследника!» Называя Лермонтова третьим, Белинский ставил его в один ряд с Пушкиным и Гоголем, употребляя слово «поэт» в смысле «вдохновенный художник».

Памяти А. И. Одоевского (стр. 263).— Поэт Александр Иванович Одоевский (1802—1839) — активный член Северного общества декабристов. За участие в восстании на Сенатской площади был приговорен к двенадцати годам каторги. Отбывал заключение в Читинском остроге и на Петровском заводе, после чего «обращен на поселение». От имени ссыльных декабристов ответил Пушкину на его «Послание в Сибирь»: «Струн вещей пламенные звуки...». В 1837 году последовал приказ перевести Одоевского в Грузию рядовым в Нижегородский драгунский полк, где в то время служил сосланный Лермонтов. Знакомство его с Одоевским было непродолжительным, но лица, знавшие Одоевского, единодушно свидетельствовали, что Лермонтов в своем стихотворении оставил самую верную и глубокую его характеристику. 15 августа 1839 года Одоевский умер от лихорадки на берегу Черного моря. Стихотворение написано вскоре после того, как известие о его смерти дошло до Петербурга. Оно появилось в «Отечественных записках», 1839, № 12, под заглавием «Памяти А. И. О—го». Под тем же заглавием, вызванным условиями цензуры, напечатано и в книжке «Стихотворения М. Лермонтова».

«Есть речи — значенье...» (стр. 266).— Прочтав стихотворение Краевскому и Панаеву, Лермонтов заинтересовался их впечатлением. Похвалив стихи, Краевский отметил в них грамматический промах: «из пламя и света», тогда как правильно будет «из пламени». Подойдя к столу, поэт попытался переделать эту строку, но затем бросил перо, сказав: «Печатай так, как есть...»

«На буйном пиршестве задумчив он сидел...» (стр. 267).— В основу стихотворения положен рассказ о том, как французский писатель-мопархист Ж. Казот (1719—1792) на обеде у одного вельможи задолго до французской буржуазной революции якобы совершенно точно предсказал и революцию, и судьбы всех присутствовавших, в том числе свою собственную. В 1792 году Казот был гильотинирован.

Источником этой легенды послужил вымышленный рассказ «Пророчество Казота», принадлежавший писателю Ж.-Ф. Лагарпу. Стихотворение не окончено.

<Э. К. Мусиной-Пушкиной> (стр. 268).— Графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, урожденная Шернваль (1810—1846), отличалась необыкновенной красотой. По словам современников, Лермонтов был увлечен ею.

1840

«Как часто, пестрою толпою окружен...» (стр. 269).— В конце 1839 года в белоколонном зале Дворянского собрания на Михайловской площади в Петербурге был устроен первый новогодний бал-маскарад (до тех пор собрания происходили в доме Энгельгардта на Невском). На этом балу, среди множества гостей, присутствовал Лермонтов. «На бале Дворянского собрания,—вспоминал впоследствии И. С. Тургенев,— ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их диск, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества».

В последней строке Лермонтов говорит о том, что хочет оскорбить великосветское общество горькой и злой эпиграммой («И дерзко бросить им в глаза железный стих, // Облитый горечью и злостью!»).

Биограф поэта, П. Висковатов, утверждал, что Лермонтов намекает в своих стихах на встречу с дочерью Николая I, и сообщал со слов А. Краевского, что многие выражения в этом стихотворении «показались непозволительными».

И скучно и грустно (стр. 271).— Душевное состояние, выраженное в стихотворении,— это господствующее настроение передовых, мыслящих людей эпохи 1830—1840-х годов, подавленных отсутствием общественной жизни, угнетенных невозможностью борьбы, жаждавших полезной деятельности. «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования,— писал в 1842 году в своем дневнике А. И. Гер-

цсп.— Поймут ли они, отчего мы лентяи, ищем всяких наслаждений... Отчего руки не поднимаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски?..»

Белинский назвал «И скучно и грустно» сатирой и ставил наравне с «Думой». Отмечая, что Лермонтов раскрыл в своем стихотворении трагические противоречия в мировоззрении своего современника, и не имея возможности прямо писать об этом, Белинский сопоставил «И скучно и грустно» с «Героем нашего времени». «Вспомните Печорина,— писал великий критик,— этого странного человека, который, с одной стороны, томится жизнью, презирает и ее, и самого себя... носит в себе какую-то бездонную пропасть желаний и страстей, ничем не насытимых, а с другой — гонится за жизнью, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаяниями; вспомните его любовь к Бэле, к Вере, к княжне Мери, и потом поймите эти стихи...»

Из Гете (стр. 272).— Вольный перевод второй части стихотворения Гете «Wanderers Nachtlied» («Ночная песнь странника») («Über allen Gipfeln // Ist Ruh»), в текст которого Лермонтов вложил иной смысл. У Гете — картина постепенно засыпающей природы: последним так же мирно отходит ко сну человек. Лермонтов обещает вечный отдых от житейских невзгод.

<М. А. Щербатовой> (стр. 273).— Относится к Марии Алексеевне Щербатовой, о которой Лермонтов говорил: «...Такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать». Родственник поэта М. Н. Лонгинов назвал это стихотворение Лермонтова «вдохновенным портретом нежно любимой им женщины». Светская молва связывала имя Щербатовой с дуэлью Лермонтова и Баранта. А. И. Тургенев, встретивший М. А. Щербатову в Москве, где в это время находился Лермонтов, направлявшийся в кавказскую ссылку, записал в дневнике: «Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова».

М. А. Щербатова (урожденная Штерич) была украинкой. Лермонтов связал ее образ с природой и историей ее родины.

Воздушный корабль (стр. 275).— Написано около 15 марта 1840 года в ординанс-гаузе — в петербургской офицерской тюрьме в связи со слухами о том, что французское правительство намерено перевезти прах Наполеона с острова Св. Елены в Париж. Стихотворение представляет собою переделку баллады австрийского романтика И.-Х. Цедлица (Лермонтов пишет: «Зейдлица») «Geisterschiff» («Корабль призраков»). Между тем, по-своему комбинируя строфы и сильно сжимая описание, Лермонтов опустил все упоминания о призраках, которые управляют кораблем. У Цедлица император не зовет маршалов, не кличет соратников и сына, нет у него и возвращения Наполеона. описа-

ния Лермонтова,— замечает Б. М. Эйхенбаум,— настолько реальное и материальное, чем у Цедлица, что даже не вяжутся с заглавием, павсянным пемецким оригиналом.

Соседка (стр. 278).— Написано в конце марта или в начале апреля 1840 года, когда, арестованный за дуэль с Барантом, Лермонтов содержался в офицерской тюрьме — ординанс-гаузе. А. П. Шан-Гирей, навещавший его в заключении, помнил, что «здесь написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиповника, служащего при ординанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери. В. А. Соллогуб, повестивший Лермонтова во время ареста, рассказывал, будто бы видел даже портрет этой девушки, рисованный Лермонтовым, с надписью «la jolie fille de sous-officier» («хорошенькая унтер-офицерская дочка»).

Б. М. Эйхенбаум, анализируя стиль этого стихотворения, первый для Лермонтова, отмечает в «Соседке» переход от лирической напряженности к разговорной интонации, к интимному тону.

Журналист, читатель и писатель (стр. 280).— Написано в марте 1840 года в связи с обострившейся литературной борьбой между органом Белинского — «Отечественными записками» и «Сыном отечества», которым руководили реакционные журналисты — Греч, Булгарин и Полевой, на что в свое время указывал Н. И. Мордовченко («Литературное наследство», т. 43—44, 1941, стр. 745—796). Сейчас выясняются новые подробности этой журнальной борьбы. С начала 1840 года издатель «Отечественных записок» Краевский стал выпускать еще и «Литературную газету» — рупор «Отечественных записок». Газета напечатала пародийные очерки Ивана Панаева о журналистах враждебного лагеря, а «Сын отечества» ответил тем, что высмеял виньетку, украшавшую заголовок «Литературной газеты». Редакция «Литературной газеты» уличила журнал Греча в невежестве. Отвечая «Литературной газете», «Сын отечества» издательски процитировал напечатанное ею стихотворение Лермонтова: «Поверить словам вашим,— писал «Сын отечества»,— и скучно и грустно, и никому,— как говорит какой-то поэт у вас на стр. 135». Вслед за тем стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «И скучно и грустно» были подвергнуты «Сыном отечества» уничтожающей критике в статье А. Никитенки. Поэту было брошено обвинение в педовольстве существующим порядком вещей. «Литературная газета» ответила резкой пародией на Н. Полевого. Чем выше ставили Лермонтова «Литературная газета» и «Отечествен-

ные записки», тем отрицательнее отзывался о нем «Сын отчества».

Эпиграф — «Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу» — представляет собою прозаический перевод двустипхия Гете из его «Изречений в стихах» («Sprüche in Reime»).

Уже выбор эпиграфа позволяет понять, что Лермонтов будет говорить о состоянии современной ему литературы, развивая мысли, положенные в основу стихотворения «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой...», и о той высокой миссии, которая в условиях деспотического режима ложилась на плечи писателя — гражданина и патриота.

Связь между пушкинским «Разговором книгопродавца с поэтом» и лермонтовским «Журналистом, читателем и писателем» несомненна. Она выражается не только в построении стихотворения в виде драматической сцены, но в том прежде всего, что и Пушкин и Лермонтов говорят о долге и общественной позиции писателя, решающего животрепещущие вопросы современной им жизни. Эту традицию в новых условиях продолжил в своем «Разговоре с фининспектором» Маяковский.

В копии стихотворения — помета: «С.-Петербург, 20 марта 1840. Под арестом на Арсенальной Гауптвахте».

<М. П. Соломирской> (стр. 286).— Зимой 1839—1840 года Лермонтов часто встречался с великосветской красавицей Марией Петровной Соломирской, которая была страстно увлечена его поэзией. Арестованный за дуэль с Барантом, поэт получил в тюрьме записку без подписи. Никогда прежде не видевший почерка Соломирской, он «разбирал» «чуждые» ему «черты» ее пера.

Очевидно, стихотворение было вписано в альбом М. П. Соломирской после освобождения из-под ареста.

От чего (стр. 287).— Высказывалось предположение, что стихотворение обращено к М. А. Щербатовой.

Благодарность (стр. 288).— В основу стихотворения положена мысль, что бог является источником мирового зла. «Основной тон стихотворения,— пишет в своем исследовании Б. Бухштаб,— ирония над прославлением «благости господней»; все стихотворение как бы пародирует благодарственную молитву за премудрое и благое устройство мира» («Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 407). Слово «бог» и обращение к нему «ты» — писались с прописной буквы, Лермонтов написал со строчной. Цензор воспринял текст как обращение к другу и разрешил «Благодарность» к печати.

Ребенку (стр. 289).— К кому обращается Лермонтов

в этом стихотворении, не установлено. Предположение П. А. Висковатова, что оно отнесется к дочери В. А. Лопухиной-Бахметевой, не убедительно, так как в тексте говорится о мальчике («ты на нее похож», «ты повторял за ней»). П. А. Ефремов считал, что стихотворение обращено к сыну генерала П. X. Граббе — Николаю (род. в 1836 г.). Но подтверждений этому пока не имеется. Однако Э. Э. Найдич (Лермонтов, Собр. соч., т. I, Гослитиздат, 1957, стр. 354) предположил, что «поэт не стремился к точному биографическому соответствию, тем более что данное стихотворение предназначалось для печати».

А. О. Смирновой (стр. 291).— Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет (1809—1882), фрейлина царского двора, находилась в дружеских отношениях с Пушкиным, Жуковским, Гоголем и тесно была связана со всем кругом писателей, встречавшихся в салоне Карамзиных и у нее. К числу ее хороших знакомых принадлежал Лермонтов. «Софи Карамзина мне раз сказала,— вспоминала Смирнова,— что Лермонтов был обижен тем, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся наверх, открыл альбом и написал эти стихи:

В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас — хочу сказать вам много,
При вас — я слушать вас хочу:
Но молча вы смотрите строго,
И я, в смущении, молчу!
Что делать? — речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

Стихотворение появилось в «Отечественных записках» в октябре 1840 года, когда Лермонтов находился на Кавказе. Строфа первая, интимная по характеру, в этой публикации опущена. Не вызывает сомнения, что стихотворение было напечатано с ведома Лермонтова и Смирновой. Последнее подтверждается тем, что рядом со стихотворением Лермонтова Краевский напечатал стихотворение Пушкина, вписанное в тот же альбом.

К портрету (стр. 292).— В 1840 году известный французский художник А. Греведон литографировал портрет петербургской светской красавицы двадцатидвухлетней графини А. К. Воронцовой-Дашковой. В связи с этим дружески относившийся к ней Лермонтов и написал посвящение «К портрету». На беловом автографе имеются пометы: «Писано собственною рукою Лермонтова.

К<пязь> В. Одоевский». «Это портрет графини Воронцовой-Дашковой. К<пязь> Вяземский». Черновой автограф Лермонтов озаглавил: «Портрет. Светская женщина».

Т у ч и (стр. 293).— В. А. Соллогуб рассказывал П. А. Висковатову, что стихотворение было написано в день отъезда Лермонтова в кавказскую ссылку в доме Карамзинных, где собрались друзья, чтобы проститься с ним перед разлукой. Если верить этому свидетельству, поэт импровизировал текст, стоя у окна и глядя на тучи, плывшие над Фонтанкой и Летним садом.

В книжке «Стихотворения М. Лермонтова» датировано: «Апрель 1840 г.» Эта дата и содержание стихотворения, замыкающего сборник, должны были восприниматься читателем как намек на судьбу поэта, отправленного «с милого севера в сторону южную», то есть в кавказскую армию.

<Валерик> (стр. 294).— Это стихотворение стало известно после гибели Лермонтова. Черновой автограф доставил с Кавказа в Москву родственник и друг поэта А. А. Столыпин. С Кавказа же была доставлена и копия, сохранившаяся в архиве Ю. Ф. Самарина: ее привез офицер И. Голицын. Хотя в стихотворении описаны события, происходившие в Чечне летом 1840 года, факт обнаружения копии и автографа после гибели Лермонтова и на Кавказе позволил исследовательнице (Э. Г. Герштейн) предположить, что Лермонтов писал это стихотворение не в 1840 году, как это считается до сих пор, а летом 1841 года, в Пятигорске. Впрочем, это еще нуждается в уточнении.

В послании описана экспедиция генерала Галафеева на левый фланг Кавказской линии и происшедшее 11 июля кровопролитное сражение на речке Валерик в Чечне. Сосланный в кавказскую армию, Лермонтов принимал участие в походе, отличился в сражении при Валерике и был представлен к награде. Представляя его к ордену, Галафеев писал, что Лермонтову было поручено наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять о ее продвижении, «что было сопряжено с величайшею для него опасностью». Несмотря на это, Лермонтов «исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Сохранился «Журнал военных действий» отряда Галафеева. В этом журнале день за днем описывается поход и подробно изложен ход валерикского сражения. Если сопоставить лермонтовское стихотворение с записями этого «Журнала», то видно, как точно изобразил поэт действительные события и в то же время как умело отобрал и обобщил самое главное. Лермонтов изображает войну с точки зрения ее рядового участника — конкретно, без

всяких прикрас, с огромным уважением к доблести русских солдат и офицеров.

Белинский относил «Валерик» к числу «замечательнейших произведений» Лермонтова и отмечал, что оно отличается «этою стальною прозаичностью выражения, которая составляет отличительный характер поэзии Лермонтова и которой причина заключалась в его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину, на всякое чувство, в его отвращении прикрашивать их».

По черновикам видно, что, добиваясь максимальной простоты в передаче своих впечатлений, Лермонтов отбрасывает торжественные слова «огнь батальный», «на месте сечи», которые ассоциируются с традиционными военными описаниями. Новый стиль Лермонтова, оставаясь высокопоэтичным, все больше сближается с обыденной повседневной речью.

Валерик, или Валарик, — речка в Чечне, приток Сунжи. Название это происходит от чеченского слова «валлариг» — мертвый. Поэтому Лермонтов и называет Валерик — «речкой смерти», вкладывая в это двойной смысл: носящая название «речки смерти» — она в день сражения действительно стала речкой смерти.

З а в е щ а н и е (стр. 301). — Написано в 1840 году под впечатлением походов отряда Галафеева в Большую и Малую Чечню.

Белинский высоко оценил стихотворение, отметив, что в нем «голос не глухой и не громкий, а холодно спокойный; выражение не горит и не сверкает образами, но небрежно и прозаично...»

1841

Р о д и н а (стр. 304). — Сохранился автограф, где стихотворение озаглавлено «Отчизна». В «Отечественных записках», 1841, № 4, — названо «Родина». Напечатано в то время, когда Лермонтов находился в Петербурге, отпущенный на короткое время из кавказской армии для свидания с родными. Белинский в письме от 13 марта 1841 года с восторгом пишет об этом стихотворении, как о новинке: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина» — то, аллах-керим, — что за вещь — пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских».

«Родина» представляет собою ответ Лермонтова на какой-то политический спор о России. Его любовь не имеет общего ни с казенным монархизмом, ни со славой империи, купленной кровью «усмирённых»; ей чуждо «гордое доверие», основанное на убеждении в незыблемости крепостнических отношений, так же как и

доктрина будущих славянофилов, которые видели грядущее величие отчизны в ее верности порядкам допетровской Руси. Если при этом знать, что стихотворение возникло под впечатлением путешествия через Россию после неурожая 1839 года, когда в деревнях ели даже кровельную солому, заключительные строки лермонтовского стихотворения становятся особо значительными. «Полнейшего выражения чистой любви к пароду, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта», — писал в 1858 году об этом стихотворении Добролюбов, утверждавший, что поэт «попимает любовь к родине истинно, свято и разумно».

Любовь мертвеца (стр. 305). — Беловой автограф в альбоме обнаружен в Ленинграде в 1963 году. Под стихотворением рукою Лермонтова выставлена дата: «Марта 10-го 1841». Альбом принадлежал Марии Арсеньевне Бартеневой — фрейлине императорского двора и постоянной посетительнице литературного салона Карамзиных, сестре знаменитой певицы Прасковьи Арсеньевны Бартеневой, которой Лермонтов посвятил один из новогодних мадригалов 1831 года. На предшествующих страницах альбома М. А. Бартеневой рукою пекоей графини Е. Барановой с пометой «14 сентября 1839 года» вписано стихотворение французского поэта и романиста Альфонса Карра «Le mort amoureux» («Влюбленный мертвец»).

Известно, что стихотворения Лермонтова, возникшие под впечатлением знакомства с лирикой Гете, Байрона, Гейне, представляют собою не подражание, а своеобразный ответ, а иногда творческую полемику. «Любовь мертвеца» находится в связи с указанным стихотворением Карра, которое было известно в карамзинском кругу еще до появления в печати, видимо, по рукописи. Это вполне вероятно, если учесть тесные связи с французскими литераторами постоянных посетителей салона Карамзиных — С. А. Соболевского и А. И. Тургенева.

Сохранились также черновой автограф и авторизованная копия лермонтовского стихотворения. По ним видно, что поэт колебался, выбирая заглавие. Вначале стихотворение получило название «Живой мертвец», затем «Влюбленный мертвец». И, наконец, «Любовь мертвеца».

«На севере диком стоит одиноко...» (стр. 307). — П. П. Вяземский, видевший Лермонтова в последний раз за три месяца до его гибели, вспоминал: «Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть <?> стихов Гейне: «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине

Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году...»

Действительно, в альбоме З. И. Юсуповой-Шове (Пушкинский дом, в Ленинграде) вклеен листок с автографом Лермонтова. На листке помета, сделанная неизвестной рукой: «Писано в Санкт-Петербурге, перед отъездом на Кавказ, в 1841 году, М. Ю. Лермонтовым».

Это — первая редакция стихотворения, снабженная эпиграфом из стихотворения Гейне:

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh.

Heine.

На холодной и голой вершине
Стоит одиноко сосна,
И дремлет... под снегом сыпучим,
Качаясь дремлет она.
Ей снится прекрасная пальма
В далекой восточной земле,
Растущая тихо и грустно
На жаркой песчаной скале.

Другой белой автограф, совпадающий с автографом в альбоме Юсуповой, — в альбоме Лермонтова в Ленинградской публичной библиотеке. На том же листе альбома и черновой автограф стихотворения.

Первая редакция гораздо ближе к подлиннику, чем окончательная. Однако в обоих случаях Лермонтов отступил от оригинала, изменив грамматический род слова «ein Fichtenbaum». По-немецки сосна «он», а пальма «она». Поэтому у Гейне — стихотворение о судьбе двух влюбленных, которым не суждено встретиться; в основе лермонтовского стихотворения лежит мысль об одиночестве.

Последнее новоселье (стр. 308). — Написано в Петербурге в марте — апреле 1841 года в связи с состоявшимся 15 декабря 1840 года перенесением праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж. Торжественную церемонию и шумиху, поднятую вокруг этого события французскими газетами, Лермонтов воспринял как оскорбление памяти Наполеона. Лермонтов считал его законным преемником французской революции 1789—1793 годов, спасителем ее завоеваний от диктатуры якобинцев и полагал, что, изменив Наполеону, французы тем самым изменили своему революционному прошлому и не имеют прав на останки своего императора.

В строке «Вы сына выдали врагам» говорится о единственном сыне Наполеона и Марии-Луизы — Наполеоне II (1811—1832).

После падения Наполеона (в 1815 г.) сын его был отправлен в Австрию, где умер от чахотки в возрасте двадцати одного года.

<И з а л ь б о м а С. Н. К а р а м з и н о й> (стр. 311).— В стихотворении отразились разговоры, которые Лермонтов часто вел в Петербурге в салоне Е. А. Карамзиной, вдовы известного историка Н. М. Карамзина. Душой этого салона, его настоящей хозяйкой была дочь Карамзина от первого брака Софья Николаевна Карамзина (1802—1856), высоко ценившая талант Лермонтова, который встречался в этом доме с Жуковским, Вяземским, В. Ф. Одоевским, Соболевским, А. И. Тургеневым, поэтессой Е. П. Ростопчиной, А. О. Смирновой, с И. П. Мятлевым и многими другими — литераторами, художниками, музыкантами.

В стихотворении, вписанном в альбом С. Н. Карамзиной, Лермонтов упоминает ее брата, Александра Николаевича Карамзина («Сашу»), Александру Осиповну Смирнову (см. стихотворение «А. О. Смирновой») и поэта Ивана Петровича Мятлева — «Ишку», как звали его в дружеском кругу.

Свои стихи Лермонтов вписал в альбом С. Н. Карамзиной в связи с каким-то спором о романтическом направлении. Очевидно, Карамзина отстаивала достоинства романтической поэзии, потому Лермонтов и начал стихотворение словами: «Любил и я...» В шутовском альбомном посвящении поэт заявил о том, что от произведений, написанных в романтическом стиле, он решительно переходит к реалистическому изображению окружающей жизни.

<Г р а ф и н е Р о с т о п ч и н о й> (стр. 312).— Евдокия Петровна Ростопчина, урожденная Сушкова (1811—1858) — известная поэтесса. Лермонтов знал ее с юных лет: молодость Ростопчиной протекала в Москве. В то время она разделяла настроения передовой молодежи и восторгалась подвигом декабристов (она посвятила им свое послание «К страдальцам»). В 1840—1841 годах Лермонтов встречался с ней в Петербурге, особенно часто — в салоне Карамзиных. Около середины апреля 1841 года, уезжая в последний раз в кавказскую ссылку, откуда ему уже не суждено было вернуться, поэт подарил Ростопчиной альбом, в который вписал: «Я верю: под одной звездой...»

Д о г о в о р (стр. 313).— В этом стихотворении Лермонтов использовал текст своего юношеского стихотворения «Прелестнице» (1832).

«П р о щ а й, н е м ы т а я Р о с с и я...» (стр. 314).— Это одно из самых сильных и смелых политических произведений Лермонтова. В нем отразилась его страстная ненависть к самодержавно-помещичьей России.

Наименование пашей — турецких военных сановников — в России иронически перепосылось на жапдармов. Иносказания такого

рода представляли собою широко распространенное явление (ср. стихотворение «Жалобы турка» и примечание к нему). Если при этом учесть, что офицеры корпуса жандармов носили голубые мундиры, то стаповится ясным — в тексте Лермонтова «голубые мундиры» и «паши» равнозначны: в обоих случаях поэт говорит о жандармах и выражает надежду сокрыться «от их всевидящего ока, от их всеслышащих ушей».

Академик В. В. Виноградов отмечал, что при восприятии текста стихотворения важно правильное осмысление значения слова «преданный» в четвертой строке. Лермонтов употребляет его не в смысле «беспредельно верный кому-то» или «вероломно отданный в чью-то власть». Это слово заключает в себе смысл «отданный», «преданный», как оно употреблялось в первой половине XIX столетия. Подтверждение этому находится в одном из стихотворений самого Лермонтова:

И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог...—
(«Расстались мы, но твой портрет...»)

где это слово в той же форме страдательного причастия выступает в значении, указанном В. В. Виноградовым: «...отданный во власть, предоставленный в распоряжение кого-нибудь». Другими словами: «И ты, им отданный во власть, народ».

Первый биограф поэта П. А. Висковатов предполагал, что стихотворение написано в 1841 году, накануне последнего отъезда поэта в кавказскую ссылку, после того как дежурный генерал граф Клейнмихель вызвал его к себе и передал предписание Бенкендорфа покинуть столицу в сорок восемь часов.

Утес (стр. 315).— И черновой автограф и беловой сохранились в альбоме, который подарил Лермонтову В. Ф. Одоевский накануне последнего отъезда поэта на Кавказ.

Белинский относил «Утес» к числу лучших стихотворений Лермонтова.

С п о р (стр. 316).— А. А. Краевский передавал слова Лермонтова, сказанные накануне его последнего отъезда на Кавказ: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне,— обращался он к Краевскому,— там, на Востоке, тайник богатых откровений».

Под «Востоком» Лермонтов подразумевал Кавказ. Эти слова свидетельствуют о все возрастающем интересе Лермонтова к народам Кавказа, к их истории, быту, культуре. Не удовлетворяясь уже изображением событий кавказской войны, Лермонтов в последние

годы жизни стремился постигнуть ее исторический смысл. С этим связаны его неосуществленные замыслы: роман из кавказской жизни «с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым умирением Кавказа» и цикл стихов под общим названием «Восток». Слово «Восток»,— на это обратил внимание Б. М. Эйхенбаум,— в альбоме Одоевского написано отдельно, как название стихотворного цикла, на обороте чистого листа, предшествующего автографу «Спора». Очевидно, открывать этот цикл должно было стихотворение «Спор» — аллегорическое изображение Кавказа и кавказской войны, завершающееся картиной победоносного вступления русской армии, предводительствуемой генералом Ермоловым.

Замысел «Спора» возник у Лермонтова после свидания с Ермоловым в Москве, зимою 1841 года.

С о н (стр. 319).— Замысел «Сна» мог быть внушен Лермонтову песней гребенских казаков «Ох, не отстать-то тоске-кручинушке». В ней поется о добром молодце, который видит во сне, будто он лежит убитый, с простреленным сердцем «на дикой степе».

«Они любили друг друга так долго и нежно...» (стр. 320).— Вольный перевод стихотворения Гейне «Sie liebten sich beide, doch keiner...», первые две строки которого стали эпиграфом. Как это бывало всегда, когда Лермонтов брался за перевод, так и на этот раз стихотворение у него обрело совершенно самостоятельный смысл.

Т а м а р а (стр. 321).— В основу этой баллады положена грузинская легенда о царице Дарье, жившей когда-то в старинной башне над Терском. Легенда гласит, что царица волшебною силою завлекала к себе на ночь путников, а под утро обезглавливала их и трупы сбрасывала в Терек. Эта легенда пересказана во многих книгах, авторы которых путешествовали в XIX веке по Военно-Грузинской дороге. Одну из них,— ее написал французский консул на Кавказе Ж. Гамба,— Лермонтов знал и упоминает ее в «Герое нашего времени» («Бэла»): «Переезд через Крестовую Гору (илл, как называет ее ученый Гамба, le Mont St. Christophe) достоин вашего любопытства». Гамба пересказывает легенду о Дарье. Но существует другой вариант легенды, в котором мифическая Дарья носит имя исторической царицы Тамары. Очевидно, этот вариант точно так же был известен поэту.

С в и д а н ь е (стр. 323).— В работе над этим стихотворением Лермонтов использовал свои прежние впечатления, вынесенные из пребывания в Тифлисе и путешествия по Военно-Грузинской дороге в 1837 году.

Л и с т о к (стр. 326).— Образ листка, гонимого бурей, в русской и европейской литературе конца XVIII — первой половины

XIX столетия был широко распространенным символом судьбы политического изгнанника.

«Нет, не тебя так пылко я люблю...» (стр. 327).— Судя по расположению автографа в альбоме В. Ф. Одоевского, стихотворение написано на Кавказе летом 1841 года. Высказано предположение, что Лермонтов обращается в нем к своей дальней родственнице, Екатерине Быховец, молодой девушке, проводившей лето в Пятигорске. Быховец говорила потом, что поэт любил ее за то, что она напоминала ему Варвару Александровну Лопухину, на которую была очень похожа: «об шей его любимый разговор был». В последней строфе поэт говорит о В. А. Лопухиной, которая состояла в браке с нелюбимым человеком.

«Выхожу один я на дорогу...» (стр. 328).— Автограф — в записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским. Из расположения стихотворения среди других стихов в этой книжке следует, что оно написано летом 1841 года.

Морская царевна (стр. 330).— Автограф — в записной книжке Лермонтова, подаренной В. Ф. Одоевским. Написано вслед за стихотворением «Выхожу один я на дорогу...». Некоторые детали «Морской царевны» напоминают стихотворение «Яныш-корольевич» из цикла «Песни западных славян» Пушкина.

Пророк (стр. 332).— Последнее произведение Лермонтова. Следующие листы в альбоме, подаренном поэту В. Ф. Одоевским, не заполнены.

В этом стихотворении Лермонтов продолжает тему пушкинского «Пророка». Недаром он демонстративно начинает с того, на чем кончил Пушкин: «С тех пор, как вечный судия // Мне дал всеведенье пророка...»

Пушкин написал свое стихотворение в начале 1826 года. Он утверждает в нем великое значение поэзии и великую роль поэта. В своем стихотворении, написанном через пятнадцать лет, Лермонтов исходит из такого же понимания роли поэта — проповедника высоких идей — и рассказывает о тех гонениях, которым подвергается поэт, посмеявшийся «глаголом жечь сердца людей» и выступать с критикой общественных порядков.

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

Крест на скале (стр. 334).— Автограф неизвестен. В копии Хохрякова под стихотворением написано посвящение: «M-II Souchkoff» («Г-же Сушковой»). П. А. Висковатов, опубликовавший стихотворение, датировал его 1830 годом и считал, что оно обращено к Евдокии Петровне Сушковой, впоследствии Ростопчиной.

«Никто моим словам не внимлет... я один...» (стр. 335).— Н. П. Пахомов, опубликовавший это стихотворение («Литературное наследство», т. 19—21, 1935), считает, что оно написано до 1837 года, так как вряд ли после гибели Пушкина псылки своей на Кавказ Лермонтов мог сказать: «...тщетно я ицу смущенными очами // Меж них хоть день один, отмеченный судьбой».

Автограф принадлежал Святославу Раевскому, с которым Лермонтов жил в одной квартире в 1835—1836 годах. Это тоже говорит в пользу того, что стихотворение написано до 1837 года.

«Мое грядущее в тумане...» (стр. 336).— В этом незавершенном отрывке Лермонтов развивает тему «Пророка», которую уже разрабатывал в стихотворении «Когда надежде недоступный...» (1835). Автограф находится на одном листке со стихотворением «Никто моим словам не внимлет... я один...».

<К Н. И. Бухарову> (стр. 339).— Николай Иванович Бухаров (1799—1862) — сослуживец поэта по лейб-гвардии Гусарскому полку, офицер, любимый всеми товарищами. Поэт призывает Бухарова на пирушку в Петербург (из Царского Села, где квартировали лейб-гусары). Очевидно, это записка, составленная в стихах.

Лермонтов служил в лейб-гвардейском полку с конца 1834 до февраля 1837 года (когда был переведен на Кавказ за стихи на смерть Пушкина) и снова — с апреля 1838 по март 1840 года. В котором году написано стихотворение к Бухарову — не установлено.

«Ты помнишь ли, как мы с тобою...» (стр. 340).— Стихотворение «Ты помнишь ли, как мы с тобою...» — довольно точный перевод «Вечернего выстрела» Томаса Мура.

ПОЭМЫ

Последний сын вольности (стр. 343).— Единственное известие о Вадиме Храбром содержится в Никоновской летописи: повествуя о событиях 864 года, летописец сообщает: «Того же лета оскорбишася Новгородци, глаголюще: «яко быти нам рабом, и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его». Того же лета уби Рюрик Вадима храброго, и иных многих избѣи Новгородцев, советников его» (Полное собрание русских летописей, СПб., 1862, т. IX, стр. 9).

Эти скупые строки летописного предания получили различное толкование.

Историк XVIII века В. Татищев утверждал, что Вадим был внуком последнего новгородского князя Гостомысла и, выступая

против Рюрика — своего двоюродного брата, — тем самым боролся за престол. Следуя татищевской версии, Екатерина II в своем «Историческом представлении» (1786) изобразила Вадима честолюбивым князем.

В противовес этой реакционной тенденции передовые русские писатели конца XVIII — начала XIX века создали образ героя-республиканца, поднявшего восстание против поработителя славян варяжского князя Рюрика и павшего в неравной борьбе.

Ненавистником тиранов, защитником прав вольного Новгорода выступает Вадим в трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», которая в 1793 году по распоряжению Екатерины II была конфискована и сожжена.

Судьба древнего Новгорода и подвиг Вадима были излюбленной темой поэтов-декабристов. Имя Вадима упоминал В. Кюхельбекер. Владимир Раевский славил его в стихотворении «Певец в темнице». Рылеев посвятил Вадиму оставшуюся незаконченной «Думу». Пушкин в 1822 году под влиянием бесед с Вл. Раевским задумал трагедию о Вадиме и начал писать поэму о нем. Но наиболее полное и последовательное воплощение этой темы в духе декабристской поэзии осуществлено в поэме шестнадцатилетнего Лермонтова.

В поэме «Последний сын вольности» Вадим вступает в единоборство с Рюриком один, без надежды одержать победу над поработителями, единственно для того, чтобы пожертвовать собою во имя свободы родины:

Новгородцы! Обо мне
Не плачьте... я родной стране
И жизнь и счастье принес...
Не требует свобода слез!

Вадим обречен. Он предчувствует свою гибель, как рылеевский Наливайко.

Стремясь усилить и подчеркнуть злободневный политический смысл произведения и отождествить деспотизм Рюрика с тиранией Николая I, Лермонтов в самом начале поэмы напоминает о подвиге декабристов. Впрочем, современники, которым довелось читать рукопись «Последнего сына вольности», и без этого должны были воспринимать республиканизм Вадима как напоминание о героях четырнадцатого декабря. Недаром в конце 1820-х — начале 1830-х годов в кружках прогрессивной молодежи декабристы именовались «сынами славян» и «благороднейшими славянами». Поэт говорит здесь от имени этой молодежи: пережив разгром декабристского движения, она в пору жестокой реакции осталась верной политическим идеям декабристов.

Лермонтов отверг реакционную легенду о том, будто новгородцы пригласили Рюрика княжить над ними. В соответствии с новейшими историческими работами того времени он изобразил появление варягов на Руси как наглое и вероломное вторжение.

Рурик, Трувор и Синав клялись
Не вести дружины за собой;
Но с зарей блеснуло множество
Острых копий, белых парусов...

Прогрессивность исторических взглядов Лермонтова становится особенно ясной при сопоставлении текста поэмы с «Историей Государства Российского» Н. М. Карамзина, который сомневается в том, что варяги могли «утеснить» новгородцев.

Из Карамзина Лермонтов заимствовал имена Ингелота и Леды и ряд исторических сведений о жизни древних славян: о Чернобоге, о празднествах в честь Диди-Лада, от которого, по языческим представлениям, зависели веселье, любовь и согласие. Знал Лермонтов и «Марфу Посадницу» — повесть Карамзина и «Марфу Посадницу» — трагедию Ф. Ф. Иванова (хотя в них и произносятся патетические тирады в адрес Вадима, в целом по своей направленности эти произведения отнюдь не революционные).

Решающее влияние на стиль «Последнего сына вольности» оказали романтические поэмы Пушкина, «Думы» и «Войнаровский» Рыльева.

Заключительное двестише заимствовано из поэмы «Картон», сочиненной шотландским поэтом Дж. Макферсоном (1736—1796) и приписанной им в числе прочих подделок древнему шотландскому барду Оссиапу. Эту же самую цитату использовал Пушкин в тексте «Руслана и Людмилы»:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

Н. С. Шеншин, которому посвящена поэма.— Николай Семенович Шеншин (1813—1835), один из участников «лермонтовской пятёрки», близкий друг Лермонтова в студенческую пору.

Х а д ж и А б р е к (стр. 366).— Первое произведение Лермонтова, появившееся в печати за его подписью («Библиотека для чтения», № 8, 1835, август). А. П. Шап-Гирей рассказывает, что Николай Юрьев, дальний родственник Лермонтова, учившийся вместе с ним в юнкерской школе, после тщетных стараний уговорить Лермонтова печатать свои стихи передал втайне от него поэму «Хаджи Абрек» редактору «Библиотеки для чтения» Сенковскому. «Лермонтов был взбешен, по счастью, поэму никто не разобрал,— пишет Шап-Гирей,— напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать».

Этот эпизод (раньше Шап-Гирея) рассказан А. М. Мерипским, товарищем Лермонтова по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. «В юнкерской школе,— сообщает Меринский в своем «Воспоминании о Лермонтове»,— он написал стихотворную повесть (1833 г.) «Хаджи Абрек».

Таким образом, поэма датируется 1833 годом.

В текст «Хаджи Абрека» внесены строфы из «Каллы», «Измаил-Бей» и «Аула Бастунджи».

Лермонтов использовал в поэме имена и названия, которые слышал на Кавказе еще в детстве. «Славный Бей-Булат, гроза Кавказа»,— назвал Пушкин в «Путешествии в Арзрум» известного чеченского наездника Бей-Булата Таймазова. Бей-Булат убил отца кумыцкого князя Салат-Гирея и был его кровником. Через девять лет он пал от руки своего врага. Это было в 1831 году. От родственников, присажавших с Кавказа, Лермонтов мог слышать об этом. Слышал он также название аула Джемаат.

Герой поэмы, Хаджи, стал абреком, сделавшись кровником князя. Он живет поглощенный мыслью о мщении.

Б о я р и н О р ш а (стр. 378).— Помещая «Боярина Оршу» в «Отечественных записках» 1842 года (т. XXIII), Краевский в примечании сообщал: «Эта поэма принадлежит к числу первых опытов Лермонтова. Она написана была еще в 1835-м году, когда Лермонтов только начинал выступать на литературном поприще. Впоследствии, строгий судья собственных произведений, он оставил намерение печатать ее, и даже, взяв из нее целые тирады, преимущественно из II главы, включил их в новую свою поэму: «Мцыри»... Рукопись поэмы, данная мне автором еще в 1837-м году и едва ли не единственная, хранилась у меня до сих пор, вместе с другими, оставленными им пьесами...» Однако в конце рукописи — хранится в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) в Ленинграде — рукою Краевского выставлена другая дата: не 1835, а 1836 год. Отрывок текста «Боярина Орши» вписан Лермонтовым в тетрадь, заключающую список пятой редакции «Демона». Список этот сделан не раньше 1834 года. На основании всех этих данных относим поэму ко времени около 1835—1836 годов.

«Сейчас упился я «Оршею»,— писал Белинский Боткину летом 1842 года.— Есть места убийственно хорошие, а *там* целого — страшное, дикое наслаждение». В то же время Белинский отчетливо увидел и недостатки поэмы: он писал, что это произведение «не только слегка начерченное, но даже детское, где большею частью ложны и правы и костюмы». Но его приводило в восторг, что в этом «детском» создании «всет дух, перед которым потускнеет не одно художественное произведение».

Утверждая в одной из заметок 1843 года, что пафос поэзии Лермонтова заключается в «правственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности», Белинский в качестве примера приводил именно «Боярина Оршу». «Для кого доступна великая мысль лучшей поэмы его «Боярин Орша»,— писал он,— и особенно мысль сцены суда монахов над Арсением, те поймут нас и согласятся с нами».

В этой сцене Белинский увидел протест против церковных законов, оправдывающих рабство; монологи Арсения он воспринял как пламенную агитацию за свободу и права человеческой личности. «И под одеждою раба, // Но полный жизнью молодой, // Я человек, как и другой»,— заявляет Арсений в сцене суда.

Отдавая поэму переписчику, Лермонтов самые резкие строки из этой сцены исключил:

Пусть монастырский ваш закон
Рукою бога утверждён,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не меще святой:
Он оправдал меня — один,
Он сердца полный властелин!

В автографе поэмы эти стихи отчеркнуты, и рукою поэта помечено: «вымарать». Лермонтов, очевидно, предполагал печатать поэму и по соображениям цензурного характера изъясил эти строки.

В «Боярине Орше» отразился интерес Лермонтова к русскому фольклору и русской истории. Отношения Арсения с дочерью боярина Орши, так же как и царского конюха с царевной (в сказке, которую рассказывает Орше верный Сокол), изображаются Лермонтовым в духе народных песен о князе Волконском и Ваньке Ключнике, о молодце на службе у короля. В строках, где речь идет о царском приказе: пойманных любовников «в бочку засмолить // И в сине море укатить»,— чувствуется знакомство Лермонтова с пушкинской «Сказкой о царе Салтане...». Действие поэмы Лермонтов приурочил к царствованию Ивана Грозного и событиям литовской войны. С. Н. Дурылин писал по этому поводу, что Лермонтов столкнул Арсения и боярина Оршу «в самом удобном, исторически оправданном месте: «на рубеже» литовском, там, где раньше всего вспыхнула социальная революция начала XVII века..., где появились первый и второй самозванцы и откуда набиралось основное ядро вольницы Болотникова (С. Дурылин. Как работал Лермонтов. М., 1934, стр. 67). Интерес к этой эпохе поддерживался в 1830-е годы выходом в свет «Сказаний князя Курбского» (1833),

нового издания IX тома «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина (1834) и целым рядом журнальных статей.

Многие стихи Лермонтов перенес в «Боярина Оршу» из юношеской поэмы «Исповедь» (1830).

С а ш к а (стр. 406).— Во всех дошедших до нас рукописных источниках вслед за первой главой «Сашки» следует глава вторая. Б. М. Эйхенбаум впервые выдвинул предположение, что эта якобы «вторая глава» представляет собою начало какого-то другого произведения, чисто механически соединенного с рукописью завершённой поэмы. Мы также считаем «Сашку» произведением законченным.

В последней строфе «Сашки» Лермонтов обещает вернуться к своему герою в другой раз, когда, «в пределах тесных не заключен и не спеша вперед», расскажет о тех годах, которые пропускает в поэме. «Я не хочу,— признается он,— в один прием свою закончить повесть». Кто не доволен этой «выходкой», пускай печатает анафему: «Я кончил...» Апалогичный конец имеет, например, байроновская стихотворная повесть «Бешпо» («Окончен лист, и я прощаюсь с вами»).

В поэме Лермонтова развиваются традиции «Домника в Коломне» и «Евгения Онегина», а также поэмы «Сашка» Полежаева. Близость лермонтовской «нравственной поэмы» с «Домником в Коломне» (напечатанным впервые в 1833 г.) сказались даже в демонстративном выборе имен Параша и Мавруши. Свободная манера повествования, отступления, автобиографические признания, ироническая рекомендация героя роднят «Сашку» с «Евгением Онегиным». В VIII главе пушкинского романа содержится ключ к характеристике лермонтовского героя:

Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом...

Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?

Как «доброе малое» рекомендует своего героя и Лермонтов в первой строфе. Это характеристика ироническая: «Добрый малый — товарищ скучный, тягостный и вялый».

Связь с поэмой Полежаева обнаруживается не только в названии «Сашки» — она декларируется в строфе 33:

«Сашка» — старое название!
Но «Сашка» тот печати не видал,
И, нездоровый, он угас в изгнание.

Стихи в строфе 24: «Она звалась Варюшкой. Но я // Желал бы ей другое дать название...» — содержат намек на любовь поэта

к Варваре Александровне Лопухиной (вышедшей в 1835 г. замуж за Н. Ф. Бахметева). Строфы 77—80 — краткое обозрение событий французской революции 1789 года, казней короля Людовика XVI («вечанного страдальца»), королевы Марии-Антуанетты и поэта Андре Шенье.

Предположение, что в строфах 3—4 и 137—138 Лермонтов говорит о смерти декабриста А. И. Одоевского, ни на чем, кроме частичного совпадения строк поэмы со стихотворением «Памяти А. И. Одоевского», не основывается. Т. П. Голованова высказала предположение, что речь идет о каком-то друге Лермонтова — молодом поэте, покончившем жизнь самоубийством:

Ты не хотел насмешки выпить яд,
С улыбкою притворной, как Сократ;
И, не разгадав глупую толпою,
Ты умер чуждый жизни... Мир с тобою!

Такие строки, как: «Жди, авось придут, // Быть может, кто-нибудь из прежних братьев», — а также обращение к друзьям юности: «И вы, вы все, которым столько раз // Я подносил приятельскую чашу», — свидетельствуют о том, что речь здесь идет о каких-то друзьях и сверстниках Лермонтова.

Эти намеки, которые и тогда не могли быть понятны непосвященному читателю, подтверждают, что поэма писалась в ту пору, когда Лермонтов еще довольствовался поэтической известностью в дружеском кругу и писал вещи, не предназначавшиеся для печати.

Хромой бес — бес Асмодей из романа французского писателя А.-Р. Лесажа (1669—1747). В этом романе хромой бес летит над городом и, снимая крыши, посвящает своего слутника в домашние тайны людей.

Прага — предместье Варшавы. Суворов осаждал Прагу в 1794 году.

Саул — библейский царь. Мучимый лукавым духом, он приказывал играть ему на арфе. Музыка успокаивала его.

Демосфен (384—322 гг. до н. э.) — знаменитый афинский оратор.

Фоблаз — ветреный и влюбчивый герой романа французского писателя Луве де Кувре (1760—1797) «Похождения кавалера Фоблаза».

Ариадна — дочь критского царя. По преданию, спасла афинского героя Тезея, который затем безжалостно покинул ее.

Аббадона — падший ангел из поэмы «Мессиада» немецкого писателя Ф. Г. Клопштока (1724—1803).

Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский живописец.

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (стр. 457).— В сборнике «Стихотворения М. Лермонтова» (СПб., 1840) «Песня» была напечатана с датой «1837». Принято считать, что она создана на Кавказе, во время первой ссылки поэта. «Покойный Краевский рассказывал нам,— писал в 1891 году редактор сочинений Лермонтова И. М. Болдаков,— что на его письмо относительно блестящего успеха «Песни» Лермонтов, с Кавказа, откуда она была им прислана, отвечал, что хотя ею и восторгаются, а и не знают, что он набросал ее от скуки, чтобы развлечься во время болезни, не позволявшей ему выходить из комнаты».

Очевидно, Краевский имел в виду блестящий успех, которым сопровождалось чтение «Песни» в рукописи. Ибо напечатана она была им, Краевским, в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» в конце апреля 1838 года, когда Лермонтов находился уже в Петербурге.

Следовательно, об успехе поэмы у читателей «Литературных прибавлений» Краевский ему на Кавказ сообщать не мог. Впрочем, не исключено, что Лермонтов прислал ему поэму с Кавказа, но что написана она была еще в Петербурге до ссылки, в ту пору, когда поэт, отпущенный из полка «по болезни», жил в столице на квартире своей бабки Арсеньевой.

Рассказ Краевского, переданный Болдаковым, не вполне согласуется и с тем, что в издании «Стихотворения М. Лермонтова» (СПб., 1842. В типографии Ильи Глазунова) тот же Краевский сопроводил «Песню про царя Ивана Васильевича...» датой: «1836».

Несмотря на то что в 1838 году Лермонтов уже возвратился с Кавказа, разрешение печататься последовало не сразу. Только с помощью В. А. Жуковского, который высоко оценил «Песню», Краевский добился позволения министра Уварова напечатать произведение опального поэта. Однако имени автора Уваров выставить не позволил, и «Песня» появилась в «Литературных прибавлениях», подписанная буквами «— въ».

Колорит эпохи, образы Грезного и опричника Лермонтов воссоздал в своей поэме на основе песенных образов — в духе и стиле народных исторических и «разбойничьих» песен. Народные песни помогли ему создать фигуру и человека из народа — удалого купца Калашникова.

Одним из несомненных источников поэмы можно считать «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (М., 1818), в частности, песню про царского шурина Матрюка Темрюковича:

А и гой еси, Царь Государь, Царь Ивап Васильевич!
Все Князи, Бояра, могучие богатыри
Пьют, едят, потешаются
На великих на радостях;
Один не пьет, не ест твой Царской гость дорогой,
Мастрюк Темрюкович, молодой Черкашенин.

В сборнике «Песни, собранные П. В. Киреевским» выходят «побороться» с Мастрюком «два брата родимые». По одним вариантам, «два калашничка», по другим — «два брата, дети-то Кулашниковы» (П. В л а д и м и р о в. Исторические и народно-бытовые сюжеты в поэзии М. Ю. Лермонтова. — «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», кн. VI. Киев, 1892, стр. 204—205).

Кроме фольклора, источником в этой работе могли послужить Лермонтову и труды по истории России XVI — XVII веков. Так, в «Сказании» Авраамия Палицына повествуется о подвиге Федора Колачника и дворянина Петра Тургенева, всенародно обличивших первого самозванца и казненных на Лобном месте «среди царствующего града Москвы».

Таким образом, фамилия купца Калашникова может быть обоснована целым рядом источников — исторических и фольклорных, — не говоря о том, что эту фамилию носили и известные в XIX веке пензенские купцы.

Поэма Лермонтова сразу же обратила на себя внимание Белинского. «Не знаем имени автора этой песни... — писал он в «Московском наблюдателе», — но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование».

Хотя Лермонтов обратился к эпохе Грозного, произведение прозвучало как глубоко современное. Только что на дуэли с царским «опричником» погиб Пушкин, который вышел на поединок, чтобы защитить честь жены и свое благородное имя.

Поэма заставляла задумываться над вопросами о судьбе и правах человеческой личности.

В статье «Стихотворения М. Лермонтова» Белинский указал на причину, побудившую Лермонтова обратиться в своей поэме к далекой исторической эпохе. «Здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размет его чувства и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знал о других, — и вы-

нес из нее вымышленную быль, которая достовернее всякой действительности, несомненное всякой истории».

«Самый выбор этого предмета,— писал Белинский,— свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современною действительностью и перепесшегося от нее в далекое прошедшее, чтоб там искать жизни, которой он не видит в настоящем».

Могучие образы богатыря Калашникова, опричника, «колоссальный образ» Грозного, который, по словам Белинского, является в поэме «изваянным из меди или мрамора», Лермонтов противопоставлял своим современникам, неспособным к свершению подвигов, чуждым больших страстей. Великий критик раскрыл глубокую внутреннюю связь «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» с «Думой», в которой Лермонтов высказал беспощадную правду о «состоянии совести и духа» своих современников, вступивших в жизнь после поражения декабристов.

Тамбовская казначейша (стр. 471).— Поэма появилась в XI томе «Современника» (1838).

Совершенно естественно, что Жуковский и Вяземский, принявшие на себя вместе с В. Одоевским, Плетневым и Краевским продолжение пушкинского журнала, пожелали поместить в нем произведение поэта, пострадавшего за стихи на смерть Пушкина. «Я был у Жуковского,— сообщал Лермонтов приятельнице в Москву,— и отнес ему, по его просьбе, Тамбовскую казначейшу; он повес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе; им очень понравилось, напечатано будет в ближайшем номере «Современника».

Поэт подчеркнул свою верность поэтическим традициям Пушкина. «Тамбовская казначейша», продолжающая жанр пушкинских поэм «Граф Нулин» и «Домик в Коломне», написана, кроме того, «онегипской строфой» (изобретенной Пушкиным). С этого Лермонтов и начинает свое «Посвящение»:

Пускай слыву я старовером,
Мне все равно — я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.

«Тамбовская казначейша» включает в себе полемику с литературными врагами Пушкина, которые начиная с 1830 года настойчиво повторяли в печати, что Пушкин исписался и устарел, что в его произведениях нет более ни действия, ни страстей, ни драматического интереса в событиях. Ф. Булгарин со страниц «Северной пчелы» уверял читателей, что VII глава «Евгения Онегина» означает «полное падение» Пушкина.

Выпуская в свет последние главы «Онегина», Пушкин предупреждал: «Те, которые стали бы искать в них занимательности

происшествий, могут быть уверены, что в них еще менее действия, чем во всех предшествовавших».

Таким образом, заключительные строки «Тамбовской казначейши» выглядят как издевка над критиками Пушкина и его злопыхателями:

Вы ждали действия? страстей?
Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови — даже дамы.

Из всего этого видно, что появление лермонтовской поэмы на страницах «Современника» имело принципиальный характер.

Однако этот замысел Лермонтова не дошел до читателя. Выставить фамилию автора не разрешила цензура, подвергшая текст поэмы сильнейшим искажениям и удалившая из нее двадцать шесть строк. Без ведома автора производилась и редакционная правка. Слово «Тамбовская» из заглавия было удалено, слово «Тамбов» заменено в тексте буквой «Т» и точками. Так как рукопись поэмы до нас не дошла, восстановить эти строки нельзя.

П. А. Висковатов, издавая поэму, десять строк восстановил со слов А. П. Шан-Гирея:

В строфах:

I: Там зданье лучшее острог.

XII: У них! — о том причины скрыты;
Но есть в Тамбове две кумы,
У них, пожалуй, спросим мы.

XVI: И не смущен бы был и раем,
Когда б попался и туда.

XXXIII: Увы, молясь иной святыне,

XLIV: За злато совесть и закон
Готов продать охотно он.

Стих 12 в XVI строфе Висковатов предлагал читать:

Чтоб от кнута избавить вора.

Ефремов, не ссылаясь на источник, печатал этот стих иначе:
Иль стал душою заговора;

Чья поправка соответствует лермонтовскому тексту, установить невозможно. Поэтому в основной текст поправки Висковатова и Ефремова мы не вводим.

Сокращения и поправки, не согласованные с автором, привели Лермонтова в негодование. В дальнейшем он в «Современнике» уже не печатался.

Он прежде город был огдльный.— По словам историка Тамбовского края И. Дубасова, Тамбов «в прежнее время был ссылочным местом, своего рода Сибирью».

Музыканты, //Дремля на лошадях своих, // Играли марш из «Двух слепых».— «Двое слепых из Толедо» — опера французского композитора Этьена Мегюля (1763—1817).

Беглец (стр. 493).— Связь «Беглеца» с поэмой Пушкина «Тазит» несомненна. «Тазит» (под названием «Галуб») был напечатан в VII томе «Современника», вышедшем в свет в самом конце 1837 года. А. П. Шан-Гирей заверял Висковатова, что «Беглец» писан «не позднее 1838 года».

«Горской легендой» поэма названа не случайно. Исследователь творчества Лермонтова, С. А. Андреев-Кривич, приводит рассказ путешественника Тетбу де Мариньи, который в своем «Путешествии в Черкессию» (Брюссель, 1821) вспоминает содержание черкесской песни. Она заключает в себе «жалобу юноши, которого хотели изгнать из страны, потому что он вернулся один из экспедиции против русских, где все его товарищи погибли» (С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., Изд-во АН СССР, 1954). Очевидно, эта или подобная песня была положена Лермонтовым в основу «Беглеца».

Песня «Месяц плывет», которую слышит Гарун, перенесена в «Беглеца» из «Измаил-Бея». Две поправки, внесенные Лермонтовым в прежний текст, подчеркивают его патриотический смысл: строку «Любви будь вернее» поэт передделал: «Будь славе вернее». Вместо «Любви изменивший» Лермонтов исправил: «Своим изменивший», любовный романс превратился в песню патристическую.

Демон (стр. 497).— Поэму «Демон» Лермонтов начал писать в четырнадцатилетнем возрасте и возвращался к ней на протяжении всей жизни. Это итог упорной поэтической работы и многолетних философских раздумий. Первая строка — «Печальный демон, дух изгнанья», — написанная в 1829 году, сохранилась до конца, несмотря на многочисленные переделки поэмы.

Сначала Лермонтов задумал поэму о Демоне, который влюбляется в монахиню и губит ее из ненависти к ее ангелу. Этот замысел видоизменялся на протяжении нескольких лет. При этом действие поэмы продолжало развиваться вне времени и пространства, в нереальной, условной обстановке. В 1832 году поэт собирался приурочить действие «ко времени пленения евреев в Вавилоне». Этот библейский вариант поэмы остался не написанным. Действие в пятой редакции (1833—1834) происходит на берегу моря. «Между прибрежных диких скал», «...южный теплый день // Играет яркими лучами». Здесь мы встречаем уже многие стихи, кото-

рые потом без перемен вошли в поздние редакции «Демона», однако общий характер поэмы еще не меняется.

Существенный сдвиг в работе произошел по возвращении Лермонтова из Грузии в 1838 году. Горы Кавказа, «излучистый Дарьял», Казбек, который кажется пролетающему над ним Демону «гранью алмаза», Койшаурская долина, берега Арагвы — все это помогло Лермонтову наполнить поэму конкретными описаниями, связать отвлеченный замысел с жизнью. Безликая монахиня превратилась в красавицу Тамару. В поэме появились сцены грузинского феодального быта, картины грузинской природы. Усложнился сюжет поэмы: соперником Демона становится жених Тамары — «властитель Синодала», «удалой князь». Здесь сказалось влияние фольклора: Лермонтов использовал легенду о любви горного духа к девушке-грузинке и о его ревности к ее жениху.

В начале второй части поэмы (строфа V) всаднику, до слуха которого доносится рыданье Тамары, кажется, что это «...горный дух, // Прикованный в пещере, стонет». Горный дух, прикованный в пещере, — Амирани, Прометей грузинских и осетинских легенд. В некоторых вариантах этих легенд он выступает как богоборец, затеявший борьбу с пеем за справедливость на земле. Таким образом, народные грузинские легенды помогали Лермонтову связать прежний материал с новой почвой.

Вернувшись в Петербург, Лермонтов снова переработал поэму. К 1838 году относятся три новых редакции. Шестая, которую поэт собирался публиковать и которая разошлась в рукописных копиях в огромном числе, датирована 8 сентября 1838 года. В декабре того же года, собираясь печатать поэму, Лермонтов подверг ее новой переработке (дата окончания последней редакции — 4 декабря). Мятежный характер Тамары в этой редакции сильно смягчен: Лермонтов придал ей черты существа, не созданного для мира, и вычеркнул текст, следовавший за строфой XIII второй части поэмы, с описанием Тамары в гробу. Как раз в этой исключенной строфе был стих «Иль с небом гордая вражда...», который так восхищал Белинского и в котором он видел воплощение одной из основных идей поэмы. Кроме того, Лермонтов дополнил поэму клятвой Демона («Хочу я с небом примириться, // Хочу любить, хочу молиться, // Хочу я веровать добру...»), исключил диалог «За чем мне знать твои печали...» и сочинил новый конец, в котором ангел спасает душу Тамары. Приблизив к условиям цензуры образ Тамары, Лермонтов стремился тем самым уберечь от искажений образ Демона: Демон побежден, но не раскаявается.

В 1839 году Краевский собирался публиковать в «Отечественных записках» отрывки из «Демона». Этому помешала новая ссылка Лермонтова.

В 1842 году цензура окончательно запретила поэму; Краевскому удалось опубликовать только отрывки.

Впервые «Демон» был опубликован в 1856 году за границей (в Карлсруэ). Выпустил это издание родственник Лермонтова генерал А. И. Философов. В следующем году там же, в Карлсруэ, появилось новое издание поэмы, но с разночтениями. Датировалась поэма 1841 годом. Все это на долгие годы запутало вопрос о творческой истории поэмы, ее окончательном тексте и ее датировке. Только недавно споры решила находка Э. Э. Найдича, обнаружившего письмо генерала А. И. Философова к директору императорской Публичной библиотеки барону М. А. Корфу.

В этом письме уточнена история создания и публикации «Демона».

Лермонтов завершил работу над поэмой в декабре 1838 года. В начале 1839-го потребовалось представление ее «ко двору» для чтения императрицы. В связи с этим Лермонтов пересмотрел текст и сделал для этого случая указание переписчику насчет необходимой купюры. На основании расхождений между протографом и «придворной» копией и возникли недоумения, ибо карлсруйские издания восходят к этим двум разным источникам.

Теперь уже окончательно ясно: 1841 год — год, которым датировалась последняя редакция «Демона», — отпадает. Поэма завершена в декабре 1838 года. Это сильно проясняет творческую эволюцию Лермонтова. Но не снимает, однако, вопроса о различиях последней редакции поэмы и предшествующей, так называемой шестой.

Стремясь напечатать поэму, Лермонтов внес в текст шестой редакции серьезные изменения. В процессе этой работы — над седьмой редакцией «Демона» — он изменил сюжет, заново пересоздал части текста, обогатив характеристики, описания и отступления множеством новых, великолепных стихов, и отшлифовал произведение в целом. Достаточно сказать, что только при переломке поэмы возник монолог Демона: «Клянусь я первым днем творенья...» Поэтому возвратиться к шестой редакции поэмы, отвергнув работу Лермонтова над позднейшими редакциями, как предлагают некоторые исследователи, невозможно. Тем не менее для понимания идейного замысла «Демона» шестая редакция имеет решающее значение. (Она опубликована полностью в академическом издании и четырехтомном собрании сочинений М. Ю. Лермонтова, т. 2, М., «Художественная литература», 1964).

М ц ы р и (стр. 530). — В черновом автографе поэма носила название «Бэри». К этому названию Лермонтов сделал сноску: «*Бэри*, по-грузински: монах». Но герой поэмы не монах — его только готовят в монахи. Слову «*послушник*» в грузинском языке

соответствует слово «мцыри». Под этим заглавием поэма и была напечатана в сборнике 1840 года.

В окончательной редакции поэма заключает в себе двадцать шесть глав. Кроме двух вступительных, они представляют собою исповедь молодого монаха — тема, которую Лермонтов уже разрабатывал в «Исповеди» (1830). К 1831 году относится его намерение писать «записки молодого монаха 17-ти лет. С детства он в монастыре; кроме священных, книг не читал. Страстная душа томится. Идеалы...» Замысел этот отчасти был осуществлен в поэме «Боярин Орша» (1835—1836), герой которой с детских лет воспитывается в монастыре, бежит на волю и, застигнутый в светлице боярышни, предан суду монахов.

Возвратившись из кавказской ссылки, Лермонтов обратился к прежнему замыслу. Но, в отличие от первых опытов, новый материал — кавказский — стал неотъемлемым, органическим элементом в поэме. Действие ее развивается в Грузии. Герой — молодой горец, взятый в шестилетнем возрасте в плен русским генералом (по свидетельству родственников поэта, он подразумевал при этом генерала А. П. Ермолова). «Мцыри» — поэма о свободолюбивом горце, исповедующем мусульманскую веру и погибающем вдали от родины в христианском монастыре. В поэме выразилось отношение Лермонтова к кавказской войне и к судьбам молодых людей своего поколения.

В первой строфе Лермонтов описал древний мцхетский собор Светицховели, где находятся могилы последних грузинских царей — Ираклия II и Георгия XII, при котором состоялось присоединение Грузии к Русскому царству. Монастырь, который «из-за горы // И ныне видит пешеход», — «Джварис-сандари» («Храм креста»), выстроенный в VII веке.

Сцена битвы с барсом подсказана Лермонтову распространенной в Грузии старинной народной песней о тигре и юноше. В главе 10-й имеется отголосок грузинской легенды о богатыре Амирани, поверженном с небес и провалившемся в подземную бездну.

В качестве эпитафии Лермонтов выбрал библейское изречение, которое означает: «Вкусая, я вкусил мало меду, и вот я умираю». Этот эпитафия подчеркивает вольнолюбие Мцыри. Вначале поэт предполагал использовать для эпитафии французское изречение: «On n'a qu'une seule patrie» («Родина бывает только одна»).

В мае 1840 года Лермонтов читал отрывок из «Мцыри» — бой с барсом — на именинах у Гоголя в Москве. «И читал, говорят, прекрасно», — передавал С. Т. Аксаков со слов гостей, присутствовавших в тот день на именинном обеде.

Белинский, разбирая поэму Лермонтова, писал: «Этот четы-

рехстопный ямб с одними мужскими окончаниями, как в «Шильопском узнике», звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное, однообразное падение его удивительно гармонируют с сосредоточенным чувством, несокрушимою силою могучей природы и трагическим положением героя поэмы. А между тем какое разнообразие картин, образов и чувств!»

И. С. Тургенев в предисловии к французскому переводу «Мцыри» сравнил стих поэмы с «трудом заключенного, который неустанно стучит усиленным стуком в стену своей темницы».

Сказка для детей (стр. 550).— В «Отечественных записках» 1842 года (т. XX) «Сказка для детей» появилась с датой «1841». Поэтому некоторые редакторы помещали эту поэму среди произведений 1841 года. Б. М. Эйхенбаум датировал ее 1839 годом на том основании, что в черновых вариантах «Сказки для детей» имеются строки:

Меж тем о благе мира чуждых стран
Заботимся, хлопочем мы не в меру,
С Египтом новый сладил ли султан?
Что Тьер сказал — и что сказали Тьеру?

Действительно, вступление на турецкий престол султана Абдула-Меджида и война Турции с Египтом относятся к 1839 году. Но французский министр Адольф Тьер, поддерживавший Абдула-Меджида, возглавил новый кабинет только 1 марта 1840 года. Казалось бы, что поэма не могла быть написана до этого времени. Однако надо иметь в виду, что слухи о приходе Тьера к власти распространились задолго до его назначения. Поэтому следует считать, что поэма была написана в начале 1840 года. Что же касается 1841 года, то к этому времени турецко-египетский конфликт был уже окончательно ликвидирован, а политика Тьера в восточном вопросе потерпела крах; интерес к этим событиям в то время должен был потерять остроту.

В третьей строфе «Сказки» Лермонтов замечает: «Герой известен, и не нов предмет». Высказывалось предположение, не имеет ли Лермонтов в виду героя поэмы «Сашка» и не являются ли «Сашка» и «Сказка для детей» фрагментами одного, неосуществленного, замысла? Но совершенно очевидно, что слова «герой известен» относятся к другому персонажу: это Мефистофель — «великий сатана», названный Лермонтовым в следующей строфе. Персонажа, в литературе уже известного, — Мефистофеля, — поэт противопоставляет своему демону:

Я прежде пел про демона иного:
То был безумный, страстный, детский бред...

Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ...

«Но я, расставшись с прочими мечтами,— иронически замечает поэт по своему адресу, — и от него отделилась стихами».

Начиная с восьмой строфы «Сказка для детей» превращается в монолог Мефистофеля, обращенный к спящей красавице. В двадцать седьмой строфе речь Мефистофеля обрывается. Следуют точки. Принято считать, что «Сказка для детей» не закончена. Однако паличие в копии поэмы этого заключительного отточия и самое изготовление копии, которую Лермонтов авторизовал, скорее говорят о том, что он и не предполагал продолжать повествование, что фрагментарность поэмы определяется самим жанром «сказки для детей». Белинский считал, что «Сказка для детей» Лермонтова — «лучшее, самое зрелое из всех его произведений». Может ли такая характеристика относиться к первым строфам задуманной и несуществующей вещи?

Исследователи уже отмечали, что «Сказка для детей» продолжает традиции пушкинского «Домика в Коломне» с его ироническим отношением к героям и сюжету, с шутливыми автобиографическими отступлениями. Заявление Лермонтова, что он «без ума от тройственных созвучий // И влажных рифм — как, например, на ю», восходит к первой строфе «Домика в Коломне» и подтверждается поэтической практикой самого Лермонтова («Песня рыбки» в «Мцыри» с рифмами: «Не утаю», «люблю», «струю», «мою»).

В стихах строфы 11-й:

Минувших лет событий роковых

Волна следы смывала роковые —

подразумевается восстание декабристов.

Говоря об особенностях лермонтовского стиха, Белинский отметил, что в «Сказке для детей» «этот стих возвышается до удивительной художественности».

Перуджино — Пьетро Перуджипо (1446—1523), знаменитый итальянский художник, учитель Рафаэля.

И. АНДРОНИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ираклий Андроников. Образ поэта</i>	5
--	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

1828

Поэт («Когда Рафаэль вдохновенный...»)	23
--	----

1829

К Д...ву («Я пробегал страны России...»)	24
Веселый час	25
К друзьям	27
Романс («Коварной жизнью педовольный...»)	28
Портреты (1—6)	29
Русская мелодия	32
Романс («Невинный нежною душою...»)	33
Наполеон («Где бьет волна о брег высокой...»)	34
Жалобы турка	36
Черкешенка	37
Два сокола	38
Мой демон («Собрание зол его стихия...»)	39
К другу («Взлеянный на лоне вдохновенья...»)	40
Элегия («О! Если б дни мои текли...»)	41
Монолог	42
Молитва («Не обвиняй меня, всеильный...»)	43

«Один среди людского шума...»	44
Звезда («Вверху одна...»)	45
Кавказ («Хотя я судьбой па заре моих дней...»)	46
К*** («Не говори: одним высоким...»)	47
Н. Ф. И...вой («Любил с начала жизни я...»)	48
Весна	50
Одиночество	51
В альбом («Нет! — я не требую вниманья...»)	52
Звезда («Светись, светись, далекая звезда...»)	53
Еврейская мелодия («Я видал ипогда, как ночная звезда...»)	54
Вечер после дождя	55
Наполеон («В неверный час, меж днем и темнотой...»)	56
Кавказу («Кавказ! далекая страна!...»)	58
Утро на Кавказе	59
Отрывок («На жизнь надеяться страшась...»)	60
Элегия («Дробись, дробись, волна ночная...»)	63
Эпитафия («Простосердечный сын свободы...»)	64
Посвящение («Прими, прими мой грустный труд...»)	65
К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...»)	66
Предсказание	67
11 июля	68
Песнь барда	69
10 июля (1830)	71
Нищий	72
30 июля.— (Париж) 1830 года	73
Стансы («Вгляни, как мой спокоен взор...»)	75
Ночь («Один я в тишине ночной...»)	77
«Когда к тебе молвы рассказ...»	79
К*** («Когда твой друг с пророческой тоскою...»)	80
Новгород	81
Могила бойца	82
Смерть («Закат горит огнистой полосюю...»)	84
Пир Асмодея	85
На картину Рембрандта	88
К*** («О, полно извинять разврат!...»)	89
Прощанье («Прости, прости!...»)	90
Смерть («Оборвана цен' жизни молодой...»)	92
Волны и люди	93
Звуки	94
Поле Бородина	95
Мой дом	98

1831-го января	99
Стапсы («Мне любить до могилы творцом суждено!...»)	100
Солнце осени	101
Поток	102
К*** («Не ты, но судьба виновата была...»)	103
Ночь («В чугуи печальный сторож бьет...»)	104
К себе	105
«Пускай поэта обвиняет...»	106
Слава	107
«Унылый колокола звон...»	108
«Хоть давно изменила мне радость...»	109
Земля и небо	110
К*** («Дай руку мне, склонись к груди поэта...»)	111
Из Андрея Шенье	112
Сосед («Погаснул дещь на вышинах небесных...»)	113
Стапсы («Не могу на родине томиться...»)	114
Мой демон («Собращье зол его стихия...»)	116
1831-го июня 11 дня	118
Романс к И... («Когда я унесу в чужбину...»)	127
К*** («Всвышний произнес свой приговор...»)	128
Желанье («Зачем я не птица, не ворон степной...»)	130
Св. Елена	131
Атаман	132
Чаша жизни	135
К Л.— («У ног других не забывал...»)	136
К Н. И..... («Я не достоин, может быть...»)	138
Воля	139
Сентября 28	141
«Зови надежду сновидещем...»	143
«Прекрасны вы, поля земли родной...»	144
Небо и звезды	145
К кп. Л. Г — ой	146
«Кто видел Кремль в час утра золотой...»	147
«Кто в утро зимнее, когда валит пушистый снег...»	148
Ангел	149
«Ужасная судьба отца и сына...»	150
«Пусть я кого-нибудь люблю...»	152
К другу («Забудь опять...»)	153
«Пора уснуть последним сном...»	154
Из Паткуля...	155
«Я не для ангелов и рая...»	156

«Настанет день — и миром осужденный...» . . .	157
К Д. («Будь со мною, как прежде бывала...») . . .	159
Отрывок («Три ночи я провел без сна — в тоске...») . . .	160
Баллада («В избушке позднею порою...») . . .	162
«Я не люблю тебя; страстей...»	164
Стансы («Мгновенно пробежав умом...»)	165

1832

«Люблю я цепи сирых гор...»	166
Прощанье («Не уезжай, лезгинец молодой...») . . .	168
«Как в ночь звезды падучей пламень...»	170
К* («Я не унижусь пред тобою...»)	171
<В альбом Н. Ф. Ивановой> («Что может краткое свиданье...»)	173
<В альбом Д. Ф. Ивановой> («Когда судьба тебя захочет обмануть...»)	174
«Как луч зари, как розы Леля...»	175
«Синие горы Кавказа, приветствую вас!..»	176
Романс («Стояла серая скала на берегу морском...») . . .	178
Прелестнице	179
Эпиграфия («Прости! увидимся ль мы снова?..») . . .	180
«Измученный тоскою и недугом...»	181
«Нет, я не Байрон, я другой...»	182
Романс («Ты идешь на поле битвы...»)	183
Совет («Я памятью живу с увидшими мечтами...») . . .	185
К* («Мы случайно сведены судьбою...»)	186
«Поцелуями прежде считал...»	187
К* («Оставь напрасные заботы...»)	188
«Я жить хочу! хочу печали...»	189
«Смело верь тому, что вечно...»	190
«Приветствую тебя, воинственных славян...»	191
Желашье («Отворите мне темницу...»)	192
Два великана	193
К* («Прости! — мы не встретимся боле...»)	194
«Безумец я! вы правы, правы!..»	196
«Она не гордой красотою...»	197
«Примите дивное посланье...»	198
Челнок («По произволу дивной власти...»)	199
«Для чего я не родился...»	200
«Что толку жить!.. Без приключений...»	201
Парус	203
Баллада («Куда так проворно, жидовка младая?..») . . .	204

Тростник	206
«Он был рожден для счастья, для надежд...» . . .	208
Русалка	209
Гусар	211

1833

«На серебряные шпоры...»	213
Юнкерская молитва	214
«В рядах стояли безмолвной толпой...»	215

1834—1835

«Когда, надежде педоступный...»	216
---	-----

1836

Умирающий гладиатор	217
Еврейская мелодия («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..»)	219
В альбом («Как одинокая гробница...»)	220
«Великий муж! здесь нет паграды...»	221

1837

Смерть Поэта	222
Бородино	225
Ветка Палестицы	228
Узник	230
Сосед («Кто б пп был ты, печальный мой сосед...»)	231
«Когда волнуется желтеющая нива...»	232
Молитва («Я, мать божия, ныне с молитвою ... »)	233
«Расстались мы, но твой портрет ... »	234
«Я не хочу, чтоб свет узнал...» . . .	235
«Не смейся над моей пророческой тоскою...»	236
«Спеша на север из далека...»	237
<Эпиграмма на Ф. Булгарина. I >	239
<Эпиграмма на Ф. Булгарина. II >	240

1838

Кинжал	241
«Гляжу на будущность с боязнью...»	242
«Она поет — и звуки тают...»	243
«Как небеса, твой взор блистает ...»	244
«Слышу ли голос твой...>>	245
Вид гор из степей Козлова	246
<А. Г. Хомутовой> («Слепец, страдавшем вдохновенный...»)	247
Дума	248
Поэт («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»)	250
Казачья колыбельная песня	252

1839

«Ребенка милого рожденье...»	254
Не верь себе	255
Три пальмы	257
Молитва («В минуту жизни трудную...»)	259
Дары Терека	260
Памяти А. И. Одоевского	263
«Есть речи — значенье...»	<u>266</u>
«На буином пиршестве задумчив он сидел...»	<u>267</u>
<Э. К. Муслиной-Пушкиной> («Графиня Эмилия...»)	268

1840

«Как часто, пестрою толпою окружен...»	269
И скучно и грустно	271
Из Гете	272
<М. А. Щербатовой> («На светские цепи...»)	273
Воздушный корабль	275
Соседка («Не дожидаться мне, видно, свободы...»)	278
Журналист, читатель и писатель	280
Пленный рыцарь	285
<М. П. Соломирский> («Над бездной адскою блуждая ...»)	286
Отчего	287
Благодарность («За все, за все тебя благодарю я...»)	288
Ребенку («О грезах юности томим воспоминаньем...»)	289

А. О. Смирновой («Без вас хочу сказать вам много...»)	291
К портрету («Как мальчик кудрявый, резва...»)	292
Тучи	293
<Валерик> («Я к вам пишу случайно; право...»)	294
Завещание («Наедине с тобою, брат...»)	301

1841

Оправдание	303
Родина	304
Любовь мертвеца	305
«На севере диком стоит одиноко...»	307
Последнее новоселье	308
<Из альбома С. Н. Карамзиной> («Любил и я в былые годы...»)	311
<Графине Ростопчиной> («Я верю: под одной звездою...»)	312
Договор	313
«Прощай, немытая Россия...»	314
Утес	315
Спор	316
Сон («В полдневный жар в долине Дагестана...»)	319
«Они любили друг друга так долго и нежно...»	320
Тамара	321
Свиданье	323
Листок	326
«Нет, не тебя так пылко я люблю...»	327
«Выхожу один я на дорогу...»	328
Морская царевна	330
Пророк	332

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

Крест на скале	334
«Никто моим словам не внемлет... я один...»	335
«Мое грядущее в тумане...»	336
«Из-под таинственной, холодной полумаски...»	337
«Не плачь, не плачь, мое дитя...»	338
<К Н. И. Бухарову> («Мы ждем тебя, спешим, Бухаров...»)	339
«Ты помнишь ли, как мы с тобою...»	340

ПОЭМЫ

Последний сын вольности	343
Хаджи Абрек	366
Боярин Орша	378
Сашка	406
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова . .	457
Тамбовская казначейша	471
Беглец	493
Демон	497
Посвящения к поэме «Демон»	528
Мцыри	530
Сказка для детей	550
<i>Примечания Ираклия Андроникова</i>	<i>561</i>

М. Ю. Лермонтов

Л 49 Избранные произведения в двух томах. Том 1.
Стихотворения и поэмы. М., «Худож. лит.», 1973.
624 с.

Настоящий том содержит наиболее зрелые стихотворения М. Ю. Лермонтова 1828—1841 годов («Смерть Поэта», «Бородино», «Узник», «Дума», «Поэт», «Родина», «Прощай, немытая Россия...», «Пророк» и др.), а также лучшие романтические и реалистические поэмы («Боярин Орша», «Мцыри», «Демон», «Сашка» и др.). Том сопровождается вступительной статьей и примечаниями Ираклия Андроникова.

7—4—1
6—73

Р I

Михаил Юрьевич Лермонтов

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Т о м 1

Редактор Е. Жезлова

Художественный редактор

А. Виноградов

Технический редактор

Л. Ковнацкая

Корректор

Н. Усольцева

Сдано в набор 17/X 1972 г. Подписано
в печать 15/II 1973 г. Бумага типо-
графская № 3. Формат 84×108¹/₃₂.
19,5 печ. л., 32,76 усл. печ. л., 25,83+
+1 вкл.=25,87 уч.-изд. л. Тираж
200 000 экз. Заказ 1607. Цена 99 к.

Издательство «Художественная лите-
ратура». Москва, Б-78, Ново-Басман-
ная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Го-
сударственного комитета Совета Ми-
нистров БССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Минск, Красная, 23.

99 K